

БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал

Literaturzeitschrift BERLIN.BEREKA



В НОМЕРЕ:

- **Андрей БЕЛЫЙ**
„О «России» в России и о «России» в Берлине”.
Статья 1923 года
- **Михаил ГИГОЛАШВИЛИ**
„Тоскана”. Эссе
- **Александр КАБАНОВ**
„Срок хранения”. Стихи
- **Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ**
„Я очень счастливый автор”. Интервью



Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Кино / Kino: **Вера Колкутина / Vera Kolkutina**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Корректоры/Korrekturen: **Э. Лурье, Г. Аросев / E. Lurje, G. Arosev**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

PR, соцсети / PR, SM: **Юлия Лебедева / Julia Lebedeva**

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,
Richlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland
www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin
ISSN 2366-3510

Copyright © 2018 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin
Copyright Texte © 2018 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР КАБАНОВ — Срок хранения , стихи	5
ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА — Урожай воды , стихи	10
КАТЕРИНА КЮНЕ — Соседи, Правила исполнителя , рассказы.....	16
ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА — Джина , рассказ.....	32
ЮЛИЯ ГРИНБЕРГ — Купите пуанты , стихи	42
ДИНАРА РАСУЛЕВА — Антителя , стихи	45
ДАША ЭДЛЕР — Норвежский аккорд , рассказ.....	51
БОРИС МИЛЬШТЕЙН — Вилла , рассказ	58
ЕВГЕНИЯ БАГМУЦКАЯ — До ста , стихи	62
ТАТЬЯНА ДУБИНЕЦКАЯ — „Я сыграю по нотам твой шаг...“ , стихи.....	66
ИРИНА МУРГ — Бабочка и подгузник , рассказ	72
ВИКТОРИЯ КРАВЦОВА — Лето в Петербурге , рассказ	80

ПЕРЕВОДЫ

О ФРАНЦЕ ХЕССЕЛЕ — Предисловие Эдуарда Лурье	89
ФРАНЦ ХЕССЕЛЬ — Свидание с прошлым , рассказ. Перевод Натальи Буш	92
ФРАНЦ ХЕССЕЛЬ — Влюблённый паровоз , рассказ. Перевод Кристины Жуковой	96
РАЛЬФ ДУТЛИ — Стихи из книги „Новалис в виноградном саду“ . Переводы Бориса Шапиро	100
О РАЛЬФЕ ДУТЛИ — Послесловие Бориса Шапиро.....	106

ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ — Я очень счастливый автор , разговор к 90-летию.....	107
---	-----

ЭССЕ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

СЕРГЕЙ НЕВСКИЙ — Берлин меняет абсолютно всех, кто к этому готов, эссе в диалоге.....	124
ЕЛЕНА КОРОЛЕВА — Под другим углом смерти, эссе..	136
МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ — Тоскана, эссе.....	141
ЛИЛИЯ АНТИПОВА — Фридрих Ницше и Перец Маркиш, или Еврейские метафоры витализма, статья..	150
ГРИГОРИЙ АРОСЕВ — Эпоха Берлин. Беседа, статья..	177
К републикации эссе Андрея Белого.....	195
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — О „России“ в России и о „России“ в Берлине, статья	196
ДАРЬЯ МАРКОВА — Мир как миг, рецензия на книгу Алексея Макушинского „Остановленный мир“	220
МАРИЯ ПЕКЕР — Одиночество в квадрате, рецензия на книгу Татьяны Дагович „Продолжая движение поездов“	224
КСЕНИЯ САФРОНОВА — Собаки, летящие вниз, рецензия на книгу Влады Колосовой „ <i>Fliegende Hunde</i> “	227

КИНО

ВЕРА КОЛКУТИНА — Антивозрастные процедуры для немецкого кино, предисловие редактора.....	229
Кино Германии и о Германии, обзор	231

ТЕАТР

СЕРГЕЙ РУББЕ — Вечный Смердяков, пьеса	238
Сведения об авторах	254
Kurze Zusammenfassung	259
Информация о подписке	262

Александр Кабанов

* * *

Пора открыть осеннюю канистру,
и лету объявить переучёт,
рояль в кустах съедает пианистку —
и по аллеям музыка течёт.

Она течёт, темна и нелюдима,
отравленная нежностью на треть,
и мы с тобой вдыхаем запах дыма,
заходим в парк и начинаем тлеть.

Твоё молчанье светится молитвой
о городе из воска и сукна,
где мы с тобой, расписанные бритвой,
ещё видны в малевиче окна.

* * *

Долго умирал Чингачгук: хороший индеец,
волосы его — измолотый чёрный перец,
тело его — пурпурный шафран Кашмира,
а пенис его — табак, погасшая трубка мира.
Он лежал на кухне, как будто приправа:
слева — газовая плита, холодильник — справа,
весь охвачен горячкою бледнолицей,
мысли его — тимьян, а слова — бергамот с корицей.
Мы застряли в пробке, в долине предков,
посреди пустых бутылок, гнилых объедков,
считывая снег и ливень по штрихкоду:
мы везли индейцу огненную воду.
А он бредил на кухне, отмудохан ментами,
связан полотенцами и, крест-накрест, бинтами:

«Скво моя, Москво, брови твои — горностаи...»,
скальпы облаков собирались в стаи
у ближайшей зоны, выстраивались в колонны —
гопники-ирокезы и щипачи-гуроны,
покидали генеральские дачи — апачи,
ритуальные бросив пороки,
выдвигались на джипах-«чероки».
Наша юность навечно застряла в пробке,
прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки,
а в коробках — коньяк и три пластиковых стакана:
за тебя и меня, за последнего мопикана.

* * *

То иссохнет весь, то опять зацветёт табак,
человек хоронит своих котов и собак,
а затем выносит сор из ночных стихов
и опять хоронит рыбок и хомяков.
Вот проснулся спирт и обратно упал в цене,
но уже не горит, как прежде, видать — к войне,
погружая душу на всю глубину страстей —
человек хоронит ангелов и чертей.
К голове приливает мрамор или гранит,
зеленеют клеммы, божественный дар искрит,
человек закрыт на вечный переучёт,
если даже срок хранения — истечёт.

Киммерия

Заслезилась щепка в дверном глазке:
не сморгнуть, не выплеснуть с байстрюком,
из ключа, висящего на брелке —
отхлебнёшь и ржавым заешь замком.

Покачнётся кокон — пустой овал,
и под утро выпадет первый гвоздь:
я так долго двери не открывал,
что забыл о них и гулял насквозь.

Рукописный пепел к пайтан-башке
и звезда — окалиной на виске,
не найдешь коктебельский песок в носке —
набери в поисковике.

Негрушкин

Двух пушкиных, двух рабов подарила мне новая власть:
о, чернокожий русский язык, к чьим бы губам припасть?
Хан Гирей любил снегирей, окружённый тройным эскортом,
хан Гирей — гиревым занимался спортом,
говорил: чем чаще сжигаешь Москву, тем краше горит Москва,
чуешь, как растёт в глубину нефтяная сква?
Так же чёрен я изнутри — от зубного в кровь порошка,
снился мне общий единорог с головой ляшка.
Двух рабов пытаю огнём: вот — Кавафис, а вот — Целан,
кто из вас, чертей, замыслил побег, воскуряя план?
Как по очереди они умирали на дуэли и в пьяной драке —
подле чёрной речки-вонючки, в туберкулёзном бараке.
Хан Гирей говорил, очищая луковицу от шелухи:
в песне — самое главное — не кричать,
в сексе — самое главное — не кончать.
Если бы все поэты — не дописывали стихи.

* * *

Был четверг от слова «четвертовать»:
а я спрятал шахматы под кровать —
всех своих четырёх коней,
получилось ещё больней.

Вот испили кони баюн-земли,
повалились в клетчатую траву,
только слуги царские их нашли,
и теперь — разорванный я живу.

Но, когда приходят погром-резня,
ты — спиваешь, склеиваешь меня,

в страшной спешке, с жуткого бодуна,
впереди — народ, позади — страна.

Впереди народ — ядовитый злак,
у меня из горла торчит кулак,
я в подкову согнут, растянут в жгут,
ты смеёшься: и наши враги бегут.

* * *

Наш президент распят на шоколадном кресте:
82% какао, спирт, ванилин, орехи,
вечность — в дорожной карте, смерть — в путевом листе,
только радиоволны любят свои помехи.
Будто бы всё вокруг — сон, преходящий в спам:
ржут карусельные лошади без педалей,
вежливые гармошки прячутся по кустам,
топчутся по костям — клавишам от роялей.
Здесь, на ветру трещат в круглом костре углы,
здесь, у квадратной воблы — вся чешуя истёрта,
и, несмотря на ад, снятся ему котлы,
плач и зубовный скрежет аэропорта,
голос, рингтон, подобный нерихонской трубе,
только один вопрос, снимающий все вопросы:
«Петя, сынку, ну что — помогли тебе,
ляхи твои, твоя немчура и твои пиндосы?»
Наша война ещё нагуливает аппетит,
мимо креста маршируют преданные комбаты,
но Пётр поднимает голову и победно хрипит:
«82% какао, спирт, ванилин, цукаты...»

* * *

На Днепре, в гефсиманском саду,
где бейсбольные биты цветут
и двуглавый орёт какаду,
забывая во сне парашют.

Дачный сторож Василий Шумёр,
помогая нести чемодан,
говорит, что майдан отшумел,
а какой был по счёту майдан?
Маслянистые звёзды опять
до утра освещают маршрут,
бездуховные скрепы скрипят
и бейсбольные биты цветут,
и пасутся людские стада
под шансон с подневольных небес:
«Я тебя разлюбил навсегда,
потому, что ты против ЕС...»

Флейта

Люди подешевели, массовка подорожала,
выкупил из ломбарда своё добро:
это фугляр для флейты,
в котором хранится жало,
«Где твоё жало?», — спросят меня в метро.

Вот моё жало, сейчас я на нем сыграю —
старый пчелиный реквием по цветам,
будет ужален Пётр: апостол бежит к сараю,
чтоб приложить алоэ — к святым местам.

* * *

2010 год, январь, потерянность вокзала,
чему, блаженный идиот, ты улыбаешься устало?
Снег, перемешанный с золой и пахнущий копчёной воблой,
вот человек — внезапно злой, вот человек — внезапно добрый,

разрушив собственный дурдом, он выбрался из-под завала,
ещё не знающий о том, что жизнь его поцеловала —
в свирепой нежности своей, как примиряющая сила,
он думал, что простился с ней, а жизнь его не отпустила.

Татьяна Степанова

* * *

Неожиданно дрогнул сегодня
каина голос,
авель найден не просто живым,
ни один волос
с головы его не упал.
В телефонной трубке каин задышался и
рыдал:
«знаешь, за эти пять тысяч лет, что
брат мой пропал,
семь раз в воде икара хоронил дедал,
якорь к ногам привязывал,
но икар упрямо всплывал;
я видел сети полные ядовитых рыб,
их ели дети поморов и никто не погиб;
авель вырос, его тяжело признать,
тяжело почти так же, как потерять...»
В доме скорби кем-то обрезан
телефонный шнур,
санитар с детства закован в латы,
бледен и хмур,
на тарелке россыпью дымчатый
виноград,
да записка желтеет:
«Ты не виновен,
брат».

* * *

Смертельно усталая голова магрибского джина
дремлет в изумрудной бутылке своего паладина,
не исполняет больше желаний и не берёт заказов,
не внемлет молящим о смерти больным проказой.

Золотой город отдан врагу без тяжёлого боя,
с трудом нашли на задворках одного героя,
да и тому — лет семь или восемь от роду,
из самой порченной чёрной упрямой породы.

Осталось немного — вещи сложить в кибитку
и выйти в полдень из города. Оглянуться —
и никогда больше не пожелать вернуться.

* * *

На довоенном снимке будничный рассвет,
затёртой сепии янтарь и смерти нет.

Потомок кровной генетической боязни
невовремя приехать к месту казни
и в первородной массе мёртвых тел
найти незримый свиток личных дел
несбывшейся и призрачной надежды,
где окрики немецкого невежды,
для безмятежной гретхен кравшего одежды
ещё с живых...

когда заходит речь о несвятых святых —
нечувствием болеет дух и говорится вслух
не больше двух правдивых слов,
и к худшему давно готов.

История А

Десница командора недолго тяготит плечо,
и потому, на сердце у вдовы и весело и горячо.
«Собственно, почему я должна все время бояться,
если мой муж мёртв и не хочет со мной остаться, —
нервно оправдывается Анна
перед журналистом местной газеты,
стряхивая на острые колени
пепел сигареты, —
оставьте меня в покое, и не давайте советы».

*(а за окном — затяжная зима
укрыла плотной белой попоной дома)*

У донгуана довольно нелепый вид,
пока он в кровати Анны без шпаги лежит
и жалобно просит принести фестал,
сетуя на слабый желудок и на то,
что слишком устал.

Лифт из ада медленно подымается на третий этаж,
командор при жизни был повесой и любил эпатаж.
*(за гробом всё остаётся в силе,
ценное не пропадает в тесной могиле).*

Внятно и страшно в замочную скважину проговорил:
«Люблю тебя, моё сердце, как и раньше любил».
До смерти донгуана этим напугал,
погрозил каменным пальцем и навеки пропал.

Анна никому больше не откроет дверь,
в полной уверенности — в каждом живёт зверь.
Печь топит фолиантами из кабинета командора
и держится подальше от тёмного и стылого коридора.

* * *

На месте сожжённой вчера синагоги
на батутах прыгают
безмятежно-пшеничные дети,
не какие-то пугающие гоги-магоги,
заурядные нади, володи, маши
и пети.

«А почему не в пятнашки и прятки?» — удивляются
тусклые тени,
глаза как оливки у сони и сонного сени.
И грустно сами себе отвечают:

«Ах да,
нам положено жить в секрете.
Это даже забавно,
мы как детёныши снежного йети.
Главное, не оставить следов на мокрой траве
и быстро накрыть ладошкой
звезду на своём
рукаве».

А завтра будет новый солнечный день.
Равви, ты отпустишь играть с детьми
мою тень?
Пока ты дозором обходишь
своё королевство,
я всего на минуту замедлю
бегство.

* * *

И наши, и ваши вчера сказали: а мы — ничьи,
кроме как Его, и пальцами в небо тык.
И тут же сквозь толщу гравия с грохотом
прорвались ледяные ручьи.
И онемел усталый язык.

Говорят, это великий сбор урожая воды,
выглядит — как новый завет.
Если по старинке перестать бояться беды,
хватит на сотни условно-досрочных лет.

Всё бы ничего, да трубы снова трубят бой.
Когда воюем неизвестно с кем, означает — сами с собой.
У наших знамён сер амальгамы цвет,
на любой вопрос о любви, сглотив,
отвечаем резкое: нет.

Но в тайных селениях самых глубинных снов,
где ещё не писан закон и завет ещё не нов,
жажда несносна, поэтому — бей, барабан!
Гляди, усмехается тихо молотов
и полнит коктейлем стакан.

* * *

*Смерть придёт, у неё
будут твои глаза*
И. Б.

Том!
Нет ответа.
Стучат костяшки пальцев в тыквенное лето
и воздух густ предчувствием восторга «се грядёт»,
к двери прижавшись лбом Том ничего не ждёт.

Однако в узкую замочную лазейку
(так в алькатрасе странен светлый луч
и отзвук собственных шагов горюч),
с трудом удерживая в горле смех,
выталкивает ключ как змейку...
— костлявая рука! —
хватается за сердце бедный Том,
и ключ пронзительно звенит в доме пустом.

Она вошла и села как сидят усталые солдаты,
и в сей же час накрыла мир волна,
и понеслись за скифами сарматы,
которые ни в чём не виноваты,
и фараон офелию поднял со дна.

— Так это ты? - прикрыв глаза смеётся Том.
— Я расскажу тебе потом.

* * *

слышишь спросила хава
и приложила палец к сухим губам
крошится горизонт
думаешь в наказание теперешним нам?
неважно просипел змий
принимай как свершившийся факт
всё равно ты войдёшь в историю
как не попавшая с великим замыслом в такт

за воротами рождался рассвет
как в чреве будущих матерей героин
каины до смерти любили эвелей
шлиман отказывался верить в существование трон

северная волна выдавала канифоль за янтарь
на чёрной речке отменялся поединок
и бесконечно правил красный инок
грядущий лунный календарь

* * *

Не убирай ладонь со рта, малышка смерть,
и не пытайся укусить. Утихни,
просто спи,
как спит в норе голодный и издёрганный медведь,
уставший от всеобщей нелюбви.

У серых гёзов кромка горизонта
давно дрожит над пропастью во ржи,
на треугольниках с невидимого фронта
вязь *post mortem* — два слова мелкой лжи.

В хмельное варево добавить пинту снега,
отцовский пепел и перо совы,
и пить за алеф, пока спит омега,
в жилищах из почти сухой листвы.

Катерина Кюне

Соседи

Я смотрю на тень вентилятора в глубине высокого сводчатого потолка. Огромные серые лопасти над головой. Как будто в крышу моего дома вонзился старый биплан, упал вертикально, протаранив носом потолок, и затем они просто заделали дыру вокруг, оставив пропеллер внутри квартиры, а тело самолёта — на улице.

На полу дрожит узорная кружевная тень от занавески. Эти тюлевые занавески только затем и существуют, чтобы отбрасывать причудливые, сказочные тени.

Всё выглядит новым и невиданным, словно я моргнул и открыл глаза в другом теле, в другом мире. Филиппинская маска смотрит со стены утопленными и абсолютно круглыми, чёрными глазами, под крючковатым носом зияет пасть, растянувшаяся в беззубой старческой улыбке. Я всегда говорю об этой маске «Он». Не знаю почему. «Эй, Лина, посмотри какой он сейчас жуткий!» Придумаю имя — и одомашню его. Не хочу, чтобы он становился местным жителем.

«Он» смотрит на противоположную стену и улыбается, как будто видит там образы моего ужасного будущего, пока что скрытые от меня самого. На противоположной стене висит топор. Эта выходка, которая казалась мне такой оригинальной — украсить комнату топором — теперь заставляет меня вздрогнуть. Глядя на холодное лезвие, я вспоминаю искажённую формулировку драматургического принципа, который у меня в голове смешался, кажется, с какой-то поговоркой: «Если на стене висит ружьё, пусть даже незаряженное, то рано или поздно оно выстрелит».

Значит ли это, что если на стене висит топор, пусть даже туристический, предназначенный исключительно для заготовки дров для костра, висит так, словно это боевое оружие, то рано или поздно...

Глупости. Никто в моём доме не может применить топор. Наверное.

Я представляю себе человека в приступе гнева — абстрактного человека с дымом вместо лица — как во сне. Крик прыгает по комнате точно резиновый мячик, а потом безликий человек быстрым движением дёргает топор на себя. Японский клейкий крючок отваливается от стены. На нём была картинка-инструкция: чтобы крючок висел крепко, нельзя тянуть горизонтально, на себя, только вертикально, вниз. А безликий человек тянет на себя, и крючок сиротливо повисает на верёвке, обвязанной вокруг ручки. На этой верёвке топор висел на стене, а теперь она взмывает у человека над головой, крючок срывается и отлетает в сторону, со стуком падает на кафельную плиту пола. Но этот звук тонет в другом, куда более странном — это топор приземляется на чью-то голову.

Не острой стороной, где лезвие затянато защитным резиновым футляром, а обухом.

Лицо этого второго человека, чей череп проламывает чёрное топорнице, размыто, как и лицо убийцы. Пока что я не могу его увидеть.

Мне вспоминается реплика Дэвида Иглмана из его научно-популярного сериала про мозг. «Каждый мозг абсолютно неповторим, на Земле семь с половиной миллиардов неповторимых мозгов», — говорит Иглман восторженно.

И вот топорнице проламывает череп и сминает один такой неповторимый мозг, стирает сеть уникальных нейронных связей. Холодное и тяжёлое, оно комкает чьи-то воспоминания, словно страницы личного дневника. Сгустки последних мыслей прилипают к топору розоватой жижей, которая засохнет и станет почти бурой.

Это похоже на бомбу, упавшую в фильмотеку. Тысячи короткометражек, основанных на реальных событиях, хранились здесь, и время от времени в центре комнаты вспыхивало облако света, и в нём возникали предметы, двигались человеческие фигуры, звучали голоса. А потом облако погасло навсегда, и всё, что в нём можно было увидеть, исчезло тоже.

Я в недоумении. У нас такая спокойная, миролюбивая семья, у нас ни разу не случилось скандалов. Не представляю себе, чтобы Алина, моя жена, замахнулась на кого-то топором.

Я, Лина — в этой квартире, квартире с топором, мы живём только вдвоём.

Или нет?

Как минимум один раз в своей жизни я наблюдал, как воздействие на предметы оказывало что-то невидимое. Точнее, в тот раз я не наблюдал, я боялся.

Оно нажимало на кнопку, и настольная лампа то включалась, то выключалась. Так продолжалось весь вечер. Световое шоу в ритме чьего-то присутствия. Потом оно поворачивало и трясло дверную ручку, шелестело и топало в гардеробной. Помню, я не выдержал и начал читать молитвы, все, которые знал, то есть всего две, если не считать Иисусовой, и беспорядочно осеял себя и окружающее пространство крестами. Наверное, если бы я прислушался к себе, я бы понял, что это не может срабатывать. Но я искал в себе хоть какой-то язык взаимодействия, — и не находил. Было только это — неосознанный магический мусор, болтавшийся на поверхности, опметки чего-то, чего я не знал и не понимал, потому что никогда не видел целиком. Но когда-то я зачерпнул эти опметки вместе с водой.

Внезапно всё стихло, и я, укрепившийся в своей вере, снова лёг на диван. Не переставая бормотать молитвы, я лежал и заставлял себя ровно дышать. Моё сердце потихоньку унималось, словно маленькое животное, согревшееся и разомлевшее в человеческих ладонях. И вот слова молитвы незаметно для меня изменились, и на миг я вынырнул из комнаты.

Я стоял возле классной доски в своей старой школе и медленно, с выражением, читал стихотворение. Я хорошо его помнил, и оно нравилось мне: нравилось перекатывать во рту округлые, увесистые звуки. Учительница смотрела на меня из-за своего стола с лёгкой полуулыбкой. И весь класс — двадцать с чем-то человек — сидели, словно зачарованные звуком моего голоса, и, боясь пошевелиться, слушали.

Стихотворение кончилось. Я ожидал возобновления обычной школьной возни или может быть, даже аплодисментов.

Я выдержал паузу, но по-прежнему было тихо. Очень тихо. И тогда я поднял глаза и повнимательнее всмотрелся в класс.

За партами сидели не живые люди. Это были статуи, что-то вроде терракотовой армии. Ученики, вылепленные в полный рост очень натуралистично и подробно.

И как только я мог раньше не заметить, что читаю стихи кускам глины? Теперь я словно бы опомнился и быстро глянул на учительское место, потому что, мне казалось, боковым зрением я видел, как учительница двигалась, как менялась в лице во время моего чтения.

Но за учительским столом никого не было. И одновременно с этим открытием я услышал шорох за спиной, и мне показалось, кто-то легко тронул меня за плечо. Я резко развернулся. Она стояла там, возле доски, примерно в полутора метрах от меня. Это была всё та же учительница, но во всём: в её длинном чёрном платье, напряжённой позе, выражении её лица и впившихся в меня глазах — было что-то тревожное и холодящее.

Я вздрогнул и проснулся. Лампа, стоящая у меня в ногах, погасла. Кажется, в момент пробуждения я слышал щелчок выключателя. Мгновение ничего не происходило, а потом дверь затряслась с удвоенной силой. Словно безумный, ломился в неё: колотил, мучил и ломал, хотя она и без того была не заперта и к тому же вела всего-навсего в обшарпанную прихожую.

Так вот, я думаю, что нечто подобное, если бы ему захотелось, могло бы снять со стены топор и с размаху, веселья ради, вонзить его в чью-нибудь голову. Это только предположение, может оно и не могло бы, ведь я ничего не знаю о том, что это за существо или сила, что ей движет и есть ли у неё вообще какие-то цели и желания. Иногда, когда я думаю о той своей ночной встрече, эта сила кажется мне разумной и насмешливой. А иногда я понимаю, что это может быть рябь на глади реальности, вызванная, скажем, взрывом параллельной вселенной. А я: «Отче наш, иже еси на небеси...»

Когда в детстве я лежал в бабушкином деревенском доме, а на чердаке срали голуби и разминались крысы, производя таинственные шорохи, я тоже читал им молитвы. И самое стран-

ное, что от моего голоса они ненадолго замолкали. Впрочем, хоть я и не голубь и не могу судить, но сиди я на толчке и внешне услышь снизу умоляющее: «Отче наш, иже еси на небеси!» — я бы тоже притих.

На самом деле мне не до шуток, не до смешочков. Тяжёлый железистый запах беспокоит меня.

Я визуал, и обычно, когда попадаю на место кровавой рубки, — скажем, в ту часть рынка, где разделяют свежие мясные туши — меня поражает зрелище. Картинка. И я, ослеплённый, спешу уйти, и образ окровавленных звериных тел идёт со мной и словно бы глушит все мои другие рецепторы. Я даже никогда не задумывался, что у таких зрелищ всегда есть характерный запах.

Но теперь я чувствую его. Запах насильственной смерти, запаха убийства. Он, как обонятельная галлюцинация, возникает в самые разные моменты: когда я выбираю куриную грудку в супермаркете, когда замечаю разводы свекольного сока на столе, хотя он не очень-то и похож на кровь.

Я зашёл, а она лежала на полу. Оно. По каким-то мелким признакам я сразу, моментально понял, что на полу лежит не человек, а мёртвое тело. Её тело лежало ничком, одна нога была чуть подогнута, и можно было подумать, что женщина заснула, тем более, что день был очень жаркий, и мне самому хотелось прийти домой и растянуться на прохладном кафеле. Но мы ходили по квартире босиком, а она была в уличной обуви, причём одна балетка соскользнула со стопы и как-то неуклюже пристроилась рядом. Ещё рука. Она была согнута в локте, но кисть, лежавшая возле кромки растекшихся по полу чёрных волос, напоминала обвисшую птичью лапку.

Ну и, конечно же, кровь. Хотя она бросилась в глаза не сразу. Частично она впиталась в тёмные волосы и была там не очень заметна. А небольшую засохшую лужицу я смог увидеть только когда подошёл поближе.

Я хорошо помню, что в тот момент, когда я осознал, что на полу моей квартиры труп, мои мысли, та часть моего существа, в которой я обычно обитаю и к которой привык, оцепенела. И тогда из-за её спины вышло что-то незнакомое

мне и захватило власть над моим телом. Я подошёл к трупу не потому, что в глубине души надеялся будто женщину всё ещё можно вернуть в него, спасти, не потому что хотел понять, кто она или как тут оказалась, или что мне теперь делать. Странное, животное любопытство заставило мои ноги двигаться, а мою голову склониться и приблизиться к мёртвой, чтобы лучше её разглядеть. Мне бы очень хотелось в тот момент растолкать привычную, знакомую часть себя и спросить этого нового обитателя моего тела: ты кто?

Я уже понял, кто она. Наш дом построен в форме буквы «О», в которую втиснули внутренний двор. Цветущие деревья, папоротники, «трещеские» статуи и многоярусный фонтан — имитация средиземноморского патио в азиатском тропическом городе. По утрам, когда мы с женой пили кофе на балконе, я частенько видел, как эта женщина курила — её балкон располагался наискосок от нашего. Она никогда не обращала на нас никакого внимания, в отличие, например, от семьи японцев, которые жили этажом ниже и всегда махали и улыбались в знак приветствия. Она сидела за столом боком к нам и обычно смотрела в пепельницу или в телефон. Длинные, иссиня-чёрные — вероятно, крашенные — волосы и облачно-бледная кожа. Последнее бросалось в глаза в городе, где повсюду заправляло злое, тропическое солнце, а по улицам круглый год бродили обгоревшие и очумевшие от жары туристы.

Теперь та её часть лица, которую я мог видеть, была пурпурно-серой. Я даже стал сомневаться, была ли она такой уж необычно бледной при жизни или я просто забыл, какого цвета была её кожа, и придумал этот мученический образ сейчас, задним числом, когда прояснилось лицо человека с топором.

Это был её муж. Я представил себе, каково это — жить с человеком, который способен гоняться за тобой по всему дому, а в конце ворваться в чужую квартиру и рассадить тебе череп. Каково это — жить с личинкой убийцы. Эта мысль по-новому подсветила мои воспоминания. Может, она никогда не поворачивалась к нам лицом, потому что тогда бы мы увидели её слезы или следы побоев? Может быть, она была вечно хмурой и неприветливой вовсе не из-за высокомерия, как мне казалось...

Я, конечно, слышал о состоянии аффекта. Но были две детали, которые казались мне невероятно холодными и потрясли меня даже сильнее, чем встреча с трупом.

Я видел этого человека с балкона. Кругловатый, бородатый, с добродушным лицом. Мне даже было его немного жаль — казалось, ему не повезло с женой. Вот они сидят за столиком, она с унылым, застывшим лицом молча смотрит в пепельницу, а он что-то говорит ей, иногда усмехаясь, словно пытается развеселить. Слов не слышно из-за шума воды в фонтане и криков детей, играющих во дворе внизу.

Так вот, топор со следами крови и мозгов его жены я нашёл в нашей кухонной раковине. Видимо, бородач и сам заметил, что топорщице запачкалось и автоматически определил его в мойку, как поступают с ножом, которым отрезали кусок ветчины на завтрак, или другими грязными кухонными принадлежностями. А потом он вышел из нашей квартиры и перед уходом нажал кнопку на дверной ручке, чтобы дверь захлопнулась.

Мне нетрудно представить, что, прежде чем уйти, он ещё не спеша прошёлся по квартире, рассматривая и оценивая мои рисунки, развешанные по стенам. Наверное, подошёл и к филиппинской маске, к «нему», скорчившему жуткую рожу, которая должна отогнать злых духов.

Теперь я лежу на диване и смотрю на тень вентилятора. Лопасты вяло вращаются, приводимые в движение сквозняком.

С некоторых пор мне кажется, что и вентилятор, и книги на полках, и сами полки, и рисунки, и шкаф со стеклянными дверцами — все предметы и даже мебель изменились после того случая. Все они стали свидетелями чего-то ужасного. И так же как собака, которую щенком очень сильно напугали, уже никогда не будет хорошим охранником, так и эти вещи перестали быть надёжными. Столько гладких, почти зеркальных поверхностей: кафельные плиты пола, лакированное дерево стола, глянец книжных обложек, стекло вазы... Все они впитали отражённое убийство, и оно осело в глубины их материи и осталось там.

Теперь вся квартира кажется настороженной, тревожной, испорченной своей памятью. Я больше не чувствую себя здесь в безопасности.

Конечно, я узнал потом, что наша квартира стала местом преступления не случайно. Оказывается, Лина, моя жена, перебиваясь через двор, успела познакомиться с соседкой, и та несколько раз заходила к ней на кофе. Скорее всего, Лина была её единственной знакомой в этом доме, поэтому она и побежала к нам, пытаясь спастись от мужа.

Но Лина, которая почти всегда днём бывает дома, в тот раз ушла встречаться с подругами и по своей обычной рассеянности забыла защёлкнуть входную дверь. Знаете эти круглые ручки с замком и кнопкой, кажется, их ещё называют «кноб»... Так что женщина постучала — это засняла видеочкамера в коридоре, но поскольку муж был совсем близко, она не стала ждать ответа, а повернула ручку и вбежала в квартиру.

И теперь я лежу в этой квартире, в вечернем сумраке, загипнотизированный движением вентилятора, торчащего из потолка и похожего на винт самолёта. Здесь произошла катастрофа. Или нет?

Был какой-то топор, и я беспокоился по его поводу.

Я словно только что очнулся в затёкшем теле и ещё не могу отделить сон от реальности. Я даже не помню точно, кто я и в правильном ли теле я очнулся. В такие моменты всегда немного страшно подходить к зеркалу...

Правило исполнителя

Таня идёт и несёт горячий чебурек. Главное — следить, чтобы кто-нибудь не пихнул под локоть и чебурек не улетел под ноги, в жидкую грязь. Чёрную весеннюю грязь, которую посетители рынка взбили в гладкую, блестящую смесь. В ней залегли в засаде банановые шкурки и промасленные бумажки от жареных пирожков и беляшей. Чебуреки тоже вкладывают в такие бумажки, но Танин — в пакете. Он куплен в особенном месте, там работает знакомая Таниной мамы, и мама за неё ручается. За то, что она кладёт в чебуреки настоящий фарш из говядины, а не из рыночных крыс, и время от времени меняет масло, в озере которого всё это дело жарится.

Тане нравится смотреть на кусочки белого лоснящегося теста, и как их потом споро, буквально одним движением, раскатывает в тряпочку мамина знакомая. И тут же: — хлюп! — а затем края тряпочки сомкнулись и скрыли начинку. Вот кому надо было учиться играть на музыкальных инструментах.

Но мамина знакомая уже упустила свой шанс. А Танин шанс в пропитанном мужскими духами свитере домашней вязки ждёт её в двух кварталах от рынка. И она должна дожёвывать и идти к нему. Раньше Таня очень хотела стать музыкантшей. А теперь...

Это для вас чебурек пахнет мясом или горелым маслом, для Тани он источает эфир самостоятельности. Она такая занятая особа, почти бизнесвумен, ей некогда, как её одноклассникам, разведаться домашними борщами перед телевизором. У неё только и есть, что пара минут на общепит в перерыве между школой и музыкалкой. Жаль, что такая занятость случается только один раз в месяц, когда Таня задерживается в школе на дежурстве своего класса...

Улица, по которой Таня ходит в музыкалку, не заасфальтирована, вместо пешеходного тротуара между заборами, дикими зарослями винограда и выющихся роз протоптана узкая тропинка. По мере приближения к школе восторг самостоятельности постепенно скукоживается. С прошлого урока Таня занималась от силы полчаса. «Но Гендель-то вряд ли ворочается в гробу, — размышляет Таня. — Он, наверное, и не догадывается, что этот набор авангардистских пауз и тычков — это его сарабанда».

Раньше Тане преподавал гитару Рамирыч. В музыкалке его не любили, потому что он пытался изменить привычные порядки, сложившиеся, наверное, ещё в те времена, когда в главном корпусе школы жил уездный купец, а в небольшом здании школьной администрации располагалась купеческая конюшня. За свою страсть к модным педагогическим нововведениям Рамирыч прослыл высокомерным выскочкой и скандалистом. В основном опешелояющая новизна его методики сводилась к нежеланию орать на учеников, как это делали практически все прочие преподаватели.

На Таню он имел неограниченное влияние. Однажды она пришла на занятие с невыученной пьесой и только начала через такт спотыкаться, как он уже своим повелительным «Стоп!» — прервал её и велел идти домой. Рамирыч не ругал Таню. Просто объяснил, что проводить урок бессмысленно — он будет точной копией предыдущего урока, а у него нет желания так бездарно тратить своё время. Таня тщетно пыталась оправдаться. Тем временем в соседнем классе тяжело и противно скулила скрипка, а потом громко взвизгнула преподавательница-скрипачка, словно она вошла в класс и застала за игрой настоящего медведя. Обычно Таня и Рамирыч вместе посмеивались над этой училкой и её оглушающими педагогическими приёмами. Но в тот день было не до шуток — едва сдерживая рыдания, Таня поплелась домой.

С тех пор она играла на гитаре с исключительной регулярностью. В обычной школе она училась в третьем классе, но её мать вместе с Рамирычем уже всерьёз обсуждали, в каком из музыкальных училищ страны достойное Тани гитарное отделение. Когда они почти решили этот вопрос, начались летние каникулы. Несметные полчища домашки, заданной Рамирычем, отступили до августа. В последний месяц лета они хлынули на Таню со страниц нотных сборников, но она довольно неплохо с ними справилась. В конце августа, с чувством выполненного долга, Таня прибежала в музыкалку. И тут выяснилось, что Рамирыч за лето перебрался в Москву.

Сначала Таня решила бросить учёбу. Раз уж оказалось, что Рамирыч — коварный предатель. И это после всех обещаний непременно доучить их гитарный класс до выпускного! Но мать уговорила Таню хотя бы посмотреть на нового учителя. Потому что нельзя же из-за неожиданного выверта какого-то длинноволосого скандалиста просто взять и зарыть свои способности к музыке! Танина мать даже выяснила, где живёт семья дезертира, и сходила по этому адресу, чтобы уточнить, не собирается ли беглый преподаватель возвращаться. Или, быть может, он и не уезжал, а его выжили с работы и оговорили старые музыкальные девы? Пока мама расспрашивала сестру Рамирыча, Таня демонстративно стояла в отдалении, спиной к калитке. И

хотя её спина делала равнодушный вид, Танины музыкальные уши улавливали каждый шорох. Где-то на дне своего сознания она все ещё не верила, что Рамирыч мог так просто уехать. Сейчас она услышит шаги, а потом и его голос, в котором всегда скрыта какая-то энергичная весёлость. Как минимум, он оставил ей покаянное письмо или какой-нибудь прощальный подарок. Но сестра Рамирыча не только не окликнула Таню, чтобы отдать письмо, она вообще была как будто не рада визиту и быстро спроводила Танину маму, сказав только, что возвращаться обратно в «это захолустье» брат не планирует.

Они шли домой, мама что-то говорила. Наверное, утешала, расхваливала нового преподавателя или объясняла, что Рамирыч, в общем-то, не виноват: незачем такому чудесному молодому гитаристу прозябать в местной убогой музыкалке. Но Таня не слушала. У неё в голове металась горячие, раскалившиеся от обиды мысли. И как будто отвечая на них, в высохшей августовской траве вызывающе громко застрекотал кузнечик. А потом она почувствовала медовый запах золотарника. У кого-то перед домом росли целые заросли этих кустов, и на усыпанных мелкими жёлтыми цветками метёлках толкались десятки пчёл. Золотарник пах поздним летом: смягчившимся и подобревшим солнцем, созревшими фруктами. Таня никогда не понимала, почему цветоводы в её городе золотарник не жаловали, предпочитая напыщенные хризантемы, гладиолусы и георгины.

Было в этом запахе и ещё что-то. Почувствовав его, ты тут же представлял себе чашку волшебного нектара, который непременно хотелось попробовать. Но если ты был человеком, а не пчелой, то мог разве что слизнуть упавшую на ладонь жёлтую пыльцу, которая не имела никакого особенного вкуса.

Запах золотарника отвлёк Таню от злых мыслей. Она в последний раз погрозила Рамирычу: «Ничего-ничего, ты ещё пожалеешь...» Но потом погрузилась в построение планов на два последних дня августа, которые теперь, когда разучивать пьески больше не было надобности, она могла наполнить самыми необыкновенными приключениями.

В музыкальной школе вместо Рамирыча Тане выдали Просандеева. Просандеев был двухметрового роста, с такими громадными руками, что гитара в них выглядела как домра или балалайка.

Наверное, во всех музыкалках мало учеников-добровольцев. Но Танина к тому же располагалась в здании, в котором по-прежнему витал ничем не нарушаемый дух крепостничества. В маленьких комнатухах, за пару сотен лет чуть не по окна вросших в землю, зимой и летом было душно, а единственной радостью учеников был большой двор и старая яблоня, каждый сентябрь исправно подкармливающая музыкальных мучеников кисловатыми яблоками.

Казалось, не только ученики, но и учителя здесь были не по своей воле. Иные, ещё довольно молодые тётушки, запертые в классах в ожидании прогуливающего «музыканта», начинали потихоньку грызть фортепиано, а вину за проедины спихивали на крыс. И тут явился Просандеев. Сначала выплыли его добродушные усы, потом обтянутые вязанным свитером широкие плечи, и, наконец, сверкнул значок охотничьего клуба, который он носил постоянно, как будто принадлежностью к такому постыдному сообществу стоит гордиться.

Просандеев был полной противоположностью Рамирыча. Он ни с чем не боролся, а потому всем нравился. Некоторым настолько сильно, что они не могли скрывать своих чувств, и их заставляли на коленях у Просандеева прямо в стенах школы. По слухам, в момент разоблачения прежде вечно недовольная скрипачка игриво дёргала Просандеева за усы и хохотала...

Нелегко было вынести такое количество женского внимания. А ведь ещё надо было играть в республиканском оркестре. Времени на учеников, перешедших по наследству, откровенно не хватало. Частенько Просандеев практически спал на уроках, а в маленьком классе причудливо смешивались запах перегара и мужских духов, которыми охотник обильно поливался.

Таня начала пропускать уроки. Она шла в сторону музыкалки, но как бы случайно проходила мимо и долго гуляла в отдалённых и прежде незнакомых районах города. К счастью, в Танином городе не бывало суровых зим. Наверняка где-нибудь

в Якутии есть печальная статистика относительно того, сколько детей ежегодно получают обморожения, прогуливая уроки с ноября по март. В городах будущего обязательно нужно устроить специальные тёплые пространства для прогульщиков, куда бы они могли безбоязненно прийти, почитать книгу или выпить чая.

В ответ Просандеев тоже стал прогуливать. Таня не знала, чем он занимался в освободившееся время. Может, охотился в соседнем лесопарке. Они друг друга не выдавали, и Танина мама думала, что Рамирыч забыт, а дочь с Просандеевым отлично поладила.

Оставалась одна проблема: в конце каждого полугодия в музыкальной школе бывали технические зачёты и отчётные концерты. Там Таня должна была продемонстрировать приобретённые навыки игры перед другими преподавателями и школьной администрацией, а они, в свою очередь, должны были оценить результат Таниной с Просандеевым полугодовой работы.

«Есть такое правило исполнителя, — поведал Просандеев в одну из их редких встреч, — никогда не останавливаться. Даже если ты ошибся или забыл ноты — продолжай играть».

Продолжай играть. Всё равно завуч дремлет, а руководитель хора вяжет новый свитер и обдумывает, что приготовить на ужин. Ну и что, что в середине сарабанды внезапно зазвучали аккорды «Звезды по имени Солнце», сыгранные перебором? Только грубые паузы заставляют этих людей встряхнуться и осознать, где они находятся.

Используя данный совет, Таня успешно проходила регулярные отчётные испытания. И потом вполне прилично — на четвёрку с минусом — сдала выпускной экзамен.

После каждого публичного триумфа «правил исполнителя» Просандеев бывал очень доволен: улыбался в усы, заговорщически подмигивал. И было такое ощущение, что он ненадолго проснулся, соскочил с лошади, вернулся со своей воображаемой охоты в реальный мир, где он обычный учитель музыки. В такие моменты он рассказывал смешные истории из жизни оркестра, в котором работал, и показывал фотографии

своей коллекции акустических гитар. Тане особенно нравилась чёрная концертная гитара *Ovation*, «как у Розенбаума». Они болтали, и иногда Просандеев вдруг начинал что-то играть, извлекая своими громадными пальцами неожиданно нежные, трепетные звуки. Таня слушала и думала, что, пожалуй, не так уж он и плох, и со следующего полугодия она непременно начнёт усиленно заниматься, чтобы сдать грядущий отчётный экзамен безо всяких мошеннических уловок. Но потом начинались каникулы, а после них Просандеев бывал особенно истрёпан, вял и безразличен. Так что уже после первого урока Танин заново разгоревшийся интерес к музыке гас, и она решала вновь вернуться к интенсивному пешеходному краеведению.

Вот так Таня не стала музыкантшей, о чём иногда жалела. В такие минуты ей думалось, что предательство Рамирыча стало поворотным событием, после которого один вариант её будущего безвозвратно сменился другим. Возможно, знай она больше о жизни Рамирыча после ухода из музыкалки, ей удалось бы понять логику судьбы?

Как-то утром, за несколько месяцев до окончания университета по землеустройству, Таня снова вспомнила о Рамирыче и стала искать его в интернете. На сайте, где репетиторы размещают информацию о себе, Таня нашла подробную биографию. В Москве её бывший преподаватель работал звукорежиссером в Дворце культуры ГПЗ-1. Когда в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост» в ГПЗ-1 случился теракт, Рамирыч стал одним из заложников. Он выжил и полгода спустя стал давать частные уроки музыки. Но, видимо, из-за теракта что-то в нём навсегда повредилось. В отзывах некоторые ученики жаловались, что перестали посещать занятия из-за его странного поведения. Одной ученице он позвонил поздно вечером, стал нести что-то несвязное и умолял её приехать к нему прямо сейчас — просто посидеть с ним. Другому сбивчиво, но с множеством ужасающих подробностей, рассказывал о каком-то пожаре...

Думал ли Рамирыч о том, как сложилась бы его жизнь, если бы он не уехал в Москву? Ведь тогда из его и Таниных мыслей можно собрать несостоявшийся вариант будущего, возможно, лучший для них обоих...

Таня набрала номер. Она слушала гудки и не знала, что будет делать: представится ли сама собой или скажет, что звонит насчёт репетитора. Но на том конце ответил женский голос.

— Алло... Я...

— По объявлению? Уроков больше не даёт — страницу никак не получается удалить.

— А можно его позвать к телефону?

— Нельзя. Он уже два месяца, как уехал на родину, а вы всё звоните и звоните. Я его сестра, а не секретарь.

Не прощаясь, женщина повесила трубку.

И вот Таня сидела перед страницей с биографией, смотрела на «свою» строку — «работал в ДМШ №2», — и вспоминала, как они с матерью ходили к Рамирычу домой. И скоро Таня оказалась среди жёлтых зарослей. Она шла и гладила ладонями пушистые метёлки, а они в ответ кивали и сорили пылью. И Таню окутывал тёплый запах золотарника. Запах, полный ослепительной тоски по чему-то, чего никогда и не было вовсе... 



Евгения Коробкова

Джина

Она спросила, что у меня в руках. И, увидев, подняла лицо к небу и засмеялась. Смеялась хорошо и необидно, звонко, никого не стесняясь, как может смеяться только абсолютно свободный и очень красивый человек, зная, что им любят в этот момент и взрослые, и дети, и пожелтевшие деревья в парке.

Было тепло, настоящее бабье лето. Девчонки, с которыми мы ещё месяц назад перешли в подготовительную группу детского сада, были одеты в коричневые платья с белыми воротничками. Они играли в классики, в резиночку, прыгали по автомобильным пинам, изображающим дракона. Атракционы в парке давно сломались.

— Жень, а мы уже в школе, — хвастливо крикнула Ирка. Она не прыгала, а держала двумя пальцами что-то серое, тяжёлое, на конце, похожее на кусок мокрой тряпки. Кажется, с мальчишками они играли в охотников, собирая тушки мёртвых голубей и складывая их в хранилище под горкой.

Хильда Яковлевна Беккер. Низеньким заборчиком мы сидели на стульчиках вдоль чёрно-белого телевизора с помехами. На экране вытягивалось вправо и влево, как капля воды, готовая упасть, красивое иностранное лицо Джинны Кэпвелл из Санта-Барбары.

— Смотрите, Джина! — крикнул кто-то из детей. Мы обернулись.

Как же они были похожи! Уложенная наверх стрижка, тонкий нос, крупные серьги-пуссеты, чёрно-белый пиджак с накладными плечами и столько жизни в лице, в голубых глазах, в движениях, что хотелось зажмуриться.

Другие учителя завидовали ей. В девяностые, когда у многих не было денег на заварку и колбасу, у Джинны была модная, как с картинки, одежда.

— Потому что Хильде Яковлевне сестра из Германии присылает, — объясняла мать.

Она нашла с Джиной общий язык. И даже несмотря на то, что у Джины только девять классов образования и какое-то там двухгодичное казахстанское педучилище, а не высшее техническое, полученное в престижном новосибирском НИИЖДе.

Джина говорила «чижало» вместо «тяжело», «ну что ты копаешься, как капалуха», когда ученик слишком долго возился с заданием. «Ой, что это у вас за чечки разбросаны по полу», — спросила, когда пришла в гости.

Я хорошо помню этот день, 31 декабря 1992 года. Раздался звонок в дверь, и мама, жарившая цыплят табака по особенному, неклассическому рецепту, согласно которому, цыплят нужно было поливать соусом каждые пятнадцать минут, застыла у открытой духовки, изображая греческий меандр. В дверях стояла Джина с подарками. Никто не верил, что она придёт, особенно мама, хотя сама же и сказала однажды в декабре: пригласи Джину к нам на Новый год. А вечером ещё переспросила: ты позвала?

— Позвала, — ответила я, не уточнив, что в этот день в школу меня провожал папа. Это он подошёл к Хильде Яковлевне и сказал: «Женя и я приглашаем вас на Новый год».

— Постараюсь, — ответила она просто.

— На улице — околевание, — сказала по-сибирски разрумянившаяся, запорошенная снегом Джина, выкладывая на стол угощение: ещё теплые, такие же румяные, как она, плюшки из теста и творага. («Шанежки вам напекла».)

И мать заулыбалась. Она тоже была родом из Сибири, но огнём и мечом вытравливала из себя и «чижало», и «чечки», и «капалуху».

Джина заполнила квартиру непосредственностью, смыслом и сладким запахом духов. «Что это у вас, лапша»? — просто-душно спросила, когда мама внесла новое блюдо.

— Ну что вы, Хильда Яковлевна, нас позорите. Кто же встречает гостей лапшой. Это картошка по-корейски, — снисходительно ответила мать.

— Ку-ку! — строго поддакнула кукушка из часов.

Джина рассмеялась.

— Какие чудесные часы. Какой прекрасный стол. Ни-когда не ела такой картошки.

Когда отец взял гитару — она запела «Как служил солдат службу ратную». Высоко и правильно, почти как на пластинке Жанны Бичевской. Так, что мать встала, подошла к книжному шкафу и принялась усиленно что-то искать там.

— Вот, Хильда Яковлевна, посмотрите, — положила прямо перед ней немецкие кулинарные журналы.

Она мгновенно перестала петь, переключилась на рецепты и не смогла перевести почти ничего.

— Вот тебе и немка, — удовлетворённо сказала мать ночью, когда гости ушли. — Я и то лучше по-немецки разбираюсь.

— Что? Хильда Яковлевна фашистка? — переспросила я и схлопотала радостный подзатыльник.

— Не фашистка, а немка. Что, не видишь разницу?

Нет, я не видела разницу. В рамках нового образовательного эксперимента в первый класс набирали пяти- и шестилетних детей. Эксперимент достался Джине. Молодая, неопытная, только приехала в город... К тому же — чужая. Почётное право завалить эксперимент. Кому, как не ей?

— Джина! — крикнул кто-то из ребят, когда она в первый раз вошла в сад.

Воспитатели недовольно засуетились. Они хотели досмотреть «Санта-Барбару», но с приходом Джины пришлось расставлять столы, как во время обеда, раздвигать стулья, выключать телевизор и усаживать детей на тестирование.

Она подошла к каждому знакомиться. Села передо мной на корточки.

— Как тебя зовут? Женья? Я Хильда Яковлевна. Мы сейчас будем делать задание.

— Вы жена Маршака? — спросила я.

— Почему, Женья?

— Он тоже Яковлевич.

И тогда я в первый раз увидела, как она смеётся.

Мать Джины давно умерла, а отца, дедушку Якова, нам с девочками как-то довелось увидеть, когда мы с цветами пришли поздравить её с днём рождения и не застали дома. Дверь открыл очень худой и очень улыбчивый старичок с оттопыренными, как у кастрюльки, ушами.

— Хильда Яковлевна дома? — спросили мы. Дедушка замотал головой. Мы хотели уйти, но он не дал. Пригласил за стол, из только что открытой немецкой посылки выдал каждому по киндер-сюрпризу. Мы никогда до тех пор не пробовали киндер-сюрпризы...

Долго-долго мы болтали с ушастым дедушкой. Показывали раскраски и рисунки в девчачьих анкетах. Он смотрел внимательно, с интересом отгибал уголки с надписями «кто откроет этот лист...» и хохотал, увидев под отогнутым уголком изображение червяка и подпись «тот большой зелёный глист».

В общем, мы так хорошо провели время, что ничего не заметили.

Например, того, что отец нашей учительницы вообще не говорит по-русски.

Город К. был построен пленными немцами. Половина жителей обитала в саманных домах. В музыкальной школе играли на трофейных аккордеонах. Дочь немца и азербайджанки руководила местным клубом и, как говорят, хотя я уже не помню, местный хор гремел на всесоюзном уровне. Немцы преподавали в школе, но к тому моменту, когда в школу попала я, из немцев там осталась одна Хильда Яковлевна.

Она вела себя непедagogично. Вообще непедagogично. На это ей пеняли мамыши из класса и упрекал педсовет. Одевалась ярко и не по зарплате, плевала на мнения коллег. Заводила любимчиков. Высокомерные педагоги высшей категории смотрели на меня недобро. «Смотри, идёт, идёт. Немкина любимица», — несло в спину.

— Ну какая из неё отличница, она же пишет, как курица лапой, — упрекали Хильду Яковлевну учителя.

«Ты пишешь некрасиво, но у тебя нестандартное мышление. Поэтому я тебя и люблю», — сказала она.

Она лукавила. Она полюбила не совсем меня.

Вслед за парковыми аттракционами стало ломаться что-то в жизни. Мать закрывала двери на кухню и плакала по ночам, ругала отца, неспособного заработать на жизнь. Вместо зарплаты он приносил с работы шпроты в коробках.

— И что ты хочешь этим сказать? Мне всё бросить и сесть на площади их продавать? — выговаривала мать.

Отец виновато опускал голову...

По утрам мать делала вид, что ничего не происходило. Будила меня, отводила в школу.

Там учителя бросили бесплодные попытки стрясти с нас по две тысячи рублей на уборщицу и Христом Богом заклинали найти средства, чтобы купить хотя бы один учебник истории и биологии на класс.

Джина давно выпустила нас. Теперь у неё были новые экспериментальные ученики, ревущие от системы Занкова. Любимчиков она больше не заводила, да и учителя привыкли к ней и уже не так ненавидели. Дело в том, что вокальный талант Джины высоко оценил дотошный баянист и преподаватель музыки Евгений Евгеньевич. И теперь было кому отдуваться на городских и межшкольных праздниках и петь со сцены клуба железнодорожников «Я волнуюсь, заслышав французскую речь», «Три танкиста, три весёлых друга» и другие песни военных лет.

Раз в месяц, когда матери давали зарплату, мы ходили на рынок. Там, разбурчавшаяся, словно снегурочка, торговала копчёным салом Джина. Отец летел к ней «на раздутых парусах» (так однажды недовольно высказала ему мать). Он становился таким, каким я помнила его раньше. Переставал заикаться и снова начинал шутить. Она хохотала, легко и звонко, запрокинув голову так, что замирали снежинки, замирала торговля и замирал круглый усатый человек рядом с ней, уставясь перед собой горько и обречённо.

Довольно поздно я узнала, что, оказывается, у Джины есть муж. Усатый низкорослый дядя Сапа.

Сын ветерана войны, ярко выраженный русский патриот, выпив, он неизменно выговаривал жене за все прегрешения немцев перед русскими, обещая устроить ей Курскую дугу, Прохоровку и Сталинградскую битву. А однажды мы стали свидетелями безобразной сцены. Зазвонил телефон. Соседи Джины просили отца немедленно прийти: «Здесь Хильду Яковлевну убивают». Огромный, двухметрового роста, он летел «на раздутых парусах»

по слякоти города К., напоминая Петра Первого, выбирающего место для строительства Петербурга с картины Серова. Мы с матерью бежали следом. Мать кричала: почему какая-то соседка звонит тебе? Какое ты имеешь отношение к Хильде Яковлевне? Но он не отвечал, потому что ветер уносил слова.

Джина жила в жёлтом двухэтажном бараке немецкой постройки. Деревянные ступени скрипели, истеричным лаем заливалась соседская собака, дверь в квартиру была открыта нараспашку и возле неё толпились соседи, не решаясь войти. Внутри валялась куча выпотрошенной из шкафа одежды и устраивал «курскую дугу» допившийся до белой горячки дядя Саша. Его лицо было красным, как свёкла. Он бил Хильду Яковлевну головой о стену, называя на немецкий манер курвой, лярвой и карловой сукой.

— Вы должны были вызвать милицию. Зачем было нам звонить. Нужно сразу в милицию, — попыталась объяснить мать соседям. Но отец уже вбежал в комнату.

Он схватил дядю Сашу легко, как пушинку, оторвал от земли и на вытянутой руке вынес на улицу:

— Запомни, если ты ещё раз, хоть пальцем. Хоть пальцем!

Соседи уважительно расступились, когда отец поднялся в квартиру.

Мать вышла к дяде Саше. Обмякший и пожухший, он сидел на лавке, размазывая по лицу обиду. «У меня отец. Ветеран. А она. Немка. А она. Фашистка».

— Я вас понимаю, Александр Петрович, — сказала мать строгим голосом. — И у меня отец ветеран. Мы с вами — дети русских солдат. Вы же понимаете, мы не можем позволить себе так себя вести. Ради их памяти.

— Да, я сын русского солдата. Ради памяти, — всхлипнул дядя Саша, уткнулся в материну кофту и разрыдался.

Мать ругала отца. Зачем ему понадобилось влезать в дело чужой семьи? Джина больше не приходила к нам в гости. К тому же, она засобиравалась в Германию. Дед Яков умер, она всеми мыслями была в другой стране. На рынке торговать продолжала, но мать тоже больше не ходила туда за салом. Разве что отец иногда сворачивал в мясные ряды, на пять минут...

— О чём говорили папа с Джиной? — спросила однажды мать, провожая меня в школу.

— О том, что в Германии большие магазины и нет продавцов, что на улицу выбрасывают абсолютно новую мебель, что бесплатно дают квартиры и платят большое пособие, на которое можно хорошо жить всей семьёй.

— Рассуждает как типичная бюргерша, — поморщилась мать.

Однажды, когда отец вновь принёс зарплату уже не шпиротами, а конфетами «Коровка», мать велела ему уходить и не появляться. И сама не ожидала того, что отец, понутив голову, наденет куртку и уйдёт. Спустя несколько часов она пришла в мою комнату и велела идти следом.

И я пошла к Джине.

В подъезде по-домашнему пахло хлебом и баней. Четвёртая ступенька скрипнула. Собака из квартиры напротив зашла в лае. Я позвонила в дверь. Джина открыла, наклонила голову набок. «Я так и знала, что ты придёшь».

Было пусто. Куда-то исчезли и телевизор, и книжные стеллажи. Только на кухонной стене ещё улыбалась с репродукции Мона Лиза, а на газовой плите стоял бидон со шлангами, и в трёхлитровку капало: кап-кап-кап. Отец сидел, положив голову на обечайку гитары и никак не отреагировал на моё появление.

Джина налила чай, придвинула открытую коробку «Коровки».

— Вы делаете ремонт? — поинтересовалась я, чтобы разрядить атмосферу.

— Хильда Яковлевна уезжает, — ответил отец не своим голосом.

Вечером мы пришли домой. Мать не разговаривала с нами.

— Джина отдаёт нам самогонный аппарат, — как ни в чём не бывало объявил отец. — Я буду гнать сам. И продавать тоже буду сам.

В несколько приёмов он ходил к Джине. За аппаратом, за оставшимися мешками сахара. Она отдала не только аппарат,

но и рецепт коньяка. Самогон с добавлением трав становился похож на коньяк, благо за годы безденежья никто и не помнил настоящего вкуса этого напитка. Вот он и сейчас хранится у нас дома, листочек, вырванный из тетрадки в клеточку, на котором разборчивым учительским почерком крупно написано:

РЕЦЕПТ КОНЬЯКА

Самогон 40% — 3 литра

Сахар. 3 ст. л

Чай листов. 3 ч. л

Кофе раствор. 0,5 ч. л

Ванилин + корица — На кончике ножа

Кора дуба. Щепотка

Зверобой. Щепотка

Всё настоять около месяца, профильтровать. Лучшие все компоненты сложить в марлевый мешочек и потом его убрать. Тогда фильтровать не надо.

Волшебный рецепт. Как он спасал нас в годы ельцинской нищеты!

Нужно было встать возле школы или возле гаражей и крутиться там как бы невзначай. Обязательно находился кто-то, кто спрашивал: «Есть что выпить?» — «Самогон — десять, коньяк — пятнадцать», — отвечала я. Человек давал деньги. Мы подходили к «Москвичу», припаркованному поблизости. Покупатель садился в машину, где папа выдавал ему бутылку. Потом мы ехали в магазин. Покупали пачку сливочного и бутылку подсолнечного масла, покупали десяток яиц, солёный крекер в виде рыбок, маленькую баночку кофе «Чибо» и мороженое в брикете — для мамы. Оставшуюся часть денег прятали в ящик стенки, чтобы накопить на покупку нового мешка сахара.

«Вон чему научилась, немкина любимица», — презрительно фыркали учителя. Но сами, когда приближался юбилей или корпоратив — вкладывали в дневник записочку. Столько-то бутылок коньяка. Столько — самогона.

В прошлом году я нашла Джину в сети «Одноклассники». Долго думала, но всё же позвонила. Кажется, она не особо и

обрадовалась. Голос её был сдавленным, неестественным, чужим. Она долго говорила о том, как рада тому, что, несмотря ни на что, уехала в Германию, что Екатерина Вторая когда-то перевезла её предков, а она нашла в себе силы уехать назад. «Тут очень хорошо. Я работаю преподавателем. Мы едим фрукты каждый день. Я ничем не торгую. У меня большая зарплата. Две тысячи евро. Здесь очень много красивой одежды, Жень, она стоит совсем недорого. Чтобы купить сапоги, не надо копить по полгода».

Чтобы не огорчать её, я не стала говорить, что голодные годы прошли. Мы тоже едим фрукты каждый день, проблемы с покупкой одежды нет, и по полгода на сапоги я не коплю. Меня поразило, что за двадцать лет, пока её не было в России, Джина успела подзабыть русский язык, обзавелась характерным немецким акцентом и говорила односложно, с трудом подыскивая слова. В памяти всплыло неприятное «бюргерша». Я хотела распрощаться, но Джина спросила неожиданно.

— Жень, подожди. Жень, как там папа?

— Работает, — ответила я. — Живёт там же.

Она помолчала.

— А мама?

— Умерла.

— Когда?

— Через три года после вашего отъезда.

Она долго молчала. Так, что я стала подозревать, что в трубке что-то отключилось. И вдруг — заговорила совсем так, как говорила раньше. Совсем без акцента, знакомым голосом. Её муж, дядя Саша, тоже умер вскоре после переезда в Германию. У него был рак, он повесился, не выдержав страданий, оставив записку с просьбой никого не винить. «Жень, я всё это время думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не уехала. На самом деле, я не знаю, правильно ли я сделала. Я много раз хотела вернуться».

Недавно она вышла замуж за немецкого бюргера. Такие красавицы не остаются одни. Стефан, немецкий националист, сын участника войны, правда, с другой стороны баррикад. Он стесняется перед коллегами по работе, но хвастается русской

женой перед родственниками. Джина прекрасно готовит сибирские блюда. Экономный Стефан отмечает праздники дома и не ходит в кафе.

— Я запомнила тебя маленькой девочкой в парке, — сказала Джина. — Ты никому не смотрела в глаза и постоянно делала что-то странное. В тот день, когда ты пришла в школу, держала что-то в руках и никто не мог понять, что. Ты показала только мне. Это была коробочка с мамиными противозачаточными таблетками.

Мне стало неловко.

— Ку-ку, — сказала кукушка из часов.

Джина разрыдалась в трубку.

— Я давно хотела позвонить и рассказать. Надо было. У меня должен был быть ребенок. Девочка. Но мы жили так плохо, и нужно было уезжать. Я не знала, что будет...

Полчаса, отведённые связью, наконец, истекли. Трубка отключилась. Перезванивать я не стала. 

Юлия Гринберг

накрасила ногти

накрасила ногти
пошла пропалывать сорняки
накрасила ногти
приспичило в туалет
накрасила ногти
начала определять вектор
просроченных отношений
собрала мешок постаревших даров
отдала то отдала это
сумки носовые платки
сковороды рисоварки

только наглеть не надо
куски моей жизни просить
шантажировать смайлами

белая голландия

снилась сегодня голландия
я ехала вдоль каналов на белой машине
навстречу голландские домики в ряд
белые с заковыристыми крышами
уходили в землю выезжали вверх поочерёдно
поршни странного мотора
былые зубы голландского города
молочные острые кирпичные
невдалеке каменоломня слева канал
много белого видела и ломаного
мне бы к морю в утрехт роттердам
а я в плену у поршневых домиков
домик средний спустил меня в бар
сам снова вырос наружу

из бара не выбратья
пью улыбаясь волнуясь
о тюльпанный салат
о мой белый автомобиль
зачем я вручила ключи
сливочным братьям

не разлучать резиновые калоши

как меня ни встряхни
я снова складываюсь в калейдоскоп
вот например тарзан
помусолила
отпустила
вот например билет в третий ряд
драма в процентах
«не разлучайте резиновые пуанты»
вот фрактал на семи ветрах
из плачущих карнатид
срам не прикрыт
биопродукты
калоши
протягиваю тебе мои ступни
смотрю как целуешь
думаю отрастут ли новые

* * *

они заведут осьминога
а мне убирать за ним говна
они приведут носорога
а мне ему шкуру расчёсывать
идите, идите отседова
сажайте свои незадачки
лудите свои дыры сами
прорехи свои сами штопайте
а мне не до вас отъебитесь
у самой вона кожа бумажная

* * *

купите пуанты
посоветовал ей
терапевт

всей проблемы это не решит
но ходить вам будет
всё же немножечко легче

* * *

чистописание шин по мокрому асфальту
гиперболу выводит аккуратно
кривая виртуальной пуповины
под сизо-тучным одеялом неба
и хочешь едешь и не хочешь едешь
от бешеного пляса облаков
растягиваем ветром в асимптоту
и фары белоглазые в затылок
глядят бесстрастно и осоловело

* * *

что ж ты истёрлась кожа старая тряпка
соберись подтянись не позорься
что ты морщишься дура проклятая
что подводишь меня что
стыдно людям в глаза смотреть
дрянь
 мерзавка
 бедная моя
 бедная девочка

Динара Расулева

Тесность

думал, одному МНЕ давит жизнь,
сидел в очереди и вдруг увидел — всем давит!
у этого стекают с лица бород ежи,
у того изо рта морж языка выползает,
в дядю напротив не влезает живот,
у деда из рукава торчат лишних три пальца,
девушке зубы не лезут в рот —
виду не подаёт, типа улыбается.

тётя в регистратуре вдруг наполнилась до краёв
(была пустая)
заталкивает вызванный главврачом экзистенциальный
кризис,
давится, зашивая наскоро рот, из которого последнее
выползает:
дома пусть делают что хотят, ну хоть на людях не ебитесь!

надламываю себе череп (кость нежна)
— самому уже тесно невоготу —
из него вылезает беременная жена
и рождает недоношенную пустоту

<<тут и далее кричит в отчаянии жена:

как вместить в себя пустоту?
моей пустоте во мне тесно!
я рожу; из себя ещё двести пустынь,
но внутри не настанет места.

там сидят ещё трое чужих зверей (во мне)
один в меня плачет, второй пилит рёбра — побег,

третий выходит по ночам и сидит-скулит у дверей,
ведущих в счастливую жизнь (нет)

там так тесно, как на ферме у котлет-телят,
как в корсете, несущем кровотечения в органы,
как в отношениях, где не умеют или/и не хотят
говорить, как в банке, где ты заспиртован.

мне ампутировали даже все бесконечности
(у меня к бесконечностям масса вопросов с детства)
но они умудряются заново отрасти,
и опять недостаточно НУЖНО ЕЩЁ БОЛЬШЕ МЕСТА

а всё потому, что не вмещается что-то нов-
ое, незаметное во время УЗИ в разрезе:
из тысячи моих порванных улыбкой ртов
лезет рвотой внезапной любовь, ЛЮБОВЬ ЛЕЗЕТ

Время улыбаться бомжам

зажевало штанину в цепи велика,
не упала, потому что дерзкая, как америка,
потому что ловкая, как ютубовские упражнения для спины,
только штаны порвались, только жаль штаны.
предложили в два раза больше работы без повышения —
согласилась,
потому что сублимиссивная, как россия,
потому что рисковая, как британия,
и по венам татарским течёт страдание,
вытекая утром наружу: мёрзну, болит всё,
даже страдающий средневековец был бы потрясён,
а мне приходится вставать и жить жизнь, призрачно, как
словения,
даже еда не принесла облегчения
вчера — вышла поесть, и на углу бомжи что-то невнятное
попросили,
не улыбнись бомжам, потому что хищная, как россия,

и уже всем всё давно понятно вроде бы,
но я знаю людей, кто всё ещё любит родину.
и я тоже её люблю, у меня там была волга,
был прах кота развеван и, говорят, нигде лучше нет творога,
и ещё говорят, где творог хороший, там и дом,
но я не ем творог, мне и здесь норм.

Хорошее

помнишь свой первый момент отчаяния,
когда всё кончено, зачем жить, и суицид, само собой?
порвала кислотные колготки ключами
от внешней двери совершенно непонятным способом.

на ещё одни кислотные денег нет, да и не найти таких
больше —
кто-то привёз год назад гостинцем из Амстердама.
надо во всём стараться находить хорошее,
сказала тогда мама,

в этих колготках разве тебя кто-то замуж бы взял?
не сдалась ты в таких колготках никакому мужу бы,
что, носить нормальные телесные, как у всех, нельзя?
да и вообще, всё в жизни к лучшему.

через пару лет прозрачные колготки привели к замужеству:
муж сначала любил, типа всё для тебя и никогда не брошу,
а потом бросил на пол, пристегнул к батарее и другие ужасы.
ты старалась во всём находить хорошее.

типа, бьёт — значит любит, зато пристроена,
посмотри на других: несчастные девушки не первой
свежести,
и чего не живётся тебе спокойно
в формате простого женского счастья и семейных
ценностей?

когда ты забеременела, то стало на миг страшно, что-то,
мол, вдруг будет бить ребёнка, то что тогда-то?
потом постаралась найти хорошее и нашла:
дал бог зайку — даст и хорошего адвоката.

когда бог забрал зайку, то было сложно найти хорошее,
но ты уже стала профи, натренировалась, как надо:
а что, если б вырос и стал наркоманом, или, не дай боже,
не звонил и не приходил поздравить с восьмым марта?

потом было много хорошего, адвоката искать
не пришлось: муж потерялся в пространстве и времени,
от него осталась бутылка мартини и незастеленная кровать,
все синяки скоро зажили в здравии и забвении.

родители умерли через десять лет, хорошего ты не нашла
сначала, а потом вдруг нашла, и даже как-то многовато:
а вдруг бы дожили до возраста, когда смотрят первый канал,
ненавидят чужих и хвалят императора?

а вдруг бы однажды прочитали все эти стихи её
и отреклись навсегда, прокляли или просто сошли с ума бы?
или стали неузнаваемыми от химии
и остались в памяти облысевшие и с выпавшими зубами?

недавно порвала колготки, обычные, телесные, как у любой
прохожей,
таких в любом магазине миллионов тыщи.
помнишь, мама говорила, надо во всём стараться находить
хорошее?
и ты ищешь.

любовь заканчивается каждые пару лет? сходи за новой!
кто-то не позвонил? меньше облучения телефонных волн!
друзья умирают всё чаще? зато ты здорова!
слышишь, вибрирует телефон?

ПОМНИШЬ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ ОТЧАЯНИЯ, КОГДА БЬЁТ
ДРОЖЬЮ
ПОД КОЖЕЙ И УЖЕ НИЧЕГО НЕТ, НО ЕЩЁ ЖИВА ВРОДЕ?
НАДО ВО ВСЁМ НАХОДИТЬ ХОРОШЕЕ,
И ТЫ НАХОДИШЬ.

ВЫМЫСЕЛ

поплачь в этот чат — это место для русских слёз.
их запрут в кинозале и заставят вечно смотреть шерлок гномс,
их запрут в школьном классе и снаружи начнут обстрел,
хочешь, лично проверю, чтоб каждый дотла сгорел?
завтра всё забудется новым взрывом, а пока поплачь,
вот расписание трауров и новостных передач,
а их запечатают в атомную подлодку или теплоход,
хочешь, лично проверю, что ни один не всплывёт?
их превратят в голодных до поросят свиней,
их заставят вечно опознавать разорванных сыновей,
они будут вечно тонуть и гореть заживо,
хочешь, лично проверю, что воздастся каждому?
поплачь в этот общий чат, пока всё не выльется.
завтра снова будем жить, будто смерть — вымысел,
завтра снова не вспомним, кто палач,
завтра будут новые дети, а пока поплачь

Три тела будды

расстреляли не от безумия, не от злости,
просто чтобы было о чём снять новости,
чем раскрасить чёрную осень в северо-осетинской
автономной области,
чтобы было о чём писать в учебниках истории про двадцать
первый век,
чтобы не был слишком белым первый снег,
чтобы двадцать человек
в издательстве не потеряли работу — чтобы было о чём
писать на первой странице,

чтобы кто-то выложил фото предсмертных
перепуганных лиц
на стене в контакте и получил свои лайки,
чтобы кто-то листал ленту и поперхнулся в маке
биг-маком,
чтобы кто-то смотрел первый канал и плакал,
чтобы весь город напился через три, семь, сорок дней,
чтобы кто-то стал сначала меньше, а потом сильнее,
чтобы кто-то перестал, а кто-то начал бояться смерти,
чтобы родились другие дети,
не раскрашенные расстрелом,
чтобы кто-то смог в последний раз побыть смелым,
чтобы было кого обвести мелом,
чтобы другие дети потом этот контур закрасили,
чтобы стать готовыми слушать на ночь сказки о силе,
чтобы утром за сотню миль проснуться другими
и странными,
чтобы осознать необходимость дхьяны
в попытках понять все три тела будды,
и наверное я тоже буду
когда-нибудь мёртвой, зато настоящей,
перестану ходить в мак и листать ленту, втыкать в ящик,
а пока ещё осталось чуть-чуть времени:

не старайся достичь просветления, а просто отпусти
всё происходящее
не старайся достичь просветления, а просто отпусти
всё происходящее
не старайся достичь просветления, а просто отпусти
всё происходящее.

Даша Эдлер

Норвежский аккорд

Я познакомилась с Мартином в кантине. Он брал себе кофе у нашего громадного буфетчика, перегибавшегося через прилавок и каждый раз чуть не опрокидывавшегося на покупателя. Мартин брал себе кофе и улыбался мне. Он, видимо, только вышел с репетиции или делал паузу и всё ещё внутренне жил в своей музыке, слышал в голове продолжающую развиваться каденцию и просто улыбался своему голосу в этой музыке. *Please Marie, don't tell me what to do*. А мне было двадцать два, и я подумала, что улыбка принадлежит мне.

Мартину тоже было мало лет, но у него уже вышел официальный сингл. Обо всём этом я тогда ещё не знала, а просто улыбнулась в ответ, и он вопросительно подошёл ко мне и присел за небольшой круглый деревянный столик, который автоматически стал «нашим» на веки веков, и я уже себя поздравила с серебряной свадьбой, четырьмя внуками и общей могилой под сенью норвежских фьордов.

Прошло четыре дня, и вот я сижу у него на диване, вокруг несколько товарищей, и все живо обсуждают последний концерт Ханны Хукельберг. Чтобы просветить меня, Мартин включает пару песен и параллельно проглаживает внутреннюю поверхность моей левой ладони. (Он сидит слева, и до правой ему не дотянуться.) Через полчаса товарищи куда-то исчезают, а музыка всё продолжает играть. Поглаживаний больше нет, и нас тоже в этой комнате не осталось; мы давно в спальне, и я обнаруживаю, что если удобно лежать на спине, то можно видеть летнее, вечносерое бергенское небо и, если повезёт, услышать точечный стук монотонного дождя, не долетающего всего пары метров до моего лица.

Мы сфотографировались однажды, в этой же кровати, в то же странное утро, когда мне не надо было никуда торопиться. Мне было важно увековечить этот момент; созвучные небу се-

рые простыни, икеевский шкаф на фоне и мы опухшие (от недостатка места на односпальной кровати?). Меня распирало от гордости. Я скачала себе все песни, которые он мне ставил, и тут же разослала сообщения всем подружкам. «У меня есть парень!»

Квартира Мартина находилась на третьем, цокольном этаже — над супермаркетом «Рема1000». Больше всего мне нравилось подниматься по винтовой лестнице к его белой двери. Нести кефир, яйца, делать оладьи, кормить его сожителей. Мартин любил надевать большой красно-синий свитер с орнаментом *Martin Genser*, который только по чистой случайности назывался его именем. Свитер был колючий, красивый и дорогой, и только три года спустя мне удалось собрать денег, чтобы купить себе такой же. (Теперь его уже почти полностью сожрала моль.)

Неделю спустя мы разминулись на входе у супермаркета. Со мной были однокурсницы-корейнки, и я неудачно пошутила им вслед. «Ну что с них взять, они же азиатки». «А разве ты не азиатка?» — возразил Мартин. «Ну, технически-то да, но ты же сам понимаешь...»

Не помню, сказала ли я это или только подумала. Шёл второй месяц моего пребывания в Бергене, и я ещё не очень разбиралась в тонкостях гражданской этики — что какими словами обозначать. Мартин меня отшил буквально через несколько часов. Сказал, что ему нужно время, чтобы подумать. Что, кажется, ему всего этого слишком много, и что он хочет вернуться к своей прошлой подружке.

Я плакала. Разослала смс-ки подружкам, особенно откликнулась Айбике из здания «С» общежития (я жила в здании «А»). Она пришла ко мне и даже поела суп (со слёзками), который мне обязательно надо было приготовить, иначе бы испортилась курица.

Айбике была душой компании и не совсем поняла, почему надо так страдать. Свитер, песни, поглаживания. «Вы когда познакомились? Неделю назад всего?» Через час Айбике затосковала и ушла в студенческий клуб. Передо мной маячили выходные, и в них не было ни души.

* * *

Автовокзал в Бергене был в центре города. Таким образом, мне пришлось преодолеть обратно то расстояние, которое я в слезах проехала после злосчастного разговора перед супермаркетом.

Автобус был практически единственным способом передвижения на малые расстояния, и я решила, что поеду в никуда. В буквальном смысле сяду в первый попавшийся автобус. Мне пришлось прождать около сорока минут. Первый попавшийся автобус ехал в город Хаугезунд; всего три часа серпантинной тряски.

Перед отправлением я разговорилась с одним из пассажиров. Лихорадочно смеялась и пыталась выглядеть нормальной, в целом же пыталась вызвать симпатию, чтоб меня в пункте назначения хоть кто-то взял переночевать. В этот момент время замедлилось, и к нам подошёл какой-то очень худой человек в капюшоне и во всём чёрном. Он странно потряхивался и очень неуверенно стоял на ногах. Попросил зажигалку. И тут же бросил: «Попробуй каучсёрфинг. Там можно бесплатно найти вписку».

И исчез.

В Хаугезунд я приехала поздней ночью. Автобус высадил меня и какую-то тётку у безлюдной заправки с зелёными неоновыми огнями и уехал дальше. Тётка, у которой я видела только спину, пошла с сетками домой.

Несколько часов я бродила по улицам. Был конец сентября, ещё не так холодно. Обошла городок вдоль и поперёк, и везде раздавалось только эхо моих шагов. Даже на пристани все бары оказались закрыты. Из витрин нескольких магазинов на меня смотрели манекены. Маленькие фигурки животных служили скамейками и одновременно столбиками, огораживающими пешеходную зону от проезжей части. Их я сфотографировала без вспышки. С набережной вздымался огромный тёмный мост. (Его точную копию несколько лет спустя я увидела через реку Дэлавэр, штат Дэлавэр, США.) Я всё думала, как бы мне разузнать побольше про каучсёрфинг и найти сиюминутную вписку.

Я очень устала, к тому же в течение последних нескольких минут за мной (по противоположной стороне улицы) шёл какой-то молодой человек. Я завернула на детскую площадку, окутанную темнотой, и присела на полусломанные качели. Они не то чтобы взвизгнули, но незамеченной я остаться не смогла.

«Привет, меня зовут Ян. Ты говоришь по-английски?» Следующие полтора часа я погрузилась в жизнь Яна с отсвечивающим тёмным пятном за правым глазом (подозрительно похожим на засохшую корку от ножевого ранения). Вот что он мне рассказал. Ему тридцать два, его мать норвежка, а папа шотландец, но он большую часть жизни провёл в Шотландии и потому знает норвежский не очень хорошо. У него, вроде, есть дети, но он не уверен. Где он живёт? В Ставангере, а это вон за тем проливом. Первый паром в шесть утра, и до того времени надо где-то перекаптоваться. У тебя, случайно, не найдётся местечко? А, ты не отсюда! Да, я могу спросить своих друзей, но они сказали, что лучше не надо их сегодня тревожить. А гашиша у тебя тоже случайно нет? Ну ладно, пошли.

Друзья (девушка и парень) жили в каком-то трейлере. Сначала надо было пройти мимо своры хозяйских собак, не потревожив их. В их комнатке был красноватый свет и работающий на полную громкость телевизор. Друзья вытащили огромный бонг. При желании всех богов на свете я бы не смогла остаться трезвой в этом месте. Но, по крайней мере, мои молитвы были услышаны, и мне не пришлось ночевать на улице.

Час спустя ситуация изменилась. Собаки залаяли особенно яростно, и друзья посоветовали нам уйти. Видимо, у них началась параноидальная фаза. Было три часа ночи, и нам с Яном оставалось перекаптоваться ещё три часа до первого парома. Мы пошли вверх по склону и упёрлись в ангар, заложённый стройматериалами. Видимо, Ян уже давно облюбовал себе это местечко. В принципе, нам было уже до лампочки, где. Мы начали страстно целоваться, но потом, кажется, уснули, пока новая волна паранойи не разбудила его.

«Пойдём в отель». — «Но у тебя же нет денег». — «Что-нибудь придумаем».

У стойки регистрации отеля я бы провела вечность. Мы будто в попали параллельную реальность. Тепло, светло, и даже пахнет чем-то съедобным. Вокруг люди. Мне показалось, будто я нырнула обратно в цвет.

«Послушайте, я вчера выиграл лотерею, и на мой счёт завтра должны перечислить десять тысяч крон. Можно, мы расплатимся утром, когда будем выезжать?» — «Простите, мы принимаем только предоплату».

Мне показалось ужасно несправедливым, что эта женщина выгоняет нас. Обратно в предрассветный мрак, длящийся в этом забытом богом уголке круглые сутки, крутой год. В холод и морось. В наркотики, которые нас будто кто-то заставляет принимать. В бесприютность, без-Мартин-овость. Я возненавидела эту женщину всем своим телом, и тело катапультировало. Через несколько секунд я стояла в луже своей блевотины; появились какие-то люди, начали суетиться, звать других каких-то людей, усаживать меня, поить водой, укутывать одеялом. Яну удалось меня оттуда как-то высвободить, наобещать им чего-то.

Мы отошли на сто метров и вернулись. «У меня идея. Давай попросим у них одеяла, как будто для тебя. А сами укутаемся и посидим на террасе. Осталось всего полтора часа до парома. Ты потерпишь?» Ну, я потерпела.

* * *

Когда наступило утро, вся предыдущая ночь как будто отменилась.

Паром был белым, но довольно грязным, если приглядеться. Кроме нас, на палубе было всего несколько человек. Предъявлять билеты на входе было не надо, что оказалось очень кстати. Достаточно было по одному подойти к окошку и показать (один и тот же) проездной, который, к счастью, у Яна был. Я почему-то вдруг очень заволновалась из-за этого нелегального проезда, но, кажется, никто ничего не заподозрил. До Ставангера мы доплыли очень быстро, и мне стало жаль, что приходится опять что-то покидать.

Город Ставангер похож на амфитеатр, причём очень небольшой: со сцены-пристани открывается миленький вид на краснокрышие домики, полукольцом окружающие морское пространство. Светило солнце, и Ян заявил, что ему надо быстренько повидать друзей, а потом «весь день нап».

Его друзья жили в одном из этих домиков в амфитеатре. Комната, в которую меня завели и посадили на диван, была похожа на большой куб. Особенно это было заметно, так как ничего, кроме дивана и цветка в вазе, в этой комнате не было. Ян принялся объяснять друзьям, что я ничего не понимаю по-норвежски. Они поуспокоились и около получаса обсуждали свои дела на норвежском. (Обсуждали они, конечно, наркотики и требовали от Яна денег за проданное, и хорошо, что тогда я этого не поняла, а поняла много позже, сложив два и два, потому что если бы я не была действительно таким божьим одуванчиком, меня точно бы прикончили прямо на месте. Ян деньги, конечно, куда-то слил, а им врал. И мне, неудачник.)

Тут вдруг заорала какая-то женщина, и все выбежали на улицу. Его друзья уже стояли у машины и предлагали нас подвезти, но Ян почему-то отказался. Напоследок самый главный, с цепью, подмигнул мне и по-заговорщицки сказал по-английски: «Присматривай там за ним. Ты, кажется, на него хорошо влияешь».

Почему-то в этот момент я совсем не представляла себе серебряную свадьбу с Яном и четверых внуков, а просто решила унести ноги. Было ещё утро (около одиннадцати часов), и Ян купил мне в 7-11 булочку с изюмом «на завтрак». Мы остановились на залитой солнцем пристани, по воде ходили слепящие глаза блики, и я всё думала о том, что эти столбики чертовски неудобны для сидения. Ян вдруг заплакал. «У меня нет сил, я должен всё это бросить, они мне осточертели, у меня мама больная...»

Оказалось, что я, незаметно для самой себя, набралась опыта разговоров с незадачливыми наркоманами и наркодилерами. Я выслушала Яна, медленно кивнула головой и сказала: «Дай триста крон на обратный автобус до Бергена».

На обратном пути я слушала песни Мартина, но тревоги прошлой ночью меня настолько утомили, что я клевала носом всю дорогу и чуть не проехала свою остановку.

* * *

«Двадцать восьмое сентября, шесть двадцать восемь утра, акватория паромного сообщения номер четырнадцать между городами Хаугезунд и Ставангер. Полицейским катером выловлен труп мужчины средних лет. Оповознательная примета: большая серповидная родинка на правом виске. Из одежды на теле мужчины были обнаружены серая нательная майка и синие носки. Если вы обладаете информацией о личности покойного, просьба обратиться в редакцию. Фото „Ставангер Афтенблад“». 

Борис Мильштейн

Вилла

Моими всевозможными свидетельствами об образовании, различными аттестатами, солидными дипломами комнату, конечно, не обклеить, но туалет — запросто. И потому я работаю разносчиком рекламы. Нет, социальную помощь я получаю, но то ли рот большой, то ли другая часть тела худая, но денег катастрофически не хватает, потому подрабатываю.

Недавно послали обслуживать район Бабельсберг, который в эпохальном фильме «Семнадцать мгновений весны» даже несколько раз показывали. Место это, где лишь виллы, особняки и особая природа, так и осталось с тех пор фешенебельным. Вокруг рукотворный лес, и во всём этом уникальном царстве утопают старинные архитектурные изваяния, спрятавшись, как грибы, под опавшими листьями. И не похожи эти застывшие колоритные изящества между собой, как и их неизвестные владельцы.

Сразу заметно, что возможности кошелька могут влиять на изысканность вкусов. Правда, из плодово-ягодных деревьев кое-где только орех произрастает, но в основном огромные участки засажены разнообразными и невероятными по своей красоте декоративными причудами.

Красота красотой, но она не влияет на добросовестное исполнение моих служебных обязанностей, и потому ноги идут сами, глаза почтовые ящики за версту видят, руки автоматически закидывают в них рекламу, а вот голова ничем не занята, потому именно она и обнаружила несколько вилл на продажу, правда, довольно запущенных.

Прикинула эта неутомная голова, что если, допустим, пригласить строительную компанию, то этих увядающих былой красотой пожилых старушек, которые живьём видели самого Штирлица, можно реанимировать и превратить в изумительных дам на выданье. Да и самому не грех, размечталась та же голова,

хотя бы на старости лет в таких королевских теремочках пожить. Но так как две виллы мне ни к чему (врождённая скромность не позволяет), решил прицениться к той, которая мне большеглянулась.

Учитывая живописное место, в котором, как дородный гриб-боровик с красным головным убором, находилась вилла в четыре этажа с витиеватой башенкой и викторианскими окнами, участок, где сможет запросто затеряться будущий вертолёт и всё остальное, что не смог разглядеть сквозь живую изгородь, это сокровище может потянуть на несколько миллионов. Евро, конечно. Чтобы довести до голубой мечты, ещё столько же потребуется. Значит, со стоимостью всё ясно.

Теперь подсчитаю свои финансовые поступления. Если только два раза в день есть и через раз дышать, то можно будет даже понемногу откладывать. Это при условии, если буду и дальше подрабатывать.

Правда, никаких новых обновок покупать не придётся. Хорошо, что старые вещи, перед выбросом положенные в подвал, ещё там. Умудрюсь как-нибудь из того хлама кое-что подремонтировать, подклеить, подштопать и ещё несколько лет носить.

Мелькнула было шальная мысль обратиться в какой-нибудь банк за ссудой, но, трезво подумавши всё той же головой, решил, что не стоит тратить ограниченное годами время. Такого финансового учреждения для меня ещё не создали. Значит, буду надеяться только на себя, и если по сто евро ежемесячно откладывать, то за год набегит тысяча двести.

На приобретение виллы с участком, её ремонт, потребуется (люблю круглые цифры, да и легче подсчитывать) миллиона четыре. Первым делом нужно будет ограду обновить, чтобы не подсматривали. К тому же надо будет благоустроить территорию, чтобы было не хуже, чем у соседей: имеется в виду круглогодично подстриженная зелёная травка, и чтобы никаких там грядок с парниками. Достаточно — набатрачился.

Установлю скульптурные изваяния, даже водружу пионерку с веслом — здесь её не встречал. Вот такой небольшой, как теперь говорят, бизнес-план получился с первого прикида. Всё

буду делать скромно и без каких-либо излишеств. Единственное, придётся для такого сокровища купить новую эксклюзивную мебель, деваться-то уж некуда.

Так сколько же мне лет потребуется, чтобы накопить на всё про всё такую сумму? Получается, что 3333,3 года, тройка к тому же в периоде!

Хотя число получилось какое-то сакральное, но округлять его нельзя! Речь же идёт не только о времени, требующемся для накопления денег, но, главное, о продолжительности моей жизни!

Пришлось основательно призадуматься моей сумасбродной голове! Даже при всём моём оптимизме и любви к этой жизни думаю, что столько не протяну.

Да о чём вообще может идти речь?! Вот у Адама сам Бог был и за папу, и за маму, и то он прожил всего девятьсот тридцать лет, а мне простолюдину хотя бы... — ох, не буду загадывать. Тогда спрашивается: «И на кого рассчитаны такие цены?».

Образования у меня достаточно, а вот ума не приложу! 



Евгения Багмуцкая

33

нет у судьбы ни путей, ни крыльев,
те, кто когда-то тебя любили,
стали бесцветными и сухими,
сброшенная листва.

ты же всё дышишь и жжёшь экраны,
чтобы проснуться не слишком рано,
чтобы успеть затянуться ранам,
тихими стать словам.

чувствуешь, как этот кнут слабеет,
руки становятся цепче, злее,
вера усиленнее, добрее
в собственную скрижаль,

словно теперь ты шатёр в пустыне:
ноги печёт, но внутри отныне
всё, что горело, тихонько стынет,
плавясь в тутую сталь.

знать бы тогда, что удастся выжить,
был бы ты столь обозлён и выжжен?
стал бы так яростно ненавидеть
чёрствые небеса?

шляться по барам и подворотням
тридцать три года, как беспилотник,
чтобы понять: ты и бог, и плотник,
всё можешь сам,
ты всё можешь сам.

* * *

ты думаешь: слово должно быть сильным,
и ты бережёшь его.
другие узнают, затем отнимут,
отыщут в глазах родство,
пока ты не смотришь, не смеешь звуком
разрезать тугие льды.
ты думаешь: слово должно быть гулким,
и роешь в себе ходы.

а дни все бегут, но слова главнее
найтись не спешат никак,
всё сказано было уже стройнее,
удачливей, а не так,
как ты одна можешь — слепить и скомкать,
заткнуть в своём дне дыру.
ты думаешь: слово должно быть звонким,
и снова ползёшь в нору.

и вот все дают имена младенцам,
о подвигах в рог трубят,
пока ты сидишь за железной дверцей
и точишь саму себя.
ты думаешь: слово должно быть гордым,
не ползать в груди, как мышь,
и чувствуешь, как набираешь воду
и снова молчишь,
молчишь.

* * *

будь моим человеком года, моей фишкой, моим коньком,
в моих текстах гашёной содой будь, изюмом в них коньяком,
будь кредитным моим лимитом не кончающимся вовек,
моим джонни будь,
бредом питтом,
мой великий ты человек.

я богата таким талантом, что влюбляюсь до самых дыр,
так что будь моим комендантом, всё, что скажете, командир,
вот вам руки мои и ноги, вот и рёбра — ломай, круши,
только будь моей синагогой, будь отдушиной для души.

безразличны твои доходы, ты смеёшься на миллион,
в моих песнях на три аккорда — твой всегда попадает в тон,
нет другой для меня отчизны, как уснуть на твоей груди.
будь моим человеком жизни,
если можно — и девяти.

все идут, торопясь, не слыша, как я мантру свою пою,
я немножко их ненавижу, что они и в своём раю
не узнают, как ты прекрасен, как ты крут, когдаходишь в дом.

мне плевать, что такое счастье,
я с тобой не нуждаюсь в нём.

* * *

если думаешь, мне всё равно — ты чертовски прав,
ничего не меняет ни боль, ни её лекарства,
горизонт из песка, из камней, из воды, из трав
остаётся всегда только линией, не пространством.

каждый шаг — просто шаг, просто грань, но не космос, так
я тобой наполняю себя, но не видно края,
будь ты трижды жесток: я сдающийся белый флаг,
ничего не меняется,
я себя — не меняю.

не черствую — лишь злуюсь, не смягчаюсь — куда ещё?
всё проходит навывлет, судьбы не задев, ни ранив,
и во мне всё по-прежнему плавится и течёт,
ты бессилен перед этой горячей, кипящей лавой.

сотни лет пролетят, сотни слов растворятся, пыль
нарисует на спинах моря, города и скалы.
мне всегда всё равно — ненавидел ли ты, любил,
мне достаточно знать, что меня это не сломало.

До ста

здравствуй, господи, я проста, я полжизни прочла с
листа, и ладонь моя так чиста, что младенцев водой поила.
над огнем не держала рук, не просила любовных мук, каждый
встречный мне — брат и друг, даже в ночь приходящий с тыла.

так скажи, за какой мой грех эту грудь распирает смех,
если в ней больше места нет, где ещё голубям царапать, до
каких золотых лагун буду я и паяц, и лгун, мол, от всякой беды
сбегу, ни за что не посмею плакать.

нет, не жалею, не молю, начищаю свою броню и
других подвожу к огню, лишь бы ты улыбался добро. ясен
замысел мне простой: если хочешь заткнуться — пой. так какой
мне сплясать ногой, чтоб меня ты достал из кофра?

по губам не вино, а мед, тот блажен, кто не зная —
бьет, кто не то, чтобы идиот, просто боли чужой не чувствует, и в
дешёвом моём нутре слишком много таких прорех, чтобы я их
прощала всех и тебя поминала все.

для чего же, мой славный бог, ты мою простоту сберёг,
для чего просверлил мне бок своей ржавой иглой калёной,
когда руки, что я беру — не латают мою дыру.

если, господи, я умру,
обещай меня что ли вспомнить.

Татьяна Дубинецкая

Остров Кипр

Отчего мне не спать, завернувшись в прозрачную ночь,
дальним лаем собак охраняя предутренний сон,
сорных трав семена выметая из памяти прочь
горьким ветром морским с четырёх необъятных сторон?

Отчего мне не жить, полагаясь на волю богов,
покоряясь врагам, от друзей принимая дары?
Если скроет туман очертанья родных берегов —
знать, что всё до поры, всё задержится лишь до поры.

Отчего не любить беззаветно того рыбака?
Лодки зыбкое лоно и море в закатной крови,
спойте песню о нём — пусть расскажут струна и строка
всё, что нужно мне знать о земной и небесной любви.

Отчего не стареть пышным садом в осеннем дыму?
После сбора олив золотой эвкалиптовый чай
пить из глиняных чаш в белокаменном древнем доме.
И болеть невсерьёз, и порою грустить невзначай.

Стать водой и травой, неподвижностью каменных глыб,
влиться в круговорот, неразгаданный вечный замес,
частью плоти своей накормив перламутровых рыб,
частью мысли своей растворившись у кромки небес.

Приморский этюд

Считать шаги. Споткнуться после ста
на слове «вечность». И начать сначала.
Меня спасёт святая простота
скрипучих досок старого причала.

Нет, ожидание — не мой удел,
не на меня покроенное платье.
Есть на земле немало важных дел,
чтобы отвлечь от этого занятия —

смотреть на чаек в городском порту,
кормить их с рук галетами и хлебом,
всей кожей ощущая наготу
дрожжащей линии между водой и небом.

Затем бродить по солнечным дворам,
и в пахнущие морем переулки
вплетать стихи с молитвой пополам.
На слове «днесь» — доесть остаток булки.

Колонок ледниковая вода
плеснёт в лицо, перехватив дыхание.
...Я поняла на слове «навсегда»,
насколько долгим будет ожиданье.

А жизнь — неприхотливо, без затей —
уложит всё в предложенную схему,
где я успею вырастить детей,
возделать сад и написать поэму.

И будет лист над городом кружить,
и будет сон рыбацкими навеян
псалмами... И рассветный дух кофеев
перенесёт акцент на слово «жить».

Да, снова жить, не покорясь ушибу
слепой судьбы. В порту, после шести,
у моряков купить большую рыбу,
её домой по улице нести,

считать шаги и прыгать через лужи,
паря на крыльях лёгкого пальто...
И всё же ждать. Ведь мне с тобой не хуже,
чем без тебя... А это — кое-что.

Зима. Первый аккорд

Под утро принесёт с полей
тревожный запах кочек мшиных,
повеет мраком из щелей,
из нор покинутых мышиных
настоем терпкого дождя
на пряном ветре перезрелом
и напоследок, уходя,
мазнёт церковью раскисшим мелом
по снам, по нервам, по глазам,
по мыслям, где роится смута,
перечеркнув (назад, к азам!)
остатки прежнего уюта.
И, двери распахнув во двор,
замрёшь, отчаяньем ведома,
от слов, наставленных в упор —
шагнуть в простор?.. остаться дома?
Растреплет волосы рука
зимы, невидимая глазу,
и шарфом обовьёт тоска —
голодный спазм, сродни экстазу...

Назад! В живительный покой,
где под подушкой — крест нательный
в ангину, в «сделалась больной»,
в Саратов, в глушь, в режим постельный.
Слечь, затаиться, переждать,
анабиоз считая благом.
В подвальный угол, под кровать!
Махать оттуда белым флагом!
И ждать, когда, свершив обход
как каждодневную рутину,
тебя придёт провести кот,
с усов сдувая паутину.

Весна

Когда проложит вешняя вода
короткий путь к забытому селенью,
дорог не разбирая. И когда,
отбросив нас обратно, к сотворенью,
пойдёт река, давясь костями дров,
подбрасывая рыбу нам к порогу,
чужую утварь и детей бобров,
ты кинешь взгляд к соседнему отрогу,
рыбацкие надевши сапоги,
уйдёшь с утра осматривать уголья.
А я останусь отмерять шаги
от наших стен до кромки половодья.
Чтоб с каждым часом сокращая шаг,
всё вздрагивать на скрип петель воротных,
сносить скулёж испуганных дворняг
и думать о покинутых животных.
Ах, не забыть верёвки отвязать!
Всё остальное — божия забота.
А мне осталось только лишь стоять,
как вечный столб, что был женою Лота,
как ипостась того же «не у дел»...
Тогда вода, покинув свой предел,
моих коснётся туфель осторожно
(как времени язык неприветлив!),
одним движеньем, скупю, односложно,
ещё на целый миг нас разделив,
ещё на каплю между берегами...
И я увижу пропасть под ногами.
Деревья голые висят вниз головой.
Такая топь, что тянешься невольно
глазами вверх — и тут же над тобой,
над миром, над водою, над травой —
другая бездна. Но уже не больно.

Спокойствие. Ни радость, ни печаль.
Лишь сердца стук. Окликнуть впору — «Кто там?!»
И птицы перелетают вдаль,
как чистый лист сверкающим полётом.

И я пойму, что началась весна.

Утро

Я сыграю по нотам твои шаги...

До заветного «Кто там?» ещё круги,
пусть не ада, но всё же — бессонниц лик —
словно остров, похожий на материк.
И — как верный страж на просторе том —
в ночь безмолвно глядящий неспящий дом.
Сто сквозных ветров у него внутри
ждут, когда грянет выстрел входной двери —
разрывной аккорд в царстве немоты.
Так стрелять в упор можешь только ты!

Час рассветный — блаженный час.
Вот последний фонарь погас.
Где-то ноту подхватит птица.
Небо, словно пирог, слонится.
Слой малиновый — сладкий сок.
В брызгах стены и потолок.
По ступеням скользнёт, дрожа,
блик ожившего витража.
Хлынет в окна сквозь морок штор
опус розовый — фа минор!
Скрип подмёток, курантов бой —
ты избегаешь по лестнице винтовой.
И, ночных тревог разорвав кольцо,
солнце, солнце тебе в лицо!

Знаю наугад, в ворохе ключей
чей звенит набат, горн вызывает чей.

Только не забудь сбросить у дверей
гул далеких стран, плеск чужих морей.
Дай послушать тишь и дыханья звук —
то фермата лишь в череде разлук.

Колыбельная

То, что упало, пропало в мышиной норе.
В щель закатились монетками летние дни.
Только согрелись — а нынче уж снег на дворе.
Только проснулись — вечерние светят огни.
 Баюшки-баю. У месяца на острие
 травы дурманные млечную точат росу.
 Снова во сне по заросшей иду колее,
 дрёму-подушку с собою в охапку несущу.
Дитяtko рóдное, скомкана вся простыня.
Сон твой тревожен. Подвинься, не спи на краю.
Ветром ночным одеяло сдувает с меня.
Вереск и мох сквозь постель прорастают мою.
 Через дорогу туманное стадо бредёт.
 Чёрных и белых овечек во сне не считай.
 С хвостиком триста, могу угадать наперёд.
 С ушками столько же. Спи, мой малыш, засыпай.
«Баюшки-бай» — колокольчики мерно звучат,
небо с овчинку проносит воды решето.
— Это не дождь, а копытца по крыше стучат.
Что-то проходит... Скажи мне, любимая, что?
 Как ни проси, не минует нас чаща сия.
 Слышишь, как ходики тикают — стрелки идут.
 Сколько ни длись, порастает быльём колея.
 Грустные девушки лунную пряжу прядут.
Девушки, милые, что ж так невесел ваш взгляд?
Что за тончайшую пряжу сплетаете в нить?
Время, родимая. Не отмотаешь назад.
Всех узелков не распутать, всех снов не забыть.
 Детские сны — стоны ветра и скрипы колес —
 эта присохшая ранка и нынче болит.
 Только ступил — а уж след твой травой порос.
 Только затеплишь свечу — уж огарок дымит.

Ирина Мург

Бабочка и подгузник

Я держу в руках кусочек бумажной салфетки, мягкой промокашки, а на ней длинными растянутыми буквами адрес, вымоленный, вытянутый призывами и обещаниями из старшего менеджера. Еду в поезде из Берлина — выпрыг из зоны комфорта не на три сотни километров, а на тысячи, десятки тысяч. «Что ты делаешь, Ольга? Зачем?! Выйди из поезда! Станция Ратенов — раз, два, три. Встала, рюкзак на спину и назад, ещё не поздно». Коротконогий бородач в зелёной куртке смотрит на меня, улыбается. «Вы тоже выходите?». — «Нет, нет, я дальше». — «На следующем краснокирпичнике. Что там? Штендаль? Ты никогда не пила свой аптечный чай в Штендале. Раз, два, три!» Но поезд трогается, дождь плетями бьёт по стеклу, и я понимаю — чем больше самоуговоров, тем вернее и безнадежнее ровно в полдень, дрожа под серым колпаком колючей мороси, я буду стоять перед Его домом и искать на домофоне Его фамилию. В Гамбурге.

«Здравствуйте, наша организация исследует толерантность к ВИЧ-инфицированным в Германии, можете ли вы ответить на несколько вопросов?» — поинтересуюсь я. «Нет? Срочный проект? Понимаю, спасибо, может, в следующий раз». Он окажется худощавым снобом с длинными тонкими пальцами, а может и круглолицым лысеющим добряком или атлетом преклонных лет, что совсем невероятно. А в общем-то — всё равно. Главное — будет живым, здоровым; вежливо, в полуулыбке попрощается. «До свидания! Хорошего дня!» — я помашу ему папкой и — на вокзал, домой, забуду и вычеркну — перестану болеть и тревожиться за человека, которого не знаю.

Когда не сижу в поезде с мокрыми ногами и беспокойным сердцем, когда не рассчитываю автобусные маршруты к дому того, кто не знает меня и никогда не задумывался о моём существовании, то моё классическое мартовское утро начинается совсем по-другому. Примерно так.

Я надеваю толстую шерстяную кофту до колен, завариваю в фарфоровой чашке мятный чай. Руки в утреннем холоде и пустоте мёрзнут, держу их над выплывающей парусом струйкой пара, и ладонь сразу покрывается тонкой испариной. От горячего дыхания трав уже через секунду становится мокро и неудобно. Волосы затягиваю на затылке, на ушах — тяжёлый жемчут, запястье ухвачено шариками *Pandora*. Потом всё это мешает, тянет, колет. Но по утрам мне очень важен переход, а точнее, его видимость. Ведь главное — выпрыгнуть из шерстяного кокона в шёлковую офисную блузку и разделить себя на «до» и «после», разорвать контрастом тягучее пространство дома. А перевоплощений иногда не хочется. Тогда я плавно перетекаю за стол и медленно, потихоньку вхожу в новый день, без рывков и напряжения, не расплёскивая сосредоточенность и зыбкое равновесие внутри.

Так было и в тот день — тускло, уныло. Ветер терзал неоперившиеся голые ветки, сверху брызгала мокрая серость — грустное начало длинной недели. Посеребрённая кнопка поймала свет настольной лампы и блеснула, спиральные лопаточки вентилятора где-то глубоко во чреве ноутбука закрутились, зажужжали. Запускался ещё один рабочий день переводчика-фрилансера. Труба, по которой ежедневно несёшься, задыхаясь от скорости, или ползёшь на четвереньках, но всё равно никогда не выйдешь, сверху будет по-прежнему капать, а впереди — зиять густая муть.

С электронной почты посыпались ночные «неотложки» из офисов на Гавайях и Сиднея. Барселонские коллеги допивали кофе на открытых террасах пахнущего морем города. Значит, у меня ещё оставалось полчаса свободного парения. На мониторе, по зелёно-розовым полям редактора, как сейчас помню, растекался в два русла текст о специализированной логистике биоматериалов. «Не английский, китайский точно...»

Иероглифами я называю жизнь, которую не знаю, но должна переводить: инструкции по контейнерам для хранения клеток, технические характеристики последней модели Форда, реклама виски, меню марокканского ресторана... Влипаю в кресло, стол, клавиатуру, пропечатанная между книжным шка-

фом и финиковой пальмой, прямо под колпаком икеевской лампы, и отправаюсь в паломничество по сетевой матрице. Здесь на подоконнике лежит толстый слой пыли и засохшая мандариновая кожура, а там курьер уже съехал с трассы и воем кричит в телефон оператору: «Нарушен температурный режим, продукция не может быть доставлена!»

Я отдыхаю в эксклюзивном отеле на Сейшельских островах, провожу доклинические исследования на кроликах, помогаю подбирать правильную туалетную бумагу для телевизионной корпорации. Вживаюсь в разные роли и остаюсь собой, в домашних тапочках и шерстяных носках.

А ещё иногда, совсем изредка, вычёсываю вшей — беру тексты на корректуру и превращаю тоскливые поиски утерянной запятой в долгие закулисные беседы с невидимым переводчиком. «Тут не поленился термин посмотреть — хорошо, принято; здесь перефразировал, а окончание не поменял. Ничего, ничего — я исправляю. Не переживай. Эту запятую за тебя черкну. Ну умница же, как прекрасно сформулировал». Порой даже чувствую рабочие фазы своих безымянных напарников: текст идёт стройно, ровно, как сосновый лес — слово к слову — значит, сел за работу после утреннего кофе с круассаном, выпавшись, умывшись, наверное, погода солнечная. Тонет текст в опечатках, ошибках, двойных пробелах — значит, устал, скоро сделает паузу, пойдёт собаку выгуливать, лабрадора какого-нибудь. Я дорисовываю чужую жизнь, и от этого моя собственная становится ярче.

Труба в то утро началась с барселонской весточки и двойного звончка из динамиков. Добрые загорелые испанцы возвестили о старте нового проекта, электронного курса обучения по антиретровирусным препаратам. «Здесь мы ещё не летали». Откуда-то изнутри потянуло холодком и неизбежностью. ВИЧ. Зимой, ещё детьми, мы отправились за мандаринами, был мороз без снега, под сапогами противно скрипела пыль, и я, начитавшись газет, не переставала думать о том, что в полночь наступит не только Новый год, но и произойдёт взрыв СПИДа. «Как я это почувствую, когда проснусь утром, побегу на кухню доедать шоколадный торт и оливье, а в мире уже

СПИД взорвётся? Как это?» Не понимала, не представляла: «Как это? Через двадцать лет я буду жить в другой стране, дважды замужняя, дважды разведённая, дважды аспирантка, ни разу мать, с зелёным газоном под окнами и розмарином в горшке? Как это?»

Весь день пальцы отстукивали отчаянные призывы отдохнуть на пляжах Мальорки. К вечеру, после пяти видов массажа, ароматерапии, классической пазлы, велосипедной прогулки по виноградникам и бокала шампанского в баре с видом на закат я надела балахонные штаны, дырявые кроссовки, накинула на голову капюшон толстовки и выбежала в тускло-серый вечер. На полях дышало перегноем и скрытой радостью — ещё чуть-чуть и весна уже вспорет мясистые комья земли и потечёт через края, захлестнёт. «Не Испания, но тоже неплохо».

На краю города снесли старый дом, и от вчерашнего уюта и тепла осталась тёмная пустая дыра, с подвальной влагой и плесенью. По участку лежали разбросанные обломки ставень, кирпичи, стекло, и между ними осторожно пробиралась белая пушистая кошка. Искала. Кралась по рытвинам, строительному мраку, бороздам, где уже и ещё ничего не было — только дыра и тоскливая голость, и она — тёплая мягкая жизнь. Контрасты...

Адомаменяжалауже первая порция антиретровирусного курса. «Что же, посмотрим, дорогой, что ты на переводил».

Может текст про ВИЧ быть аристократичным и интеллигентным? С голубой кровью и бабочкой на шее, длинными пальцами и глубоко седыми волосами. Текст — нет, а переводчик — уж точно. Далёкий незнакомец не оставил мне ничего, кроме удивлённого послевкусия: «Ах-х!». Переводческая программа с человеческой душой неутомимо, добросовестно, образцово сделала свою работу, и ей не хотелось ни есть, ни пить, она не уставала и не переключалась на социальные сети. Сотворила текст как ткацкий станок, нить гладкая-прегладкая. «Ну, можно было бы мне и запятую подарить или опечатку какую-нибудь!» От такого перфекционизма веяло чем-то болезненным. Комнату засасывало в сумрак, глаза уже лениво и разочарованно плыли по экрану, и я подумывала над медленным перетеканием назад, от рабочего стола на диван, под одеяло. Тут по позвоночнику пробежала молния. Меня встряхнуло. В тексте идеального пе-

ревода чёрным по зелёному стояло: «Звонила дочка. Хотела помириться. Не ответил». Я метнула взгляд в левую сторону экрана. Дочка? Помириться? Не ответил? «В процессе развития ВИЧ-инфекции количество Т-хелперов резко снижается...» Палец потянулся к кнопке удаления, безжалостно стёрла живую человеческую боль, без сострадания, только недоумевая и даже негодуя немного. «Мог же так меня подставить, чёрная бабочка на шее, высокий стиль терминологии и грамматики, аристократическая орфография, и тут на тебе! А если бы пропустила, проспала лихачество, отсебятину?..» Ночью спала мало, вычитывая каждую букву, ожидая подвоха, подножки, не доверяя, перепроверяя.

На следующий день рано утром меня ждала следующая порция антиретровирусной терапии. Открыла файл с некоторой опаской. «Рокси скулит. Плохо ест. Надо пройти с ней» — свободный перевод с английского о Т-клетках, цитотоксичных лимфоцитах и прочей органике. И снова кнопка *delete*, вычерк из текста. Ему, Переводчику, здесь места не было. Странно и страшно — седовласый незнакомец шёл по лезвию, рисковал, писал кому-то по ту сторону текста, в никуда и неизвестность, тому, кто первый прочтёт и удалит.

И в следующей порции перевода, ближе к середине, я обнаружила его «автограф»: «Ходил с Рокси к ветеринару. Шёл дождь. Сильно промок».

Я настроилась писать донос менеджерам о грубейшем нарушении, настаивать на смене переводчика и в этот момент почувствовала себя глубоко инфицированной чужой жизнью, чужим одиночеством, вовлечённой в разгадывание ребуса далёкого и непонятного мне человека. Сдалась, настроилась на монолог.

Каждый день мне приходили переводы с личными посланиями:

«Рокси сильно заболела. Лежит под диваном».

«Дочь не звонит. Пытался её набрать. Не отвечает».

«Дети во дворе. Рисуют мелками».

«Ужинал с дочерью. Снова поругались».

«Рокси совсем плоха. Тяжело».

«У могилы Ани распустилась форзиция».

«Рокси ушла. Навсегда».

«Слушал Рахманинова. Вспоминал маму».

«Дочка едет по работе в Японию. На год».

Каждый день мой начинался с почты. Наивные испанские менеджеры присылали очередной блок, желали мне солнечного весеннего дня, а я оставалась один на один с текстом и выискивала в песке безликих слов те, в которые я буду вчитываться, которые буду неизменно удалять. День за днём я погружалась в чужую жизнь, как сериал, забывая о своём одиночестве, о горестях и даже о финиковой пальме, которая стояла напротив и засыхала.

Прошло две недели, мы перемахнули через середину проекта, и я немного боялась конца, понимая, что однажды я просто не получу квинтэссенцию его дня, и не знала, огорчит это меня или обрадует. Страшила пустота, которая подвальной ямой снова станет высасывать из меня все силы и тянуть во мрак.

Однажды так и случилось, но намного раньше, чем я ожидала. Утром перевода в ящике не было. Полдень — ничего кроме спама из социальных сетей. Из рабочего чата пискнула тоненькая строчка извинений — «у нас задержка, перевод пока не готов, мы решаем проблему». Выбоина в бесперебойной работе моего седовласого одинокого страдальца. «Ольга, он тебе никто, просто маньяк, возьми паузу, отдохни, русский театр приехал!» — кричала подруга в трубку. А мне становилось мучительно и тяжело, мозаика неизвестного бытия складывалась в картину, которая мне очень не нравилась. Что-то случилось! Что-то случилось! — сердце не стучало, пульс не учащался, просто внутри сквозняками раздувало тревогу, и я в неё уходила, с головой.

На следующее утро прибыл новый файл, я выдохнула, предвкушая встречу с галстуком-бабочкой, одним кликом раскрыла текстовый редактор, глаза побежали по строчкам, настроенные узнавать в печатном трафарете дорогие профессорские прописи, выискивая от него новую весточку. Бе-е! Рвотный позыв повис в горле. Студент-гопник в оттянутых на коленях штанах и фуражке с бритым черепом, с табачной вонью изо рта

и тяжёлым запахом пота из-под нестриженных подмышек вогнал антитретовирусные батальи в гугл-переводчик, свел-отполировал окончания и привет! — это была его личная весточка для меня — наглая, дрянная, несовершенная — меняй, мол, теперь подгузник. А в голове стучало: «Где мой профессор? С Рокси, с соседскими детьми, дочкой в Японии?»

«Дебора, грасиас, я этот текст не принимаю, что случилось с прежним переводчиком?»

Ничего не выслал... Не вышел на связь... Не отвечает... Персональные данные лингвистов не выдаются. «Мне нужно, очень нужно, под мою ответственность!»

Herr Morowski — золотая ажурная табличка на двери, а в ней ассиметрично отражается мой красный нос. До ожидаемого фиаско — секунды, пальцем вожу по периметру квадратного звонка. «Сейчас, сейчас... Уже жму». — «А герр Моровски нет. В больнице он, уже два дня, что-то с сердцем, увезли на скорой». Пожилая фрау в велосипедных штанах и ветровке, звенькая ключами, спускалась по лестнице. «А вы прямо из Японии прилетели?» — «Да, да, оттуда, а в какую клинику его отвезли?»

Я шла по длинным больничным коридорам, зная, что он жив и поправляется, теперь можно было уезжать, уже не встречаясь с ним, не пересекая грани, не выходя за пределы виртуального, ехать назад к пальме, икеевской лампе, столу с мандариновыми корками, ворожить словами и текстами, проживать и дальше то, чего не знаешь. Остановилась у двери. Ещё можно отскочить, отпрыгнуть, добежать до поезда. Три тихих стука. «Здравствуйте, герр Моровски!» На подушках в белом широком халате с васильковыми крапинками лежал мой профессор, без бабочки, седой, худой, грустный. Потухший. «Мы проводим в больнице опрос и хотели бы узнать ваше мнение...» Лежит, ждёт, когда закончу, уйду. «Нет, не так, я корректором вашим была последние три недели, теперь всё про вас знаю и переживаю. Хотите, напишу вашей дочери? Выздоровливайте, пожалуйста. Что мне теперь — малограмотных студентов с гугл-переводчиком редактировать? Одна я не справлюсь, вы нужны, честное слово! Знаете, как он перевёл «Г-хелперы», нет, даже не — «Г-помощники», а «Г-помогающие». Причастие кинул мне,

как кость псу, на — грызи — исправляй сама! Ваша жизнь интереснее. Пишите дальше, я буду удалять!»

Он вдруг рассмеялся, от диафрагмы, из глубины, такой симпатичный и уютный — «герр Моровски, герр Моровски...» — качала я головой. А потом звонила его дочери в Японию, писала менеджерам в Барселону, отменяла встречи в Берлине — «До среды в Гамбурге, отец у меня в больнице! Да, умер пять лет назад, а теперь воскрес и заболел».

Бетонные корпуса клиники румянились на солнце, а ноги вдруг сами собой высохли. Стало тепло, изнутри, и весело. Я села на скамейку с привинченной табличкой «профессору Гольдбауму от счастливого пациента». Больничные газоны переливались пёстрыми звенящими пятнами первоцвета, к искрящемуся пруду подтягивались тётеньки в колясках, а у меня на колене заснула муха, разомлела, как и я, в горячем свете — «Иди!» — сгоняю её рукой, а она, пьяная от весны, не шелохнётся. Перешагом-перешёпотом выползла из мрака и теперь отогревается. Сейчас-сейчас зашуршит и вперёд, расправит свои вафли, ещё даже не крылышки.

«А труба-то твоя, Ольга, всё-таки закончилась...»

Да, да, как будто её никогда и не было. 

Виктория Кравцова

Лето в Петербурге

* * *

— Ну что, как твой день, Фрейд? — весело произнесла в телефонную трубку жена одного петербургского психотерапевта.

Психотерапевт шёл к метро из своего офиса на площади Восстания, запахнув плащ и натянув клетчатый шарф так высоко, что сзади он доходил почти до затылка, закрывая уши и пряча ровно подстриженные тёмные волосы. Дело было ранней осенью, но год выдался совсем не тёплым, поэтому вместо бабьего лета на улице царил серость и сырость — было холодно, и с неба вечно капала противная морось.

— Не знаю, день как день... Хотя... Была одна пациентка — не могу выбросить из головы.

— Что за пациентка? — Жена психотерапевта напряглась и отложила недоеденный бутерброд.

— Елена, я рассказывал. Блондинка, вечно в этих балахонах дурацких, под которыми не разберёшь, что у неё за фигура.

— Что-то такое помню... И что тебе до её фигуры?

— Ну, это всё болезнь её. Она булимичка. Носит огромные шмотки, потому что ненавидит своё тело. Двое детей, муж, карьера, а всё жрёт и блюёт без остановки. Я ей флуоксетин выписывал — оказалось мало. Да оно и ясно, когда так себя грызёшь.

— Хм-м... И почему ты не можешь выбросить её из головы?

— Ну, она полсеанса тараторила это своё обычное — про недостижимый баланс, про зависимую природу, и дальше по списку, — они все это говорят... А потом вдруг замолчала и такая: «Знаете, какой бред мне в голову лезет? Мне кажется, мой муж домогается до Вари». А Варя — это их дочка, и ей, на минуточку, шесть лет.

— Ну дела... Может, там правда содом какой-то?

— Не знаю. Она, мол, на прошлой неделе с ним поговорить решила, а он наорал и дал ей пощёчину. Но это ещё не всё. Она это только сказала, и зазвонил телефон — про мужа что-то и про дочку спрашивали, имена. Я не понял, но, вроде, страшное что-то. Она на глазах поменялась в лице и убежала с половины сеанса. Не знаю, придёт ли ещё — надеюсь, да.

— Да, кошмар. Может, ей из ментовки позвонили, что муж дочь изнасиловал?

— Как бы не что похуже.

— Похуже... Не знаю, что может быть хуже. Ладно, перестань грузить себя чужими проблемами. купи фарш, котлет сделаю.

— Давай, скоро буду.

Психотерапевт завернул в ближайший магазин и взял с полки лоток с фаршем «Домашний». Из пачки на него смотрели светло-розовые червячки. Пока жена говорила с ним по телефону, за её спиной телевизор с выключенным звуком по обыкновению транслировал картинки. Международные новости, где Путин жал кому-то руки, сменились местной хроникой событий. На экране был виден участок КАД, усеянный кусками пластика. В крайней полосе, неловко подперев ограждение, на боку лежал грузовик. Рядом в осеннем тумане виднелись карета скорой помощи и объект нестандартной формы, в котором при ближайшем рассмотрении можно было узнать «Тойоту Камри». У грузовика, уткнувшись головой в поджатые колени, сидел полный мужчина в клетчатой рубашке. Чуть поодаль стояла женщина. Мелкий дождь превращал тушь на её ресницах в тёмные капли, которые собирались в струйки и стекали вниз по подбородку и шее на бесформенное платье с выпитыми на нём белыми поникшими тюльпанами.

Прошло четыре года. В Петербурге уже несколько недель стояла необычная для города жара. Зной окутал плотными чарами квартиру одного петербургского психотерапевта — по

ночам забирался под простыни и выступал на их с женой телах каплями пота; днём выгонял их, невыспавшихся, из дома на поиски веранд кафе, где со скидкой давали мохито и айс-латте. По выходным зной сажал нагретого солнцем психотерапевта и его нагретую солнцем жену в нагретую солнцем электричку и гнал за город — искать в лесу грибы и чернику и охлаждаться в озере или Финском заливе.

* * *

У Лены от жары болела голова. Уже пятую ночь она не могла уснуть — часами ворочалась в кровати, будя спящего рядом мужа. В одну из таких душных ночей Лена стояла перед зеркалом в ванной и ощупывала своё влажное от пота лицо. Несколько дней назад на нём появились странные бугорки. Они напоминали иногда вскакивавшие на лбу болезненные прыщики, но в этот раз не вызывали никаких ощущений — просто торчали на лице, образуя странные узоры. Лена смотрела на лицо и пыталась понять, действительно ли бугорки переместились — ей казалось, что вчера она видела их в других местах.

«Наверное, дело в этой идиотской жаре, — подумала она, собирая в хвост свои длинные светлые волосы. — У меня из-за неё явно едет крыша. Фигня какая-то. Наверное, надо позвонить косметологу».

В дверь ванной кто-то постучался. Лена накинула висевший на крючке халат и открыла. На пороге в дурацких трусах с гоночными машинками стоял Артём, её десятилетний сын.

— Мам? Что ты здесь делаешь? Три часа ночи.

— Не знаю, не спится. А ты что встал?

— Да жарко... Шёл воды попить на кухню и увидел, что свет горит.

— Да, мне тоже жарко. Пойду попробую уснуть, завтра вставать на работу. А тебе в школу, так что шёл бы тоже.

— Школа... Чтоб она сгорела.

— Спокойной ночи, милый.

— Спокойной ночи, мам.

Она повернулась обратно к зеркалу и уже готова была закрыть дверь, когда Артём снова её окликнул.

— Мам...

— Да?

— Я скучаю по папе. И по Варе тоже.

— И я скучаю.

— Ни по кому ты не скучаешь, у тебя есть Рома.

— Артём, ну как ты так?.. Ты думаешь, нашла нового мужчину, и всё, прошлого как не бывало?

— Не знаю. Мне кажется, ты вообще о них не думаешь.

— Ты понятия не имеешь, о чём я думаю.

— А ты — о чём я.

— Вот и поговорили... Ладно, иди спи.

Артём зло посмотрел на мать и ушёл в свою комнату. Лена вздохнула и снова повернулась к зеркалу. Буторки, вроде, опять немного переместились. Она выключила свет в ванной и вошла в спальню. На кровати, высунув из-под одеяла ноги, спал Рома. Они познакомились два года назад на корпоративе. Он работал в их же компании, в отделе маркетинга. Ленина бухгалтерия находилась на том же этаже, они иногда сталкивались в коридоре, но никогда не разговаривали. В ту ночь Лена перебрала с алкоголем — такое часто случалось, когда на столах стояло неограниченное его количество. Рома тоже был пьян, они говорили о каком-то новом фильме, потом он предложил проводить её до дома. Шли по набережной, над Невой висела утренняя дымка, Рома взял её за руку, остановил и накрыл своим ртом рот Лены. Для неё это был первый поцелуй с тех пор, как в машину с её мужем и дочкой въехала фура.

В ту ночь Рома уехал к себе домой, но через месяц уже ночевал у неё, постепенно перевоза в квартиру, где Лена жила с сыном, всё больше вещей. Она была рада, что реже оставалась одна — проще стало контролировать булимические припадки, — иногда даже казалось, что болезнь совсем отступила. Тем более, в сравнении с замороченным на внешнем виде мужем Рома был просто ангелом — его не волновало, сколько жира на Лениной талии и ходит ли она в фитнес-клуб. И с Артёмом Рома вроде поладил, — до этой ночи она была уверена, что мальчик был рад, что у них дома бывает ещё кто-то.

* * *

Лена проснулась и сразу пошла в ванную. Бугорки явно переместились — теперь они прятались под волосами на виске. Она потрогала их руками и почувствовала лёгкую пульсацию — как будто что-то откликалось на её прикосновение. Лена взяла телефон и набрала номер Светы, косметолога. Договорились, что зайдёт к ней после работы.

— Ну что, Лена, давайте посмотрим.

— Непонятное что-то, высыпает каждый день на новом месте. Не давится, не болит.

— Хм... Похоже на камедоны. Сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать.

Света взяла маленькую бритву, которой она обычно надрезала кожу, чтобы легче выдавить из прыща его содержимое, и поднесла к бугорку на Ленином лице. Бугорок зашевелился и сдвинулся к виску. Косметолог смутилась, но попробовала ещё раз со следующим. Теперь зашевелились уже все выпуклости — змейкой переместились ближе к середине лба. Света отложила бритву.

— Лена, слушай, я не знаю, что это. Оно, похоже, живое — я его даваю, а оно сдвинулось, испугалось как будто.

Лена ответила не сразу. Пока Света пыталась поймать неуловимые камедоны, активность на Ленином лице отдавалась необычными ощущениями в её теле — она чувствовала, что внутри появилось что-то новое, что-то, что заставляло её чувствовать странную полноту. Всю жизнь в Ленином теле была дыра, которую она пыталась заполнить — залить алкоголем, закурить сигаретами, забить едой до тошноты. Время от времени дыра исчезала, но неизбежно возвращалась обратно. Такого, как сейчас, она не испытывала никогда — казалось, что пустота не отступила, а ушла совсем.

— Что? Живое? Правда? — сказала Лена спокойно. — Странно. И что, ты думаешь, это такое?

— Без понятия, Лена, но тебе явно надо к врачу.

Лена вышла от косметолога в душный петербургский вечер, села на скамейку и положила руку на лоб. Бугорки немного

пульсировали, откликаясь на прикосновение. Не отрывая руку от бугорков, встала и пошла к метро. Было противно от мысли, что у неё под кожей поселилось нечто, но одновременно внутри усиливалось приятное чувство полноты. Дома сын играл в компьютер, Рома смотрел новости. Лена поцеловала обоих и пошла в ванную. Бугорки теперь были на другом виске. Лене нравилось к ним прикасаться. Всё, что годами рвало её на части, перестало быть существенным. Детство где-то под Ростовом, мужчина, позвавший маленькую Лену в кусты посмотреть на птенца кукушки, кровь на трусах в цветочек. Жизнь в болотистом Петербурге с мужем фитнес-тренером и медленное погружение в трясину булимии. Испуганные глаза дочки, злой, раздражённый крик выходящего из детской мужа: «Ты же была на работе?» Всё это больше не имело значения. Ничего больше не имело значения, кроме того, что одновременно ело её изнутри и давало ей силы.

— Лена, ты видела, что у тебя с лицом? Эта штука стала огромной.

— Правда? Не знаю... Вроде, такая же.

— Ты слепая, что ли? Это же ужас какой-то. Иди к дерматологу, Лена.

— К врачу... Ладно, Ром, я попробую найти место.

— Лена, ты была у врача? Что за хрень вообще? Почему ты лежишь и ничего не делаешь?

— Рома, почему ты злишься? Я люблю тебя. Тебе неприятно со мной?

— Да, Лена, мне неприятно. Либо ты идёшь и разбираешься с этой хернёй, либо я ухожу.

— Хорошо, как скажешь.

* * *

— Мама, что с твоим лицом? Ты была у доктора?

— Что ты, Артём, всё же нормально. Такое у меня теперь лицо. А что, тебе не нравится?

— Не то чтобы не нравится, как-то странно. Ты и сама странная какая-то стала.

— Почему?

— Не знаю, ты больше не ругаешь меня, не заставляешь уроки делать.

— А тебе хочется, чтобы рутала?

— Не хочется. Лучше, как сейчас — гулять, играть, разговаривать. И Ромы нет, никто не пристаёт с вопросами.

— Да, и правда не пристаёт.

— А вы расстались?

— Не знаю, Тёма. Наверное.

— Тебе грустно?

— Да нет, всё хорошо.

* * *

Недели складывались в месяцы. Окончательно ушёл Рома, Артёма на последний летний месяц забрала к себе бабушка. Лицо Лены всё больше напоминало взрытый снарядами полигон, её тело всё больше слабело. Бугорки на лице стали совсем большими и самостоятельными — теперь они перемещались чаще. Иногда их можно было встретить на шее, иногда на затылке. Ещё в июне, когда Лене сделали УЗИ, ультразвук показал, что у неё под кожей поселился червь. Он питался её тканями, пил её соки, обжился в Ленином организме. Лена не удивилась — ещё у косметолога она поняла, что не одна, но ничьё присутствие в её жизни ещё не доставляло ей такого удовольствия. Разделив тело с кем-то ещё, она впервые в жизни почувствовала себя его полноценной хозяйкой — пропали навязчивые мысли и перепады настроения, больше не хотелось забивать дыру в груди едой, сигаретами и алкоголем.

Наступил сентябрь. Непривычная для Петербурга жара спала, горожане больше не потели под простынями, вентиляторы перестали пользоваться спросом, айс-латте и мохито выпали из моды, электрички опустели, и заядлые любители грибов и ягод снова могли радоваться отсутствию конкуренции со стороны праздных горожан. Один петербургский психотерапевт вернулся к активной деятельности. Тёплым сентябрьским днем он вошёл в освещённую солнцем палату НИИ имени Бехтерева. У окна сидела молодая женщина, пила чай и старательно вдыхала осенний воздух. Профиль женщины показался ему знакомым.

— Елена?

Женщина обернулась. Если бы не длинные пепельные волосы и родинка на щеке, он не узнал бы её. Некогда красивое лицо было обезображено огромными буграми, как будто его обладательница только что встретила рой разъярённых пчёл. Такие же выпуклости виднелись на шее и уходили вниз, под декольте халата.

— Что с вами случилось?

— Ничего, всё прекрасно. А почему вы думаете, что что-то случилось?

— Вы видели своё лицо?

— Конечно, видела, лицо как лицо. Какая, в конечном итоге, разница, что снаружи, если внутри есть гармония?

— У вас она есть?

— Конечно, а вы не замечаете?

Тут несколько выпуклостей на Лениной шее начали наливать кровью и шевелиться, перемещаясь вниз под воротник больничного халата. На её лице появилось выражение странного блаженства. Психотерапевт в ужасе выскочил за дверь и направился в кабинет главврача.

— Вы можете мне объяснить, что это такое? У неё под кожей живёт что-то.

— Да, я знаю, это червь. Зовём Фёдором. Мы не можем его вырезать без её согласия. А её вы видели — не могу представить, что должно случиться, чтобы она согласилась. К тому же, эта штука

нам нужна для исследований. Она явно впрыскивает в её тело что-то, что вызывает сильную эмоциональную привязанность, даже зависимость. А она и рада. Вы же вели Елену у себя в клинике — зависимости ей не в новинку.

— Но она же так умрёт! Эта пштука жрёт её изнутри.

— Может и умрёт. А может, мы достанем его раньше. Хотя я, честно говоря, не знаю, что для неё будет лучше.

— Это какой-то сумасшедший дом! — возмутился психотерапевт и вышел из кабинета главврача, хлопнув дверью.

— Ну да, сумасшедший дом, — пробормотал главврач, насмешливо подняв одну бровь. Потом задумался на секунду, поправил на мясистом носу очки в дорогой оправе и вернулся к бумагам.

* * *

Прошёл год. В Петербурге снова подходило к концу лето, на этот раз не такое жаркое. На Волковском кладбище землю уже покрывал тонкий слой первых опавших листьев. На скамейке у одной из могил сидела пожилая женщина. Рядом с ней стоял мальчик лет десяти-двенадцати, держа в руках букет — только что купленные в «Ленте» поникшие белые тюльпаны. Заходящее солнце красило небо в оранжевый и красный, очерчивая силуэты панельных домов и торговых центров. Оно поворачивало к себе головы прохожих, заставляя их останавливаться посреди дороги и смотреть. Мальчику тоже нравилось смотреть на солнце. По его телу разливалось чувство необычайного полноты и комфорта. Он больше не скучал ни по отцу, ни по сестре, ни по матери. Оранжево-красный отблеск заката осветил лицо мальчика — на виске незаметно пульсировал маленький буторок. 

О Франце Хесселе

Поэт, прозаик, фельетонист и издатель Франц Хессель (*Franz Hessel*) родился 21 ноября 1880 года в Штеттине, в зажиточной еврейской семье. После ранней смерти его отца семья переехала в Берлин. В 1899 году Хессель поступил на юридический факультет Мюнхенского университета, затем перешёл на факультет востоковедения, но учёбу так и не закончил. Полученное от отца наследство позволило ему заниматься литературным трудом. Участвовал также в выпуске юмористического журнала *Schwabinger Beobachter*. Годы до Первой мировой войны Хессель провёл в Париже, где в знаменитых кафе Монпарнаса познакомился с известными и популярными на тот период писателями, художниками и прочими деятелями искусств. Женившись ещё до войны на юной художнице Хелен Грунд (*Helen Grund*), после войны переехал с женой под Мюнхен, а после развода в 20-х годах вернулся в Берлин.

Любовь и пристальный интерес Франца Хесселя к Берлину нашли отражение в его, пожалуй, самом известном произведении «Прогулки по Берлину» (*Spazieren in Berlin*). Книга имеет также подзаголовок: «Пособие по искусству прогуливаться, любуясь очарованием города, о котором он понятия не имеет. Альбом с картинками в словах». Перед взором читателя оживают площади, улицы, фабричные здания, швейные мастерские с табличкой на дверях «Принимаем на работу падших девушек», парки, танцзалы, ночные кафе... Можно сесть вместе с автором в экскурсионный автобус и проехать по тем местам в центре города и на его тогдашних окраинах, которых больше нет и никогда не будет. Или, прогуливаясь, окунуться в жизнь Берлина «золотых двадцатых», ощутить себя в нём, среди берлинцев тех времён:

Не спеша флианговать по оживлённым улицам — особое удовольствие. Тебя охватывает спешка других, это как купание в волнах прибоя. Но милые моему сердцу берлинцы то и дело встанут на пути, особенно тому, кто так искусно лавирует между ними. Пытаясь прогуливаться в деловом потоке горожан, я постоянно ловлю на себе подозрительные взгляды. Похоже, меня принимают за карманника.

Проворные, целеустремлённые столичные девицы, с безупречной осанкой и приоткрытым ненасытным ртом, недовольны, если мои взоры слишком долго задерживаются на их проплывающих мимо плечах и нежных щеках. Не то чтобы они возражали против того, что их разглядывают. Но замедленный взгляд невинного наблюдателя перфигирует их. Они чувствуют, что заинтересовать мне их нечем.

Так и есть, нечем. Я хочу задержаться на Первом Взгляде. Хочу уловить или вновь обрести Первый Взгляд на город, в котором живу.

<...>

Иногда меня тянет заглянуть во дворы. В старом Берлине жизнь за задними корпусами и флигелями становится плотнее, гуще и обогащает пространство — эти бедные дворы со скудной зеленью в углу, перекадинами для выбивания ковров, мусорными баками и колодцами, сохранившимися с доводопроводных времён. Во всяком случае, это удаётся мне по утрам, когда демонстрируют своё искусство певцы и скрипачи или шарманик, который, к тому же, в два свободных пальца подсвистывает музыке — спереди у него барабан, а сзади тарелки (к правой щиколотке прикреплён крючок, от которого шнур протянут к висающим на спине тарелкам с парой колокольчиков; и когда он топает ногой, кололушка ударяет по тарелкам и тренькают колокольчики). Я стою возле пожилой привратницы — она, наверное, мать всех вахтёров на свете, так много ей на вид лет и так привычно восседает она на своём складном стульчике. Её абсолютно не беспокоит моё присутствие, и я могу смотреть вверх на выходящие во двор окна, у которых толются, напирая друг на друга, машинистки и швеи из контор и мастерских, чтобы не пропустить концерт. Они от всей души наслаждаются переывом, пока не появится какой-нибудь докучливый начальник, и им придётся, прошмыгнув обратно, вернуться к своей работе. Все окна голые. Только на одном, на предпоследнем этаже, есть гардины. Там висит птичья клетка, и когда скрипка всхлипывает навзрыд и шарманка дребезжающим голосом жалуется на судьбу, канарейка начинает петь, одиноко откликаясь среди молча созерцающих рядов окон. И это прекрасно. Но я хочу участвовать и в вечерней жизни этих дворов, наблюдать за последними играми детей, которых то и дело зовут домой, за тем, как возвращаются и снова уходят на прогулку юные девушки; только я не нахожу ни смелости, ни причины войти — слишком очевидна моя неправомочность.

(Перевод Эдуарда Лурье)

В Берлине Хессель работал в издательстве *Rowohlt*, писал стихи, рассказы и фельетоны, переводил Бальзака, Пруста и Казанову. После прихода фашистов к власти, несмотря на запрет заниматься литературным трудом, продолжал работать редактором в издательстве и переводил романы Жюль Верна. В 1938 году, незадолго до «Хрустальной ночи», по совету друзей эмигрировал в Париж. После захвата Франции немцами вместе со старшим сыном и другими эмигрантами, среди которых был, например, Лион Фейхтвангер (*Lion Feuchtwanger*), был помещён в лагерь для интернированных лиц. В результате двухмесячного заключения 60-летний Франц Хессель пережил инсульт и, вскоре после освобождения из лагеря, умер в городке Санари-сюр-Мер. 

Эдуард Лурье, редактор рубрики «Переводы»

Франц Хессель

Свидание с прошлым

Перевод Натальи Буш

У Мартина Бургера — коммерсанта сорока лет от роду — между двумя послеобеденными деловыми встречами на Потсдамер штрассе чрезвычайно разболелся зуб. Тот самый коренной, в отношении которого дантист заранее уверил, что этот зуб больше не сохранить. Чтобы незамедлительно разделаться с этим досадным неудобством, Бургер попытался из ближайшей табачной лавки дозвониться до врача. Бургеру, однако, сообщили, что сейчас — дело было в субботу — доктор за городом и вернётся только в понедельник ближе к вечеру.

Так как боль ещё усилилась и времени терять было категорически нельзя, Бургер решил пойти к тому дантисту, который первым попадётся на глаза. Он свернул на какую-то улицу, и там, подняв взгляд на дверь одного из домов, обнаружил табличку, внушающую доверие.

Открыв входную дверь, показавшуюся ему знакомой, Бургер только в коридоре осознал, что находится в доме, на втором этаже которого тридцать лет назад жили его родители. Он поднялся по той же лестнице, по которой ежедневно ходил в свои десять-пятнадцать лет. И где в стекле выходящего во двор окна ему виделся смутный образ женщины, держащей что-то в поднятой руке. Была ли это колба? Факел? Он и сегодня вряд ли смог бы различить её очертания. Этот смутный образ фен его счастливых дней и сладострастных грёз, колдуньи его приступов отчаянья и разочарований, этот повседневный символ судьбы он молил сейчас послать ему в беде хорошую подмогу. Так Бургер поднялся на второй этаж, где и висела табличка доктора.

В коридоре навстречу пахло сладковатым запахом лекарств. Ему открыли дверь в приёмную доктора, некогда служившую его родителям гостиной. К счастью для себя он обнаружил, что в комнате кроме него никого не было. Каким

до смущения знакомым оказался крытый балкончик с окнами, ограждённый нелепой балюстрадой из небольших колонн!

Стол в центре приёмной напоминал прежний салонный столик с резной столешницей из блестящего чёрного дерева.

На месте альбомов «Путешествия по озерам Италии», «Немецкая поэзия» и «Амор и Психея» Хамерлинга с иллюстрациями Тумана теперь лежали глянцевые журналы, газеты с анекдотами и потрёпанные книги издательств «Энгельхорн» и «Кронен». В этом двойном предназначении, частично сохранившем бывшее книжное великолепие, виделось нечто безутешное. Как и в плюшевой портюре, скрывающей дверь в кабинет и когда-то бывшей завесой из более тёмного плюша с орнаментом, вышитым их родственницей. Бургер хотел было осмотреться в поисках гравюры «Младенец Моисей в тростнике на берегу Нила и дочь фараона», словно бы та ещё должна была висеть над софой, но тут приоткрылась дверь, и ему приветственно кивнул дантист.

Пока Бургер располагался в кресле операционной, он раздумывал, где же в этой комнате родителей раньше стоял рояль (на котором столь редко играли и который, спрятанный под слишком ярким шёлковым покрывалом, служил подставкой для семейных снимков в зубчатых рамках).

Но уже пора было раскрыть рот и показать доктору больной зуб. Бургер не воспротивился решению незамедлительно удалить его. Ему ввели обычную инъекцию, а затем доктор попросил его ненадолго, пока не подействует наркоз, прилечь.

Для этого Бургера провели сквозь типично берлинскую столовую с окном, выходящим во двор, всю стену которой, как и раньше, занимал огромный буфет «под ренессанс». Доктор довёл его до бывшего кабинета, где Бургер растянулся на софе.

Его взгляд упал на большое зеркало — на то место, где когда-то было так же плохо повешено зеркало меньших размеров. В зеркале времён его юности лицо выглядело мрачнее — когда он вечерами один, перегнувшись через стол, отстранённо и пытливо рассматривал себя в нём, страпась окружающей жизни, угрожавшей его беспечному детству. Теперь же Бургер лицебезрел

лишь бледного мужчину, лицо которого как раз из-за отсутствия морщин и гладкой кожи словно состарилось изнутри. Он был подавлен.

За его спиной, у окна, как он знал, находился письменный стол отца. С враждебными часами, заводимыми лишь раз в неделю. А в ящике отцовского стола лежал нож для бритья, которым он тогда, незадолго до того, как съехала с этой квартиры семья, тайком...

Он прикрыл глаза. Над двором разносился голос служанки с переливным гортанным «Всё бы р-р-ради тебя отдала!» Уцелел ли ещё за соседским двором тот сад, который был виден из окна лишь немного и куда ходила гулять девочка с красивым сенбернардом?

Явился доктор и попросил пациента пройти в операционную. Само удаление прошло одним быстрым рывком, с приглушённой, почти не ощутимой болью. Но когда Бургер встал, голова вдруг закружилась. На улице раздался резкий звон, и этот пронзительный звук отозвался в челюсти.

Он пошатнулся. Доктор дал ему воды и рекомендовал ещё немного отдохнуть. «А что же с моей встречей в половине седьмого?» — пришло в голову... Но он поддался и позволил себя отвести. Только комната, в которой он до этого лежал, уже была занята следующим посетителем. И ему открыли из столовой дверь в другое помещение.

Это была его детская. За столом стоял диван, на котором он спал, когда детская кровать стала ему мала. Он прилёг и тут же задремал.

Во сне до него доходило тиканье часов — старинных часов в ужасной резной раме из чёрного дерева, оскалившейся и готовой вцепиться зубами. Не в этой ли комнате сидел за уже слишком тесной для него партой мальчишка? Не здесь ли он прижимался грудью к столешнице, чтобы сдавило грудь и закружилась голова, чтобы умереть в юные годы и не терпеть семь дней в неделю раздевание с одеванием и посещение школы? Чтобы не пришлось больше выносить поначалу душевные, а к утру злые ночи, уничижающие взгляды женщин на его слишком большие и красные руки. Тщету разглядывания сада вдалеке. Тоску по вечной жизни без разбивки на дни и недели.

Он проснулся. За столом — а не за партой в его сне — действительно сидел подросток под лампой — только лампой электрической, а не газовой. Хотя и новая была под абажуром, уныло расплывающимся в обтрёпанную бахрому.

Вошёл доктор, негромко заговорил с мальчиком, и тот удалился. Доктор осведомился о самочувствии Бургера и помог ему встать.

«О, я чувствую себя вполне хорошо, уважаемый доктор, благодарю. Но, знаете ли, вам не стоило бы окружать вашего сына такой обстановкой! Эти плюшевые шторы, чёрный гарнитур в гостиной, мрачные зеркала, громоздкий буфет! Ах, и эта бахрома...»

Доктор в крайнем изумлении посмотрел на него.

«Иначе мальчик вырастет слишком печальным. И когда возмужает, подойдёт к письменному столу отца и обнаружит в нём оружие для слишком опасной игры. Это — тот возраст, в котором жизнь висит на волоске».

«Ничего не понимаю, — произнёс доктор. — Думаю, у вас жар. Вам нужно дома сразу же лечь в постель и выпить липовый настой».

«Так и сделаю, — ответил пациент. — Но я всё же прав, только в этом трудно убедить других. Я пережил здесь это раньше. Простите, именно с тех пор я не переступал этого порога. Но я вижу, что скоро восемь. Мне срочно пора на переговоры. Сколько с меня?» 

Франц Хессель

Влюблённый паровоз

Перевод Кристины Жуковой

Это обывательская уездная история, но случилась она, тем не менее, в Париже. Я знаю её лишь по слухам.

На юге города есть узкоколейка, участок которой проходит через предместья, вдоль цветных домиков, огородов и стен к дачным поселкам с названиями Фонтене-о-Роз, Робинсон и подобным тому. Вокзал находится в центре многолюдного квартала. Добропорядочные горожане, живущие по соседству с вокзалом, пару лет назад обратили внимание, что во время отправления и прибытия некоторых поездов обычный сигнал паровоза не ограничивался простым гудком, а громко заливался и свистел, похожий то на ликующее, то на щемящее душу щебетание влюблённой птицы. Многим это доставляло удовольствие, и они говорили: «Снова этот влюблённый паровоз». Другим, однако, это докучало, а одного пожилого господина, бывшего муниципального чиновника, а ныне уважаемого пенсионера, это раздражало до такой степени, что он пошёл в железнодорожную дирекцию разузнать, необходимо ли, чтобы гудок паровоза был таким обстоятельным. Дирекция пообещала провести расследование, и в итоге выяснилось, что необычный сигнал был всего-навсего прихотью молодого машиниста, порядочного и вполне ответственного человека, к которому не было никаких иных претензий. «Необходимо ли так обстоятельно сигнализировать?» — обратилась дирекция вокзала к молодому человеку и доброжелательно предложила ему оставить эту затею, что он и обещал. Он был симпатичным парнем с тёмными глазами на бледном лице. Ранее он, должно быть, носил усы, так как во время раздумий всё ещё проводил пальцами над своими алого цвета губами, там, где когда-то была растительность. Бороду же он благополучно сбрил по примеру американцев во время войны. Возможно, его возлюбленная считала, что во время по-

целуя без бороды он был ещё ближе. Почти всё, что он делал, совершалось, безусловно, во имя той самой возлюбленной, которая шла за занавесками своей комнаты, как раз недалеко от здания вокзала, и радовалась приближению поезда. И этот гудок звучал в её честь. Он означал: «Любимая моя, сейчас я отдаляюсь от тебя, о горе», или «Любимая моя, сейчас я возвращаюсь, ура, через десять минут я буду у тебя!» Весь её день был заботливо распланирован паровозной серенадой подобно тому, как время набожного человека — церковным перезвоном.

И вот молодой машинист припёр к своей возлюбленной и сказал, что ему впредь не разрешают сигналить как раньше.

— Жаль, — единственное, что произнесла она, и посмотрела на него уже не так приветливо.

Он провел пальцами над губами в том месте, где прежде были усы, и молча ушёл. Если кроме «жаль» она ничего не сказала, подумал он, значит, я ей не так близок, как она мне. И ему следует оставить эту затею с гудком.

Но с того момента, как он перестал сигналить, девушка стала печальной. А ведь было так прекрасно, когда все в округе могли слышать эти гудки, и они адресовались только ей, ей одной.

— Послушай, мне грустно из-за того, что ты больше не сигналишь, — сказала она через пару дней.

— Тогда почему, когда я сообщил, что мне больше не разрешают гудеть, ты не сказала ничего, кроме «жаль»?

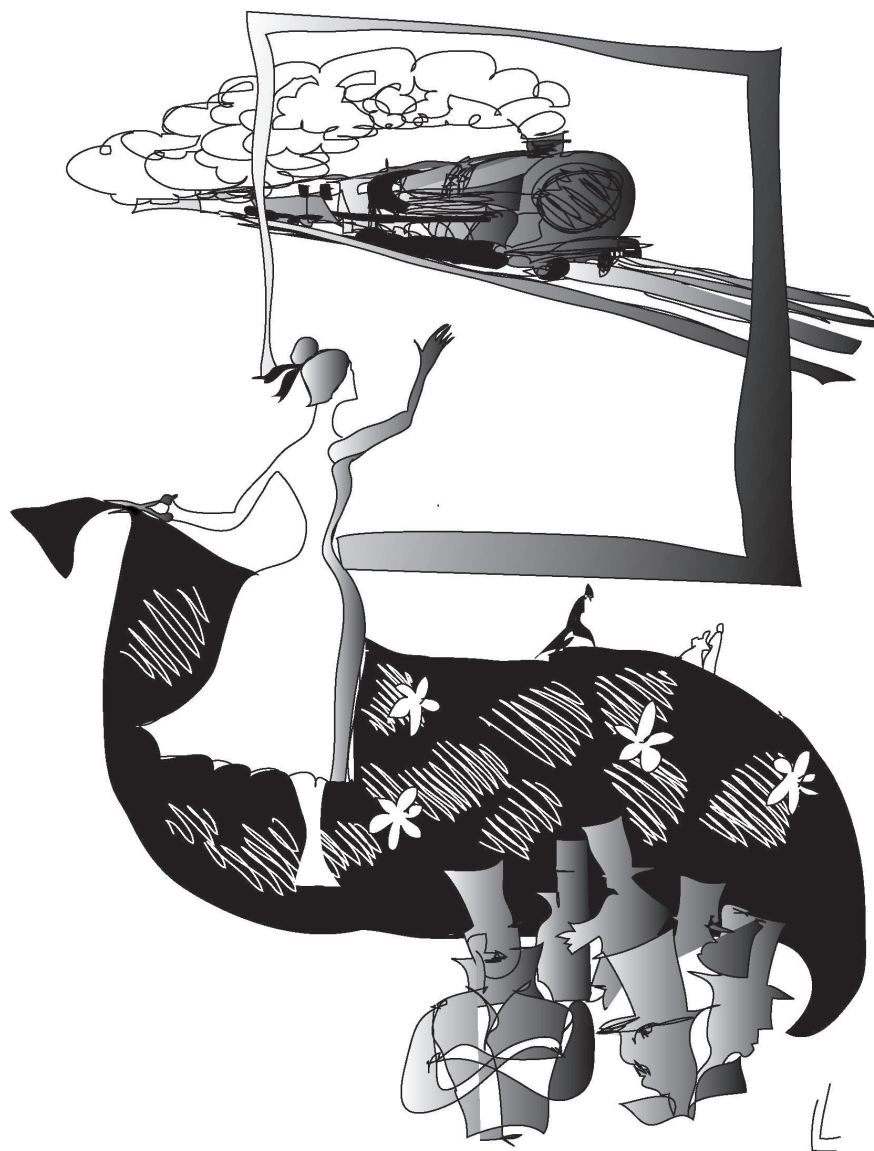
— Я опасалась, что ты слишком зазнаешься, — ответила она очень нежно.

И спустя несколько дней после этого разговора машинист принялся сигналить, как прежде. «А, он снова гудит, влюблённый паровоз», — говорили в округе; одни радовались, другие ругались, и они разделились на два лагеря: за и против железнодорожной музыки. Пожилой пенсионер пребывал в очень скверном настроении; он обходил соседние забегаловки, призывая направить петицию в дирекцию вокзала с целью запретить чрезмерный гудок. И лавочник на площади, и некоторые пожилые домоправительницы были против этого гудка. Так петиции был дан ход — и на этот раз дирекция всерьёз пригрозила своему работнику: «Либо вы прекращаете сигналить так, как вы это делаете, либо вы потеряете работу».

Поговаривают, что машинист попросил позволить ему в последний раз посигналить на свой манер, и этот гудок звучал душераздирающе.

Что с ним стало — об этом домоправительницы в квартале сообщают разное. Одни утверждают, что его возлюбленная изменила ему и ушла, и что она больше не занималась питьём, а жила в квартире в центре города, куда её поселил некий богатый господин. Другие рассказывают: «Он женился на девушке, получил повышение по службе и имеет всё, что ему нужно. Сейчас оба прекрасно обходятся без гудков».

Те, кто полагают, что знают его в лицо, укажут вам на бледного мужчину, плетущегося по улицам на закате дня, и добавят: «Вон идёт тот, который мог бы так красиво гудеть, если бы ему разрешили». 



Ralph Dutli

**Aus dem Buch
NOVALIS IM WEINBERG Ammann Verlag, Zürich 2005**

Über die Weinseiten

ich fülle den Laut in deinen Nabel Muse
in deinen Nebel Muse
es ist dein Ohr voller Blicke
das mir alles diktiert was ich immer sehe
deine beredsame Schlüsselbeinmulde fällt
mir ein der Triefenbach rosiger nichtiger
Wünsche
Augen bekommen Beine
laufen über die Weinseiten
nur das Warnschild klafft
hier wache ich!

Scheue Kargheit

(Telegramm an den Weinberg)

mein wirres Geständnis Weinberg
am liebsten warst du mir im Februar kahl und
karg ausharrend dein Triumph hat das
Selbstverständliche
verzeih mir ich will nur hier
auf allen Wein verzichten
den Vermögenden. Weinberg
mangelt es nicht an dem und an allem
die Bettlerranken haben alle
blendende Erwartung für sich

Ральф Дутли

Из книги
НОВАЛИС В ВИНОГРАДНОМ САДУ Издательство
Амман, Цюрих 2005

Переводы Бориса Шапиро

По виноградному склону

я звук наливаю в бокал твоего пупка о муза
в твоё непонятное муза
ухо твоё наполнено взглядами
диктует мне всё что я вижу
красноречивая ямочка над ключицей нравится мне
и собирает по капле ручей радужных тщетных
желаний
глаза разбегаются по виноградным
лозам и только знак с мордой цербера
будто лает визгливо
здесь сторожу я!

Робкая скудность

(Телеграмма на виноградник)

путаное моё признание тебе виноградник
милее всего мне ты был в феврале голый и
скудный терпелец твоё торжество
неизбежно
прости мне я только здесь отрекаюсь
от всех вин на свете
у винно-имущего виноградника
нет пока ничего
в нищих побегам протянутых за подаянием
ослепительные надежды

Flockenleben

Schnee in den Raben Schnee in den Reben
ganztags dichtfetzig und den Raum aufwirbelnd
jede Flocke ein Dichterleben und seltsam
menschlich laufpassmäßig zwischen
Luftgeburt und Aufprall auf Teer

(deutlicher Februar)

Metamorphosen, Rauhreif

I

jeder Römer ist ein Weinstock geworden
wo sollen sie sonst alle hingekommen
sein die hier über die Hügel kraxelten
also hat sie ein Edenkobener Ovid in
fetten traubengroßen Metamorphosen
zu Weinstöcken verwandelt
dem blauen rauhen Himmel zum Beglotzen
überlassen!

II

schau sie dir an die silbrigen Legionäre
und knorrigen Stöcke mit den zwei knorpeligen
Armen am aufhelfenden Draht
wie sie schön aufgereiht dastehen
die Erfinder der Kastanien
die Rebenbesessenen
bis hinüber zum Heiligen Martin
der mit dem Schwert den Rauhreif
teilt den Mantel des Rebbergs

Жизнь снежинок

снег сиротский по чёрному снег в виноградной лозе
день-деньской густо рвано вскружая пространство
снежинка каждая — жизнь поэта и странно
по-человечески волчьим билетом между
рождением из воздуха и шмяк об асфальт

(уже вполне февраль)

Метаморфозы, Иней

I

римляне все виноградной стали лозой
а то куда бы они теперь подевались
кто приступом брал эти холмы
не иначе как местный¹ Овид
в пышных метаморфозах как виноград налитых
их в лозу превратил да так и оставил стоять
першавому синему небу
на обозренье!

II

посмотри на них посеребрённых легионеров
на коряги с простёртыми в стороны подагрическими
руками на проволочной шпалере
как прекрасны эти первооткрыватели
каштанов одержимые виноградной лозой
в строю по самый горизонт
до деревни с названием Святой Мартин
который рассёк мечом иней
как плац покрывающий гору

¹ В оригинале: *Edenkobener Ovid*, «Овид из Эденкобена». Эденкобен — местечко в долине Трифенбаха, буквально «Райский хлеб» или «Райский загон» (прим. переводчика).

Winter & Eros

Der Weinberg ist der letzte
karge Winter-Erotiker
der lallt
küsst — höhnt — stöhnt
er hadert
der Weinberg meine Lebensader

eine untergegangene Sprache
die jedes Jahr neu aufblüht
aus dem Knorrigen die
Traube zaubert!

Traumbuch

nachts träume ich über
den Weinberg hinaus
das nächtliche Kopftheater hat nur einen
winzigen Zuschauer
mit schwer verschlüsselten Augen
er beobachtet ein wasserklares
Zirkus-Geschehen in dem er sich
selbst begegnet ein irrer Jongleur
seine immergrünen immerblauen
Trauben im Schnee
seines einzelnen Schlafs

Зима и Эрот

Виноградник — последний из
скупых рыцарей зимней эротики
он лепечет
ласкает измывается стонет
он бранится и домогается
виноградник — артерия моей жизни

утонувший в минувшем язык
как ты наново расцветаеть ежегодно
из заскорузлой коряги винную ягоду
выколдовываеть!

Книга снов

ночью выплёскиваются мои сны
за край виноградника
ночной балаган в голове развлекает
единственного крохотного зрителя
с наглухо зашифрованными глазами
он следит за тем что творится
под прозрачным колпаком на арене
как он встречает себя безумный жонглёр
вечнозелёные вечносиние свои
виноградины на снегу
своего несвязного сна

О Ральфе Дутли

У Ральфа Дутли есть страничка в интернете, и в википедии он тоже не обойдён вниманием. Там о нём всё сказано правильно и факто-достаточно. Тем не менее, есть одно «но»: дело в том, что он совершенно недооценён муравейником нашей современности ни по-немецки, ни по-французски — на языках, на которых он сам — поэт редкой силы. Да и по-русски тоже.

Мало кто сделал для выживания и процветания русской литературы двадцатого века в немецкоязычном космосе столь много и успешно, сколь это удалось Ральфу Дутли в его поистине жертвенной жизни швейцарского слависта и французского и немецкого поэта, которую он, прожив большую часть в бедственной нищете, совершенно осознанно принёс в жертву русской литературе. Ральф Дутли конгениально просодически переводил Мандельштама, Ахматову, Цветаеву и других. Но не о Дутли-переводчике и пропагандисте русской литературы и не о Дутли-романисте хочу сказать слова, а о Дутли-поэте.

Композитор шестнадцатого века Кристоаль де Моралес учил, что только музыка воспитывает в человеке божественную душу. Поэтическую душу воспитывает, конечно, именно музыка! Эта особенно возвышенная, вдохновенная, специфическая музыка немецкого языка родилась и продолжилась на мой субъективный слух чередой поэтов: Мартин Опиц, Андреас Грифиус, Катарина Регина Грайфенберг, Маттиас Клаузиус, Йоганн Фридрих Фосс, Фридрих Шиллер, Фридрих Гёльдерлин, Фридрих Рюккерт, Август граф фон Платен, Эрнст Майстер, Пауль Целан, Ральф Дутли.

Да, именно Ральф Дутли венчает сегодня, как я думаю, золотую траекторию Слова, простирающегося и охватывающего космос немецкой речи вверх от беременно-чёрного плодородия корней до изнывающего синевой и звенящего светом неба.

Я не переводил стихотворения Ральфа Дутли, а переозвучивал их в русский язык. На меньшее не стоило бы тратить время жизни. 

Борис Шапиро, поэт, переводчик

Владимир Порудоминский: Я очень счастливый автор

В июле 2018 года исполнилось 90 лет Владимиру Порудоминскому — биографу, прозаику, эссеисту, автору более чем пятидесяти книг. В большом разговоре с главным редактором «Берлин.Берега» Григорием Аросевым Порудоминский, с середины 1990-х годов живущий в Кёльне, рассказал об истоках своего беспримерного интереса к жизни, о своём немецком языке и своей Германии, о невероятных изгибах судьбы писателя-биографа, а также признался, что его волнует сейчас — как автора и как человека.

«Берлин.Берега». Уважаемый Владимир Ильич, вы очень любите говорить о других. И даже когда вы говорите о себе в интервью, всё равно складывается впечатление, что вы всегда стараетесь выдвигать других на передний план — либо героев своих книг, либо авторов чужих, либо родственников, друзей, знакомых. Что для вас значит ваша собственная личность?

Владимир Порудоминский. Я думаю, вы ошибаетесь. На самом деле я занимаюсь, конечно же, собой, хотя я не люблю говорить о себе, это правда. Я достаточно замкнутый, скрытный человек. Но я очень люблю смотреть, «наблюдать» людей, думать о них — и много, действительно, думаю о других. Но я всё время о себе пишу. Всё, что я пишу, вся моя проза — только обо мне. Даже биографическая.

Всё зависит от того, какая у вас задача. Помните, как у Достоевского: «Человек есть тайна, её надо разгадать»¹. Понимаете, моей задачей было — в юности это я делал менее удачно, потом более удачно — раскрыть личность того человека, о котором я пишу. Не факты и не течение его жизни, не этот *Lebenslauf*, как говорят немцы, а его личность, его глубинные решения, его глубинные настроения и построения.

¹ Письмо М. М. Достоевскому, 16. 08. 1839

И вот «однажды» не только я, но и мои коллеги, старше меня на поколение, к примеру, Даниил Семёнович Данин², начали говорить и думать о своих героях примерно таким образом: «Вот он поступил так, но мог ведь и не поступить». То есть мы не просто писали «он сделал то-то», а мы ещё задавали побочный вопрос: «Но мог же не делать? Или поступить как-то иначе». То есть мы пытались, как теперь принято выражаться, раскрутить историю, раскрутить личность этого человека, пытаться понять его душевные сомнения, смятения, поиски решений. И когда ты занимаешься биографическим жанром, то ты поневоле — поневоле, понимаете, без этого не обойдёшься — примеряешь чужие события на себя. Даже если тот человек, о котором ты пишешь, очень противоречит твоему «я», когда он далёк от тебя, ты далёк от него, но всё равно, тогда идёшь от противного!

Например, я писал книгу о Крамском³. Я вообще им много занимался, на самом деле, я написал о нём две книги, но про вторую книгу — которая была лучше — никто не знает, потому что она не успела выйти: началась перестройка, и она уже на стадии вёрстки пропала. Так вот, я увидел фотографию, как он себе построил дачу, когда уже стал богатым человеком, и как он стоит перед этой дачей — в позе «хозяинчика» — и я подумал: «А вот если бы я, когда *начинал* писать о Крамском, и когда вначале у меня зна́ком на нотной строке был человек, который повёл за собой молодых художников, который создавал движение передвижников, и так далее, если бы я тогда увидел этого человека, который разбогател, который был уже большим баринном — как бы я стал о нём писать, как бы я о нём писал?»

И я опрокинул это в обратную сторону, и это всё вошло в книгу.

Считали ли вы себя сразу писателем или всё-таки поначалу думали, что вы больше искусствовед?

Это вопрос возникает всегда, когда речь идёт обо мне. Литературовед? Искусствовед? Сейчас ещё появилось другое определение — где-то несколько раз написали, что я — «историк культуры», что мне нравится, кстати сказать. Потому

² Даниил Данин (1914–2000) — прозаик, сценарист, критик, популяризатор науки.

³ «Крамской» (1974)

что «литературовед», «искусствовед» — я не хочу это на себя принимать, это отдельные большие специальности, это науки, и хотя я ими — естественно! — занимался, когда писал о художниках, писателях, но в фокусе моего внимания, интереса была биография. С литературоведением я так или иначе сталкивался постоянно, потому что писал о Гаршине, о Пушкине, о Дале, о Гоголе, о Чехове, у меня много и специальных литературоведческих работ: статьи, рецензии, предисловия, я готовил издания сочинений писателей, классиков — но литературоведом я себя и не считаю.

Я не литературовед, я не искусствовед, я — человек, обладающий определённым набором знаний в этих областях. Я и писателем только в последние несколько лет — причём понуждаемый обстоятельствами, потому что иначе с людьми не объяснишься — перестал стесняться себя называть. Я всегда стеснялся. Это была для меня всегда очень высокая марка — писатель. Я был литератор. «Я пишу...»

Но всё-таки: кем вы себя ощущали в самом начале?

Не писателем, а человеком, начинающим писать. Я очень обучающаяся машина. Я действительно до сих пор учусь. Не так давно проходил один круглый стол, мне тогда было, наверное, лет восемьдесят восемь, и там задали такие вопросы: «Когда вы стали писателем? Как вы стали писателем?» Я ответил искренне: «Я ещё не стал им, я всё ещё учусь». Понимаете? Потому что я, иногда читая чей-то текст, порой делаю для себя серьёзные открытия, внутренне говорю себе: «Ого! И вот я этого не знал? Я этого не чувствовал? И у меня этого не было?»

Давайте смотреть правде в глаза. В вашем возрасте — извините, что я о нём говорю — такой интерес к жизни — это, безусловно, исключение. Редчайший случай. Вы как-то в себе это пестовали на протяжении лет или «оно само» — гены, характер, темперамент?

Это мой характер. Просто лежать на диване — такого со мной не бывает. Конечно, если не лежать и думать. Лежать и думать — это другое дело. Дело!..

Автор песен Александр Городницкий сказал: «Не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться». Это про вас?

Да. (Кстати, я знаком с Городницким и высоко ценю его творчество.) Я отношусь к людям, которые посреди разговора — а в разговоре нередко участвуют и молодые (то, что я вам, скажу, покажется, может быть, хвастовством, но это действительно так) — встают и идут посмотреть в словаре значение непонятого слова, которое кто-то употребил в ходе беседы. Мне всегда всё интересно. Вот вы пришли — я футбол смотрел с интересом. Выключил — с вами разговариваю с интересом. Мне интересно. То есть — есть в жизни что-то неинтересное, но это, как правило, где-то далеко.

Однажды в интервью вы сказали, что вашему отцу ещё в далёкие дореволюционные годы было комфортно в Германии, что ему там нравилось. И вот прошло огромное количество лет — и вы сами оказались в Германии. Была ли у вас возможность остаться в России?

Конечно. Я не люблю все эти идейные разговоры об эмиграции. Были люди, которые уезжали идейно, были люди, которых выставляли из страны, но многие люди решали вопрос об эмиграции достаточно практически. За что осуждать их никак нельзя. Вот живёт человек в России, где-то работает, и вдруг он всё бросает и едет в какую-то неведомую Германию, на какое-то пособие, которое ему должны давать — то ли будут выплачивать, то ли не будут; где-то он будет жить — то ли ему дадут, где жить, то ли не дадут. И для того чтобы принимать такого рода решение, нужен определённый практический подход.

В ту пору — конец восьмидесятых — начало девяностых годов — мне очень хотелось уехать. Но у меня был могучий магнит в «ту» сторону: у меня уехали дети, а я остался в России, в той России, какой она тогда стала — хотя это отдельный разговор. Дети со своими детьми, моими внуками, уехали, и жизнь во многом потеряла смысл. Я ведь ими занимался — жилось тогда нелегко, нужно было помогать. И вдруг всё это исчезло, ничего нет — мы с женой вдвоём сидим и ждём, когда они

нам позвонят, или ищем возможность сами им написать. Для меня это было очень важным стимулом.

Я несколько раз об этом писал и говорил в разных интервью: я — удивительный москвич, я уехал шестьдесят шесть лет из квартиры, в которой родился. Я никогда дома не менял, крыши не менял всю свою долгую жизнь в Москве. И у меня была, как её называли, «московская походка». Там, в Москве, у меня всё всегда было своё, я много ходил по Москве пешком, знал наизусть улицы, переулки, у меня в этих улицах, переулках были всюду знакомые, друзья. И вдруг эта страна и этот город перестали быть моими. Понимаете? Я любил иногда взять такси — и вдруг такси стали проезжать, не обращая на меня внимания. Я любил пойти в магазин и что-то купить, и вдруг я увидел уличные палатки, которые были для меня недостижимы и непостижимы, непостижимы: что это, что вообще происходит?

Всё очень переменилось, всё стало очень не моё. И это подстёгивало желание уехать.

У вас не было страха перед новой страной?

Перед Германией — нет.

Именно из-за того, что это была Германия, или вы в принципе не боялись?

У меня не было страха. Были опасения. Например, мысль о языковом несовпадении. Немецкий язык я знал. Ну не так, чтобы очень, но, во всяком случае, я его знаю неплохо — объясниться могу, понять могу, прочесть книгу могу. Из-за того, что мой отец учился в Германии и был немного германофилом, насколько это вообще возможно было в его положении — еврей, у которого погибла вся семья — у нас дома подчас звучал немецкий язык, я слышал его с детства. А вот жена моя очень страдала — во-первых, она не знала немецкого, а во-вторых, может быть, по этой причине для неё здесь так и осталось много чужого.

Я не могу сказать, что Германия — полностью «моё». Я так не чувствую. Однако хозяйка дома, где я живу, мой ближайший друг немецкий, сказала: «Когда я увидела, как ты двигался

и как ты меня окликнул в аэропорту, я поняла, насколько ты живёшь на своей территории». Но это явно завышенная оценка. Я-то знаю, что многое здесь из того, что мы определяем понятием «немецкое», осталось для меня частью чужим, частью непреодолимым.

Вы сразу оказались в Кёльне?

Да, мы ехали в Кёльн к детям, они тут жили.

Вам было интересно изучать город, Рейн-Вестфалию, страну в целом?

Кёльн мне было интересно изучать, и одно время я очень этим увлекался — более того, я довольно много водил людей по нему. Я не устраивал никаких экскурсий, но у меня были друзья, приятели, которым я охотно показывал город. Тут у меня есть свои пристрастия — старые романские церкви. Что же касается региона и страны... Понимаете, я биограф, и поэтому у меня, в общем, всё через людей. И моё схождение с Германией — может быть, одно из главных — произошло через человека.

Я написал книгу⁴ об Эрвине Планке⁵. Я познакомился с немецким Сопротивлением, я познакомился с определённым кругом людей, которые в нём участвовали, с их биографиями. Я много читал книг на эту тему, притом я жил с людьми, которые кого-то знали, были близки Сопротивлению...

Понять Германию, её историю, её людей мне очень помогли книги — и не только о Сопротивлении, конечно. Мне очень повезло: в доме, где я поселился, была замечательная библиотека.

Где вы учили немецкий язык?

Только не будем преувеличивать. Свой уровень знания языка я определяю так: слава Богу, кое-как обхожусь. Мог бы знать лучше. Всё-таки, пусть и не систематически, отрывочно,

⁴ «Планк, сын Планка» (2001).

⁵ Эрвин Планк (*Erwin Planck*; 1893–1945) — политик, борец Сопротивления. Сын Макса Планка (*Max Planck*), основоположника квантовой физики. Казнён в январе 1945 года в тюрьме Берлин-Плётцензее.

я возвращался к немецкому языку на протяжении всей жизни. Когда я был маленький, детские сады уже существовали, но их было мало, и меня не очень хотели туда отдавать: инфекции, болезни... Да и принимали туда в основном детей из бедных семей, а я всё-таки был сын врачей, более обеспеченный. Хотя вы понимаете, что это было за обеспечение тогдашнее, начало тридцатых годов: макароны дают, пшёнку дают — и слава Богу.

Так вот, у нас во дворе — это был настоящий московский двор — появилась «группа»: пожилая немка, которой отдали на обучение пять или шесть детей. Она и начала нас учить немецкому языку — и вообще учить. И диктанты мы писали, и даже арифметикой занимались — это был мой детский сад. А так как мой папа любил немецкий язык, мы с ним иногда разговаривали дома по-немецки. В школе получилось так, что я первые годы немецкий язык не учил. У меня был французский класс, потом — в эвакуации — английский, и только напоследок я оказался наконец в немецком классе. Но моих уже имевшихся познаний в школе мне хватало.

А когда я собрался переезжать в Германию, то поступил на курсы немецкого языка, где была ускоренная программа — тогда впервые увидел современные западные учебники, в которых надо было что-то самостоятельно вписывать прямо на страницах книги. На курсах я отучился месяца три, и это меня в языковом плане очень укрепило.

Наверняка вы помните сорок пятый год, вам было 17 лет...

Очень хорошо помню.

...и вот вообразим, что указатель времени мгновенно переключается с сорок пятого на девяносто пятый, когда вы уже живёте в Германии. Можно ли было ТОГДА представить обстоятельства, в которых вы оказались ПОТОМ?

Немыслимо. Немыслимо. Что угодно, но не это. Я сейчас смотрю телевидение, и хотя российских каналов у меня нет, всё равно иногда что-то проскакивает, и я вижу: ребята из России хорошо говорят по-английски, ездят куда-то...

Сейчас я ухожу от того, что Германия тогда была поверженным врагом... Важно другое! Мысль о том, что ты окажешься за границей, была просто чудовищно нелепой. Там можно было оказаться, только совершая преступление. Это было ужасно! Почему мы, моё поколение, плохо знаем языки? Да потому что мы всегда были убеждены, что никогда не будем разговаривать с иностранцем. Что мы не только никогда не поедем за границу жить, но скорее всего вообще никогда там не окажемся! И если у нас в России иностранец ко мне подойдёт, я ему отвечу по-русски.

Получается, что вот эта линия «сорок пятый — девяносто пятый» нам в очередной раз доказывает, что предсказать ничего невозможно?

Вы только представьте: я живу в доме немецкой аристократки, имевшей отношение к Сопротивлению в Германии. Я приехал сюда, в Германию, из Москвы, а мои родственники погибли в гетто. Это как раз тот сумасшедший дом, который называется «жизнь»...

Кстати, для меня вопрос, который задали — о человеке советском и его отношении к загранице (я умышленно так говорю — «заграница») — стоит особняком ещё и из-за того, что произошло с моим отцом. Мой отец был из Вильнюса — из Вильно, как тогда его называли. Он уехал учиться в Германию, естественно, задолго до революции. В Лейпциге он окончил медицинский факультет, вернулся в Россию, началась Первая мировая война, его призвали в армию, а у него — немецкий диплом! Ну как это — врач из Германии, а ему надо быть русским офицером? Он поехал в Казань, в местном университете досдал экзамены, получил диплом Казанского университета — и ушёл на фронт. Война кончилась — революция. Польша (и Вильнюс с ней), Литва получают самостоятельность, и у моего отца прекрасный ответ на стандартный пункт в анкете: «Есть ли родственники за границей?» — «Все». В нашей семье ситуация всегда была отягощена тем, что у нас были родственники за границей. До какого-то времени мы получали от них известия, потом перестали получать...

Однажды вы сказали, что, читая «Доктора Живаго», вы думали о своём отце. В глобальном смысле «Живаго» — это роман о судьбе. Что такое «судьба» для вас? В пастернаковском или в вашем собственном понимании.

Мне бы хотелось ответить на этот вопрос, но мне очень трудно на него ответить. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что, по большому счёту, я верю в предопределение. Просто так рассуждать о том, что такое судьба, мне сложно. Есть молитва, и в ней есть такие слова: «Благоговею и безмолствую перед святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами»⁶. Непостижимыми. Поэтому сказать вам, что такое судьба, я не могу — я не знаю. Слишком часто приходишь к мысли, что то или иное, возможно, было, как говорят, «на роду написано».

Между тем ведь с вами произошло самое что ни на есть чудо, чудесное спасение — вас, вашей жизни. Когда вы не поехали в Вильнюс, в Вильно, в первый день войны. Правильно?

Да! Этим можно только подтвердить то, что я сказал раньше. А я знаком с человеком, который всё-таки поехал в эти дни со своим отцом в Вильно повидаться с родными. К счастью, их успели впахнуть в последний, или даже в единственный поезд, который тогда сумел уйти из города. А все его вильненские родственники погибли вместе с моими. И когда мне из Вильнюсского еврейского музея прислали в своё время домовую книгу — домовую книгу Вильнюсского гетто — то я нашёл упоминания о его родственниках, адреса, где они жили в гетто. Вот вам судьба.

Почему вы не поехали тогда в Вильно?

Так решил милицейский капитан. Дело было в том, что тогда уже можно было поехать в Прибалтику, но требовался пропуск — Прибалтика вроде как своя, но и не своя. Пропуск выдавали в милиции. Мы с отцом пришли. Там сидел капитан. Он спросил: «Когда вы собираетесь ехать?» — «Такого-то числа». Он посмотрел в какие-то свои бумажки и говорит: «Нет. Поедете

⁶ Молитва святителя Филарета (1783–1867)

через пять дней». — «Как? У нас же билеты». — «Давайте мне ваши билеты». Хлоп-хлоп, печать, что-то написал на них и повторяет: «Через пять дней поедете, сейчас нельзя». Объяснил, кажется, что слишком много народу едет. Ну и всё! Я очень хорошо помню, как мы вышли из милиции, помню, где она была, недалеко от нашего дома, и как папа сказал: «Ну сейчас нам от мамы достанется!» Его это даже больше взволновало, чем отложенное свидание.

Но от мамы не досталось... От немцев тоже не досталось. Досталось не нам с отцом. Но, помните у поэта: «Я знаю, никакой моей вины, в том, что другие не пришли с войны... Но всё же, всё же, всё же...»

Потом, когда началось фашистское вторжение, вы дома обсуждали отмену той поездки?

В 1944 году, когда Советская армия освободила Вильнюс, к нам приехала племянница отца, молодая девушка, единственная из всей его семьи, уцелевшая в годы оккупации. Ей удалось бежать из гетто, пройти труднейшие испытания и выжить. Она рассказывала, хотя и не очень много, о войне в Вильнюсе, о преступлениях нацистов — и она стала для нас одним из первых, пусть устных авторов запрещённой в Советском Союзе «Чёрной книги».

Но особенно остро, очень лично я пережил события Холокоста, когда готовил к изданию записки своего дяди, Григория Шура, которые он вёл в Виленском гетто. Ценность записок в том, что это не воспоминания, не прошлое автора, а его настоящее. Листки с записями Григорий Шур переправлял из гетто на волю. Автор разделил участь тысяч погибших виленских евреев, а записки остались живы⁷. У рукописи своя одиссея, своя непостижимая судьба. Лишь в конце восьмидесятых она попала ко мне, и я начал работать с текстом, а также искал возможности его напечатать. Работа заняла несколько лет. Об этих годах своей жизни я говорю, что во многом «прожил их в гетто».

⁷ Григорий Шур. «Евреи в Вильно. Хроника 1941–1944 гг.» (2000). Вступительная статья и литературная обработка Владимира Порудоминского.

Ваш отец из евреев, мама из сибирских евреев, но тем не менее вы росли в русской среде, в русской культуре. Можно ли сказать, что ваше обращение как литератора и историка к еврейской теме — это своего рода компенсация того, что вы недополучили в детстве?

Да, пожалуй, можно так сказать. Я всегда в России очень остро чувствовал антисемитское дыхание в воздухе. С детства я знал, что я еврей — хотя удивительно, дома никогда это не подчёркивалось, никаких традиций, никаких разговоров, что «мы евреи, мы особенные» — упаси Бог, такого даже близко не было. Действительно, какие евреи, когда мать ни одного слова на идише не знала. Но антисемитизм мы все чувствовали очень остро, маму включая — она была очень встревоженным человеком, и я от неё взял эту черту — встревоженность.

До какого-то времени антисемитизм не был литературной темой, о нём нельзя было писать. Да я и материалом не располагал. А когда я начал заниматься записками из гетто, материал появился. И хотя я за пределами биографического жанра тогда ещё выступал очень редко, но тут я начал писать, потому что то, о чём пишу, уже очень хорошо себе представлял. Я написал несколько рассказов, и прорвались, явили себя боль, страх, чувство злости, которые с детства ранили душу при встрече с проявлениями антисемитизма. А я эти проявления, повторяю, видел.

Неверно, что в тридцатые годы антисемитизма не было. В тридцатые годы существовал антисемитизм. Другое дело, что он был «не вслух». То есть вслух, но не в газетах, например. Но он был.

Я некогда написал статью с подзаголовком «Реальный комментарий к стихотворению Маяковского «Жид»». Стихотворение 1928-го года. Тогда Маяковский очень активно работал в «Комсомольской правде»; за этот год набрался целый том публицистических стихов. Не лучшие стихи, но злободневные. И в стихотворении «Жид» запечатлено очень много фактов. Например — цитата: «...когда деловито и чинно / чуть не насмерть / жидёнка Бейраха / загоняла пьяная мастеровщина». Я подумал, а почему Бейрах? Я предположил, что это настоящая фамилия, подлинный факт. И тогда я предпринял следующее: я

просмотрел все основные центральные газеты двадцатых годов, и искал в них статьи, где шла речь об антисемитизме. Приходил в библиотеку, брал газеты и смотрел. И написал статью, где показал, что стихотворение Маяковского действительно основано на реальных фактах: и был этот жидёнок, Бейрах, и всё прочее ужасное, о чём пишет поэт. Фельетоны тогда печатались ещё не антисемитские, наоборот, против антисемитизма, который, как выяснилось через десять лет после революции, был, и весьма активный. В «Правде», например, появилась статья под названием «И пионерия заразилась». Представляете себе? В «Правде»! Статья о том, что среди детей, оказывается, тоже развит антисемитизм. О проявлениях антисемитизма, с которыми весьма часто и повсеместно приходилось сталкиваться, и написал в стихах Маяковский.

У вас вышло около 50 книг...

Да, даже больше.

В каком году вышла первая?

Я считаю, что в 1962-м. Биография Гаршина, серия «Жизнь замечательных людей». Ну, и до этого у меня были кое-какие книжки, я писал о мастерах производства... Несколько научно-познавательных книжек. Но это совсем другая литература, разумеется.

А какая книга на данный момент самая новая?

Самая новая книга вышла только что. К девяностолетию мне сделало подарок киевское издательство «Каяла», но так как я сейчас почти ничего не пишу и ничего нового собрать не могу, то это получился своего рода сборник. Одна часть — из моей недавней книги «Поверх написанного», затем там повествование, которое называется «Позднее время» — я написал его после больницы, после тяжёлой болезни, это довольно сложный текст, лирическая проза или мистическая. И ещё в книге один маленький рассказ, из двух страниц, который называется «Старик на обочине». Это интересный рассказ, тут я могу сказать, не скромничая. Я же очень много занимался Львом Толстым. И

вот я долго думал, примерялся, планировал написать о Льве Толстом повесть, немножко фантастическую. А в итоге написал две страницы. И вся книга тоже называется «Старик на обочине».

В 1962-м году вышла ваша первая книга. В девяностых, спустя тридцать лет, вы уехали из России. Очевидно, вы потеряли «физический» доступ к архивам. Почувствовали ли вы какое-то облегчение, что теперь вы можете начать писать то, что хотите и в чём есть какая-то потребность — или всё-таки было грустно?

Это вы очень тонко зацепили. Было совершенно двойственное чувство, должен вам признаться. С одной стороны, раскрепощение. Тем более, уезжая, я вообще думал, что больше писать не буду. Перед отъездом я очень энергично занимался Толстым, я почти работал в Толстовском музее, ну то есть я там был вне штата, но каждый день приходил туда, я там всех знал и с многими дружил. Я себе наметил несколько толстовских тем, взял материалы по ним и решил: приеду в Германию, если будет возможность, закончу эти работы, и, видимо, на этом и в целом закончу свою литературную жизнь. Не думал, что буду писать.

А потом, когда я приехал в Германию, то действительно закончил эти толстовские дела. И одновременно начал немного пробовать писать своё прозаическое. Плюс какие-то заготовки были. И вот я принялся писать свои рассказы, таким образом уходя от биографического жанра. И почувствовал колоссальное освобождение, как вы заметили. Я по сей день с наслаждением пишу прозу. Но по биографическому жанру скучаю.

Успевали ли вы в пятидесятых-шестидесятых годах писать прозу, хотя бы немного?

Нет, почти не успевал.

Когда, примерно в каком году были написаны ваши первые прозаические тексты, которые, условно говоря, сохранились в архиве?

Те, которые я печатаю сейчас, — в восьмидесятые.

Но важно и другое. У нас было совершенно искажённое

представление о биографическом жанре, которое появилось в тридцатые годы, когда создавалась серия ЖЗЛ — как о жанре, стоявшем в стороне от литературы художественной. Это были более или менее талантливые книги — в зависимости от того, написал ли их Тарле⁸ или не слишком наделённый нужным дарованием поделщик. Порой такие книги представляли собой нечто вроде газетных очерков, раздутых до двадцати, тридцати, сорока авторских листов. И считалось, что это и есть биографический жанр. А мы начали работать во время оттепели, когда ЖЗЛ переменяла обложку и даже нумерацию. В этой серии книги издаются под номерами — со дня основания в 1933 году. А в 1962-м появилась новая обложка, нынешняя, и книга, на которой было написано: «Выпуск 1», а в скобках — «334» — то есть новый и старый номера...

Эта книга была — булгаковский «Мольер».

«Мольер» стал в ЖЗЛ прорывом? Это же настоящий роман, один из лучших в русской литературе.

Да. «Мольер» был для нас как знамя. С него началась новая глава. И до этого существовал большой пласт замечательной биографической литературы: тыняновские «Смерть Вазир-Мухтара», «Кюхля», «Пушкин», ну, я уж не говорю про «Освобождение Толстого» Бунина, Борис Зайцев писал про Жуковского, Чехова, Тургенева, Паустовский писал повести биографические. Прекрасные книги были.

В шестидесятые годы о них вспомнили, обратились к ним как к примеру. В биографический жанр ворвалась проза. Здесь была своя «оттепель».

Так было и со мной. Через биографический жанр я шёл в прозу и вводил прозу в биографический жанр. И последняя моя книга в чисто биографическом жанре — роман (роман!) «Грустный солдат», о Всеволоде Гаршине. Это моя вторая книга о нём. Первой была работа в серии ЖЗЛ, — молодая, задорная книжка, которая всем очень понравилась, и мне всякие благодарности объявляли за то, что я написал текст, в котором чувствуется автор. Так и было. Мне сказали, что переживания

⁸ Евгений Тарле (1874–1955) — историк, педагог, биограф.

героя неотличимы от переживаний автора. Хвалили. И потом — в конце пути писателя биография — «Грустный солдат», по всем показателям роман, построенный как сопряжение монологов главных героев.

Поэтому когда спрашивают: «А вы писали прозу?», — отвечаю: да, я писал прозу, биографическую.

Когда вы вспоминаете свои первые книги или просматриваете их, что вы чувствуете — это вы? Или это какой-то другой Порудоминский?

Надо подумать... Я бы так сказал: конечно, это я. Но от самых первых книг я сейчас уж очень далеко.

Они у вас вызывают снисходительную улыбку или, может быть, неловкость?

Нет, нет. Я просто хорошо понимаю, что и как я тогда делал. И понимаю, что сейчас бы я сделал всё это... по-другому, гораздо лучше, интереснее. Впрочем, что-то есть в них и такое, что ныне, с годами, уже утрачено.

Вы себя считаете счастливым автором?

Да. Я очень счастливый автор. Я очень много написал. Писатели в моё время — трудное время в литературе — всегда рассказывали друг другу, как их мучила редакция, цензура... Но иногда всё было сложнее — подчас издательство вместе с автором боролось с цензурой, редакторы — с начальством; в трудных условиях вокруг появлялись люди, которые вместе с автором хотели выпустить лучшую книжку... Но вообще-то вспоминаешь — почти не было ни одной книги, которая прошла бы безоблачно.

У вас?

И у меня, и у большинства. Я ж не о Ленине писал. Правда, в чём-то о Ленине ещё труднее было писать. Это только кажется, что надо было о большевиках писать. О большевиках в чём-то ещё труднее. Вранья много, а верхи, цензура ещё пристальнее присматривались к каждому слову.

У меня есть книга «Ласточки над снежным полем» — не лучшая, честно говоря. Её герой, поэт Михаил Михайлов, закончил жизнь в очень дальней ссылке — в местечке Кадая, на китайской границе. Я когда писал, дважды там побывал: край света! И вот, копаясь в архивах, я обнаружил венгра, участника европейского революционного движения, который каким-то образом, уже не помню, попал в Россию, и его тоже сослали в эту Кадаю, где он и умер. И я написал о нём абзац или два. Взволновало это судьбы скрещенье: вот русский поэт, а вот венгр встречаются на краю света, стоят на высокой сопке (и я на ней стоял), смотрят вдаль, в прошлое, а им чудится — в будущее; на этой сопке их и похоронят.

Но мне редактор сказала: «В том, что вы написали, ничего плохого. У нас никаких претензий нет. Но давайте выкинем эти два абзаца». — «Почему? Для меня это не так важно, но ведь интересная деталь: русский поэт на краю земли, а с ним рядом революционер-венгр». — «В том-то и дело. Поскольку он венгр, надо будет отдать рукопись в Институт международного рабочего движения на рецензию. Кто их знает, сколько они там продержат, что им в голову придёт?» Можно сейчас всё это себе представить? Так что и про революционеров тоже писать было хлопотно...

Но в биографическом жанре всё же можно было сказать многое, чего не скажешь в книге о современности. Как бы ни говорили, что «нам нужен такой Гоголь, который нам нужен», как бы цитаты классиков ни ломали, ни выкидывали, всё равно можно было, когда пишешь о Льве Толстом, о Гоголе, о Пушкине, рассказать и сказать многое, чего не скажешь в прозе о сегодняшней жизни.

Во время и после оттепели все издательства бросились создавать биографические серии — появились «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях», «Пламенные революционеры». Кто там печатался, кто писал такие книги? Юрий Трифонов, Натан Эйдельман, Булат Окуджава, Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин. Почему? Потому что это было окно. Для многих авторов и во многих смыслах.

Можно ли утверждать, что биографический жанр спас вас от менее счастливой человеческой судьбы?

Да не то что спас меня от менее счастливой судьбы, он просто и есть моя судьба. Но о том, о чём вы спрашиваете, я не думал. Говорю вам совершенно искренне: я никогда не думал о том, что биографический жанр уводит или спасает меня от чего-то, что я мог бы писать прозу о современности и имел бы из-за этого много всяких неприятностей. Я занимался своим делом.

Что вас сейчас волнует — как автора?

Мне хочется просто писать о людях. Я бы с удовольствием сейчас, если бы у меня получилось, написал. Но что-то не пишется.

Недавно я начал новый рассказ. Написал несколько страниц. И казалось, что из него выйдет толк. Было чуть страшновато над ним работать, потому что он весь был на грани жизни и смерти. Вообще я про смерть не боюсь писать, у меня есть много о ней, но, тем не менее, произошло вот что. Я шёл по лестнице домой, и вдруг мне показалось, что кто-то перед моим лицом выставил раскрытую ладонь и меня таким образом остановил. Достаточно грубо, словно милиционер. Остановил и сказал мне, чтобы я не писал этот рассказ. И я бросил. Испугался. Вот, кстати, тоже вопрос о судьбе...

Но всего интереснее для меня самого сейчас пытаться передавать тоненькую плёночку состояния человека.

Что вас радует — как человека?

Я сейчас очень привязан к детям. Меня дети радуют. И внуки. Вообще, меня очень радует общение с людьми. Я вам ещё больше скажу. Последнее время у меня появилась огромная радость к простейшим чертам существования — меня радует листва, меня радуют деревья, вода, трава, земля, дождь, солнце.

Я почти каждый день выхожу пройтись. Мы с моим зятем совершаем прогулки — у нас рядом большой парк, а в нём озеро. И в состав нашего гуляния, иногда достаточно долгого, длинного, непременно входит посидеть на берегу этого озера. И я каждый раз поражаюсь разнице воды, её цвету, её запаху, её отношениям со мной — и это такая радость... 

Сергей Невский

Берлин меняет абсолютно всех, кто к этому готов

Эссе в диалоге

О Берлине и Москве, о работе «там» и «тут», об эмиграции «туда» и «сюда», об отъездах и возвращениях, о (не)возможности (ре)интеграции в диалоге с главным редактором журнала «Берлин.Берега» Григорием Аросевым рассуждает композитор, куратор проекта «Платформа» Сергей Невский.

Григорий Аросев. Мы разговариваем с вами в 2018 году, но иногда нас охватывает ощущение даже не цикличности истории, а отсутствия какого угодно в чём угодно прогресса, если не наличие регресса — хотя, когда мы начинаем наш диалог, вы находитесь в Новосибирске, куда прилетели из Лондона, я — в итальянском Бриндизи (прилетел из Бонна), где мы оба окажемся на последний репликах, мы не знаем, но живём мы оба на соседних улицах в Берлине. Расстояния в одном измерении исчезают, но с другом, возможно, даже увеличиваются. Мы уезжаем, но мы не уезжаем. Получается, отсутствие возможности покинуть насовсем какое-либо место — признак «нашего времени» (при всей условности этого термина)?

Сергей Невский. Когда я впервые задумался об отъезде из России, а это была весна 1991 года, то всё это так и воспринималось — как разрыв, начало новой жизни и подведение черты под старой. Были пафосные прощальные вечеринки, объятия в Шереметьево и на Белорусском вокзале, откуда уходили поезда в Кёльн, Амстердам или Париж. Коммуникации между двумя мирами не было никакой. В те времена чтобы поговорить с кем-то, живущим, например, во Франции, надо было заказывать разговор через оператора. Когда я впервые поехал на поезде через Варшаву в Дрезден, продавщица билетов в международных кассах на Дмитровке сверяла расписание поездов по огромным книгам, чтобы составить мне маршрут. Для

отъезда требовалась выездная виза, а чтобы обменять рубли на разрешённые к провозу двести долларов в единственном банке на Ленинградском шоссе, нужно было три месяца стоять в очереди и отмечаться. Разумеется и в посольствах для получения визы (даже транзитной на двадцать четыре часа, потому что никакого Шенгена не было) тоже нужно было стоять всю ночь. Я помню, как ночевал у немецкого посольства с женщиной-диабетиком, которая делала себе укол, и как ночью пришли жители общежития Университета Дружбы Народов, порвали все списки и устроили альтернативную очередь.

Тем временем в Москве творился полный апокалипсис, русские танки ездили по Риге и Вильнюсу, у населения отжали сбережения, рубль упал в десять раз по официальному курсу и по неофициальному тоже, а улицы Москвы патрулировали армия и ОМОН. Было понятно, что ничем хорошим это не кончится, и массовый отъезд был естественной формой реакции на эти события. Поэтому, когда я уезжал учиться в 1992 году, я, конечно, думал, что уезжаю навсегда, думал строить новую жизнь с нуля и совсем не планировал когда-либо работать в России. Я там и не работал до 2005 года. Где-то с середины девяностых люди стали ездить в обоих направлениях, понятие эмиграции видоизменилось, стало расплывчатым. Появилась практика длительных командировок. А после 2001 года вновь появились беженцы и эмигранты, которым нельзя вернуться, потому что на родине на них завели дело, например. Таких людей в последнее время стало очень много.

Но я думаю, что на самом деле вы говорите не о физическом переезде и невозможности/возможности физического отъезда, а о некоей ментальной перестройке и вариантах погружения в новую культурную среду. Несколько лет назад мне попался пост в Живом Журнале из серии «Один мой день» — о том, как живущая в окрестностях Мюнхена русская семья собирается на *Oktoberfest*. Разумеется, дамы были в дирндль, а мужчины в кожаных штанах. Выглядело это довольно устрашающе. Между тем, когда в 1992 году я приехал учиться в Дрезден, бывший тогда столицей контркультуры, моими самыми близкими друзьями в консерватории были студенты-пианисты из Мюнхена, которые осознанно бежали в полуразрушенную Восточную Германию от

всего этого великолепия. Эти друзья подарили мне мои первые немецкие книжки: *Untergeber* Томаса Бернхарда и «Открытие медлительности» (*Die Entdeckung der Langsamkeit*) Стена Надольны. Между прочим, тогда же, в начале девяностых, я познакомился и со сказками и комиксами Яноша. Позже, когда я переехал в Берлин, самыми обсуждаемыми авторами у моих однокурсников были Арно Шмидт, Хайнер Мюллер и Вольф Вондрачек. Ну а ещё позже, когда стал общаться со своими сверстниками в Берлине, к ним добавились проза Айнара Шлеефа, которую я полюбил на всю жизнь, тексты Марселя Байера и Михаэля Лентца, — с последним я даже дважды работал вместе. После резиденции в Италии к ним добавились стихи Герда Петера Айгнера, с которым я там подружился, и проза Хуберта Фихте. Таким образом, главная моя интеграция в немецкую жизнь произошла через труднопереводимую немецкую литературу. Я очень люблю немецкий язык, с удовольствием пишу и говорю на нём, и очень жалею, что русское ухо часто не чувствует его прелести. Но я не могу сказать, что я совершенно вписался в местный ландшафт, когда приходится заполнять какую-нибудь налоговую декларацию, я особенно остро это чувствую.

Чисто биографически моя жизнь делится на два периода. До 2005 года я пытался быть таким идеально интегрированным товарищем, отряхнувшим прах и так далее, со строго немецким кругом друзей и строго немецкими и европейскими заказами и резиденциями. В Россию я приезжал раз в год, пугливо озираясь (в принципе, было от чего), навещал родных и близких и, перекрестившись, уезжал, рассказывая всем, какой страшный экзистенциальный опыт свидания с родиной я пережил, то есть — вёл себя как стереотипный местечковый эмигрант, каких тут большинство.

С 2005 случилось несколько вещей: я открыл для себя русский интернет (и до сих пор не могу закрыть), началась работа, а потом и личная жизнь в России, и (что самое болезненное) все или почти все мои немецкие друзья, окончив вуз, уехали из Берлина, потому что работы в нашем нищем городе не было и не предвиделось, а установить новые контакты, кроме профессиональных, было сложно, просто потому что я вышел из ту-

совочного возраста. Началась — параллельно с немецкой — моя русская карьера, которая кульминировала оперой «Франциск» в Большом театре осенью 2012 года и пятью годами кураторских проектов, сначала на «Платформе» у Кирилла Серебренникова, а затем и на других фестивалях — в Москве, Архангельске, Воронеже и Нижнем Новгороде. Моя работа в России совпала с колоссальным окном возможностей — массовым интересом к современной музыке, который, впрочем, возник не без нашего участия, и коротким периодом «романа власти с левым искусством» — как это называла Надежда Мандельштам.

После того, как 2012 году к власти вернулся Путин в компании с Мединским, и ФСБ, прикрываясь улюлюкающей советской интеллигенцией, которая ненавидела нас едва ли не сильнее, чем РПЦ с ФСБ вместе взятые, начали мочить всё, что более-менее имело отношение к современному искусству, да и вообще к свободе высказывания, мне показалось, что в России всё закончилось, и я перевёл все свои дела в Германию. Но тем не менее какие-то хорошие и знаковые проекты у меня там остались, и, пока есть возможность работать в России, я это делаю. А в Германии мои десять лет опыта работы в русской культурной среде оказались более чем полезны, я смог конвертировать этот багаж максимально, как мне кажется. И поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, можно ли уехать откуда-либо окончательно, — я не уверен, что это нужно. В конце концов, на художественном рынке мы предлагаем свою инакость, а не способность сливаться с пейзажем.

Аросев. К вопросу о пейзаже. Иногда (а то и зачастую), как показывает опыт, пейзажа вообще не существует: кроме названия улицы за окном и вывесок на магазинах (и то не на всех), человека в Германии с Германией не связывает ничего — во многих городах существуют «маленькие Турции», «маленькие России», «маленькие Сирии» и прочие, где приезжий себя ощущает почти как «дома». Одних эмигрантов это радует, другие равнодушны, третьи в подобных случаях нервничают. Лично я однозначно из третьих, я стараюсь — успешно! — таких ситуаций в своём быту избегать, потому что я, покидая Россию, уезжал всё-таки в Германию и не собирался приезжать в «Россию

под другим флагом», и поэтому мне сложно представить себя в похожих условиях. Мне вполне хватает русскоязычной работы и русскоязычной же деятельности — лекций, выступлений, издания вот этого журнала. Но кто его знает, как и о чём бы я писал, если бы вокруг меня и чисто осязаемо, то есть на соседней улице, была бы «Россия» — какой-нибудь универсам «Московский», ресторан «Шик», кафе «Лисья нора» и книжный магазин «Контрабас». Настроение, предположительно, было бы совсем другим. Вы пишете музыку, вещь, совершенно для меня восхитительную и непостижимую. Играет ли роль для васшей авторской, не кураторской работы пейзаж за окном — привычный ли это Берлин, Пермь, Лондон или вообще Паттайя, где вы можете оказаться на отдыхе?

Невский. Насчёт Паттайи не знаю, я никогда не был в Азии (кроме Новосибирска, если его можно назвать Азией), а так — конечно. У меня были длинные, от трёх месяцев до полугода резиденции — в Париже, в итальянской деревне под Римом и в Пасифик Палисейдс, на окраине Лос-Анджелеса, и, находясь там, я чувствовал, как моё восприятие мира и способ написания музыки, чувствительность к звуку и времени меняются.

Когда вы каждый день смотрите на горный ландшафт с океаном или в двор-колодец, вы пишете по-разному. Когда я работаю и долго нахожусь в поездках в незнакомых городах, то, чтобы сориентироваться, я обычно смотрю, где находится ближайший парк и начинаю там пробежку по утрам. Так, на тактильном уровне и происходитприятие незнакомого пейзажа. В Бирмингеме я бегал вдоль каналов, которые проложили там в девятнадцатом веке для перевозки грузов, Во Львовe — в Парке имени Франко, в Перми — по набережной Камы, а в Новосибирске — в заброшенном сквере прямо напротив здания ЗАКС среди очень красивых высотных зданий. Программа в моём телефоне всё это запоминает, и я, прокручивая назад, часто смотрю, где именно я бегал в Трире или в Венеции (там можно бегать!). Насколько я знаю, вы тоже очень много путешествуете. Не знаю, как у вас, но мне кажется, что частые путешествия избавляют от снобизма. Ну или хотя бы от обобщений или страхов, с ними связанных. И чем больше мы видим, тем более индивидуальны наши оценки отдельных мест.

Для меня самым важным фактором в восприятии незнакомых мест является связь с работой, востребованность. Скажем, в Германии очень дорогое и важное для меня мест — Штутгарт. У меня там было больше десяти премьер, сейчас я планирую там большой оперный проект, работаю с замечательным местным оркестром и вокальным ансамблем, ну и получил там когда-то важную премию из рук городского начальства... В общем, взаимодействие с этим городом, очень богатым и просвещённым одновременно, мне весьма по душе. В Штутгарте — так сложилось исторически — любят современную музыку и современное искусство и очень много инвестируют в производство нового, это часть их репутации. А есть города, где денег куда больше, но к современной музыке, к современному искусству они абсолютно индифферентны. Гамбург, Рим или Лондон, например. Они мне очень симпатичны как декорация, и я очень люблю там бывать, но я понимаю, что люди моей профессии должны там либо адаптироваться к очень уродливой коммерческой ситуации — либо сдохнуть. А большинству русских очень нравятся именно такие города, похожие на красивую декорацию. Наверное потому, что они тратят там деньги, заработанные в других местах. Но я же не декорацию себе выбираю, а место, где мне хорошо и где моя работа востребована. Поэтому можно сказать, что востребованность, профессиональная вовлечённость определяют для меня выбор места, где я живу. Поэтому Берлин, где у меня издатель, агент, какие-то рабочие планы и профессиональная среда — да, и Москва с Питером тоже да. И в этом отношении я дома и там, и там, поэтому, живя в Берлине я не выстраиваю никакой России вокруг себя, у меня замечательные немецкие и русские друзья, которые дополняют друг друга. Так же как и мои немецкие и русские работодатели вполне гармонично друг друга дополняют.

Аросев. То, что вы говорите, идеально вписывается в расхожее, но и весьма верное понимание Берлина как города хоть и небогатого, но всё-таки предельно свободного и очень мультикультурного (пресловутое «мульти-культи»). Вы оказались в Берлине очень молодым человеком и почти в самое судьбоносное время, я — просто молодым и уже совсем в другое. Вы

с Берлином нашли друг друга, он вас поменял, или это вы (в том числе вы!) его поменяли?

Невский. Берлин меняет абсолютно всех, кто к этому готов. Прежде всего потому, что обычные мирские иерархии, — представление об успехе, богатстве и, скажем так, интегрированность в систему ценностей англосаксонского капитализма тут ничего не значат. Любые готовые модели мира тут ставятся под сомнение, а ирония, совмещённая с обаятельным местным хамством, — главный инструмент взаимодействия с реальностью. Я никогда не забуду, как, приехав после второго курса из Дрездена, сыграл на студенческом концерте в Университете искусств фортепианную партию в своём собственном сочинении, одетый, как мне казалось, правильно: в смокинг и рубашку с бабочкой. После концерта ко мне подошёл однокурсник, ныне — один из самых известных немецких композиторов, и сказал: «Играешь ты, конечно, хорошо, но что у тебя за прикид — официантом, что ли, устроился?»

Я к Берлину привыкал очень долго, и в безумной жизни девяностых практически не участвовал, потому что, как и полагается студенту консерватории, был закомплексованным задротом. Очень постепенно выстраивался круг друзей, и некая волшебная кулиса открылась только в 1999 году, когда я начал интересоваться андеграундной музыкальной сценой, домашними импровизационными концертами и поселился в доме на *Alte Schönhauser Straße* недалеко от Хакешпер Маркт, где о каждом соседе можно было снимать отдельный сериал. В этом доме жил мой друг Йорг, ныне профессор истории искусств в Пассау, в соседней квартире был нелегальный бар по средам (старожилы Берлина помнят, что на каждый день недели приходилось несколько нелегальных баров), где проходили выставки концепт-арта и звучала тихая электронная музыка. Туалет у меня был на лестнице, мы его делили с 87-летней фрау Арнольд, а ещё сверху жил Штефан, таксист. В соседнем подъезде обитала бывшая проститутка Мэри, которая стреляла из газового пистолета в лестничный проём, когда ей что-то не нравилось, а рядом с ней — бывшая танцовщица из Фридрихштадтпаласта, владелица цветочной лавки, которая каждый Новый год украшала свой

балкон ёлочными гирляндами — ну и оставляла их там висеть до июля. В передней части дома в роскошной полуразрушенной квартире с высокими потолками располагался салон, настоящий, как у Анны Шерер в «Войне и мире». Там обсуждались вопросы искусства, проводились литературные чтения и дегустировалось вино. Меня туда пригласили не сразу, а только после того как о моём дебюте в Концертхаузе написал *Tagesspiegel*. В общем, это был такой слепок берлинского общества, которого больше, увы, не существует. Летом мы с соседями сажали огурцы и кабачки на заднем дворе, отбивались от инвесторов, которые хотели нас оттуда выселить, а однажды, возвращаясь с концерта, я увидел, что в арке между первым и вторым дворами стоит стол со свечами, и все мои соседи пьют вино и слушают первый альбом Земфиры, что для весны 2000 года, конечно, требовало некоторой осведомлённости.

Именно благодаря этим прекрасным соседям Берлин стал для меня домом, а с некоторыми из них мы до сих пор встречаемся. Как-то раз, когда у меня было совсем туго с деньгами, один из них, тот, у которого был нелегальный бар, позвал меня работать на стройку. Занимались мы гидротермическими измерениями, забивая полые металлические штыри в котлован торгового центра на Фридрихштрассе. Состав бригады напоминал список персонажей пьесы Горького «На дне». Там был Философ, Фотограф, Актёр, ну и я, грешный. Один раз, когда я нечаянно погнул штырь шведским отбойным молотком «Кобра», к нам подошёл старый рабочий и на неподражаемом берлинском диалекте произнёс: «Мне кажется, в вашей бригаде работают только парикмахеры и диджеи». Вот это и была моя настоящая берлинская социализация, о которой я вспоминаю с бесконечной теплотой.

Когда осенью 2001 года я неожиданно получил полугодовую стипендию в Париже, мои соседи и друзья-музыканты устроили для меня кукольное представление — «Петю и Волка», сыграв его на русском и французском языках. В центральном Берлине-Митте я обрёл рай человеческих и соседских отношений, несравнимый ни с чем. Последующее переселение в мой нынешний район, Пренцлауэр Берг, я поначалу воспринял как ссылку, но сейчас, понятное дело, не жалею.

Берлин меняет, конечно, прежде всего готовностью вскрывать и ставить под вопрос любой устоявшийся норматив. Собственно, именно этой способности нас и учили в местной консерватории, так что в итоге профессиональные навыки и жизненный опыт стали одним целым.

Аросев. Как я уже упоминал в самом начале, мы с вами живём в одном районе, том самом Пренцлауэр Берге, от меня до вас — минут десять на велосипеде. Район наш — модный, красивый, со старыми домами, плиточными мостовыми и уютными кафе. Мне он — район — очень нравится, предполагаю, что вам тоже. Можете себе представить, что вы живёте и так же хорошо себя изнутри чувствуете на окраине Берлина? В другом городе Германии? В другой стране Европы? На другом континенте? (Подчеркну: не просто «живёте», а именно «хорошо себя чувствуете».)

Невский. Понятно, что у большинства людей Берлин ассоциируется прежде всего с сочетанием комфорта обыденной жизни и плотностью контркультуры на квадратный километр. Новоприбывшие очарованы пестротой клубной и концертной жизни и, в целом, рады той атмосфере, которую Берлин предлагает. Другое дело, что за двадцать четыре года здесь понимаешь, что весь этот милый контркультурный облик — тоже товар, что вечная молодость недостижима, и в сорок с лишним лет скакать на рейве тоже как-то странно, хотя я знаю очень много людей, которые в сорок пытаются жить так, как будто им девятнадцать, и, надо сказать, Берлин очень подстёгивает этот инфантилизм.

Бесконечное количество моих берлинских земляков на вопрос о роде занятий отвечают уклончиво (моя подруга, художница Зоя Черкасски ласково называла таких *Berlinische Dölboeben*) и, конечно, я не очень хотел бы на старости лет пополнять их ряды. Ну и понятно, что в какой-то момент хочется не только красивых стен с граффити и интересных культурных событий, а чтобы, скажем, городской транспорт или учреждения нормально работали, а три станции метро, которые строят вот уже двадцать лет, наконец, достроили, не говоря об аэропорте. Потому что бесконечный культ альтернативности, который Берлин всё время воспроизводит, тоже ведь провинциален. И в самом Берлине, конечно, есть что-то от деревенского панка со значком «Анархия», который застрял в девяностых.

Хочется жить в городе, где при твоей жизни ещё что-то изменится, а Берлин, который очень интенсивно менялся в девяностые, сегодня всё меньше похож на такой город. Поэтому живу я пока тут — с большим удовольствием, — но деньги всё равно зарабатываю, в основном, на юге Германии, в Австрии, Швейцарии, Франции, Норвегии или в России и, в принципе, готов к тому, чтобы жить где-то ещё. Из немецких городов я очень хорошо себя чувствую в Дрездене, где провёл раннюю молодость, и во Фрайбурге, где музыка дышит и живёт всюду. Что касается других континентов, — я занимаюсь очень специальным делом, современной музыкой, спрос на которую есть только в Центральной, Западной и Северной Европе. Это очень небольшой рынок, созданный, скажем так, определённой ветвью европейской философии, её восприятием. Наша работа нужна там, где люди готовы сомневаться. И там, где у людей есть деньги, чтобы платить за сомнения, облечённые в форму искусства. Это очень небольшой круг стран, как ни странно, Россия тоже пока туда входит. Несмотря на всю реакционность в культурной и обычной политике, российская современная музыка или театр по-прежнему находятся на одной волне с западноевропейскими и опережают по уровню продукции большинство восточноевропейских стран. Мы совсем недавно говорили об этом с замечательным литовским драматургом Марюсом Ивашквичюсом, к пьесе которого я написал музыку в Новосибирске.

Прежде всего этот высокий уровень возник благодаря культурному обмену последней четверти века, да и высокому уровню внутренних инвестиций в культуру, несравнимому с Восточной Европой. Впрочем, российская ситуация выдерживает сравнение не только с Восточной Европой. Например, ансамблей и фестивалей современной музыки в России куда больше, чем в Великобритании, не говоря о странах вроде Чехии, где вся повестка современной музыки ограничивается одним, правда, прекрасным фестивалем в Остраве. Так что ландшафт востребованности моей профессии довольно парадоксален. И, в общем, эта парадоксальность меня радует и даёт некоторую надежду на перемены.

Аросев. Вы остаётесь в контексте как минимум двух стран, и это, как я предполагаю, для настоящего художника (в широком понимании слова) замечательно. Но как быть с теми, у кого нет и не будет такой возможности? Если выпало в империи родиться, лучше жить — где? В глухой провинции у моря? Или во внутренней эмиграции? Или всё-таки «здесь и сейчас»?

Невский. Если внутренняя эмиграция (да и жизнь здесь и сейчас) в России где-то и возможна, то как раз не в провинции, а в мегаполисе. Делать что-то серьёзное, что-то своё и не ходить строем в Москве, в Питере или в Перми всё-таки куда проще, у любого свободно мыслящего человека там чисто статистически будет больше единомышленников. Между прочим, мои предки по материнской линии жили как раз «в провинции у моря», в Крыму. Казалось бы, милое захолустье, а семью нашу потрянуло вместе с этим чудесным местом по полной программе: Первая Мировая, Гражданская войны, красный террор, потом — раскулачивание, бегство из сталинских лагерей, оккупация и партизанское движение, послевоенные трудности, потом — разруха и упадок, наступившие после 1991 года, и, наконец, для полного счастья — аннексия с фейерверком. Когда моя мама приехала по семейным делам в Крым в марте 2014 года и увидела БТРы на улицах, она позвонила мне и сказала: «Ты знаешь, я всегда любила читать книжки Бабеля и Паустовского про революцию и гражданскую войну, но совершенно не планировала в чём-то подобном участвовать». В своё время мой прадедущка, Тимофей Кириллович Кравченко, тот, что бежал из лагеря, возил соль и табак между фронтами Гражданской войны, через Сиваш от красных к белым и обратно. Когда я спросил у своего дяди, изучавшего историю нашей семьи, как прадедущке удалось выжить во всех этих обстоятельствах, дядя ответил: «Просто он умел очень метко стрелять с большого расстояния». Вот и всё, что я могу сказать про внутреннюю эмиграцию.

Поэтому я всем молодым коллегам советую уезжать учиться в Европу. Не потому что в России нет перспектив, они есть, а для того, чтобы не абсолютизировать локальный контекст. Очень многие молодые российские композиторы сейчас интегрированы в международную фестивальную среду, кто-то из них живёт в Москве, а кто-то в Бостоне или Вене, но граница

проходит именно в этой зоне вовлечённости в контекст, а не в том, где человек проживает. От провинциальности избавляет нас необходимость защищать свою эстетическую позицию и отстаивать её, а никак не защищённость социальная или географическая. Художественный мир ленив, русских фамилий никто не в состоянии запомнить, если вам удалось постоянно присутствовать и творить в мировом художественном контексте — это огромное достижение, ибо оно требует трудолюбия, открытости и рефлексии, а место жительства тут абсолютно вторично.

Что касается эмиграции физической — она хороша до двадцати пяти лет. Позже шансов почувствовать себя своим в местной среде практически не остаётся. В моём поколении композиторов уехали почти все, большинство глубоко несчастны. Как бы прекрасно ни звучала максима Бродского «лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии», мало кто хочет испытывать её на себе. Никто не хочет быть неудачником. А отсутствие реализации в новой среде часто превращает людей в моралистов. Между тем, эмиграция не делает нас лучше. Оттого, что вы переехали с Ленинского проспекта в Шарлоттенбург, вы не станете гибридом Махатмы Ганди и Ханны Арендт, такое чудо возможно только в вашем фейсбуке. Но мало кто отдаёт себе в этом отчёт. Единственная надежда для всех нас, независимо от того, где человек живёт, — то, что культура существует в несколько более широких временных рамках, чем любой политический режим. Неизвестно, сколько продлится тот плутоватый идиотизм, который определяет лицо нынешней России, но уже сегодня ясно, что у культурного контекста есть шанс пережить контекст политический. И в этом стремлении — пережить настоящее, преодолеть его муторный привкус — художники, как живущие в России, так и живущие за её пределами, абсолютно едины. 

*Новосибирск — Бриндизи — Берлин — Бонн — Рим.
Сентябрь—октябрь 2018*

Елена Королева

Под другим углом смерти

Эссе

Мысли, которые не дают покоя, необходимо выплеснуть на бумагу, иначе они съедят тебя изнутри. Немного страшно от того, что, облачившись в слова, они приобретают некую силу, которая отныне способна действовать не только на тебя, но и вызвать деформацию или придать «ускорение» чужим размышлениям. Однако я верю, что только постоянное проговаривание темы, волнующей меня, словно мантры, способно повлиять на наше сознание и, возможно, помочь обрести духовное равновесие.

Полгода назад я потеряла подругу. С тех пор не прошло ни дня, чтобы я не думала о ней. Порой этот факт меня пугает. Наверное, я боюсь, что однажды наступит время, когда я осознаю, что именно сегодня я не коснулась её своими воспоминаниями ни разу, ничто не напомнило мне о ней, и вакуум, образовавшийся с её уходом, начал заполняться кислородом. Боюсь почувствовать себя в этот момент предателем.

Когда уходят близкие люди, память о них создаёт иллюзию того, что вы всё ещё вместе. Воспоминания могут быть разными, мимолётными и затягивающими, размеренными и сумбурными, но они не приносят боли, скорее наоборот, в них мы погружаемся с исступлением, пытаясь оградить себя от горькой реальности.

Отрезвляюще действуют страницы в социальных сетях, судьба которых, как правило, после смерти пользователя остаётся нерешённой. Учётная запись человека продолжает жить своей жизнью, его фото с завидной регулярностью попадает на глаза, словно приглашая посетить профиль. И ты, поддавшись этому искушению, оказываешься на странице человека, которого уже нет. Страница есть, а человека нет. И вот ты снова тщательно изучаешь старые записи в хронике, которые

уже помнишь наизусть, обновляешь приложение в тщетной попытке прочесть новые, хотя заранее знаешь, что их нет и не будет. Но самой болезненной является надпись, которая выглядит как приговор или эпитафия: пользователь был здесь последний раз... и указан день. И вот проходит время, а эта дата обречённо остаётся неизменной, пока вовсе не исчезнет, утратив своё значение за сроком давности. Последняя временная нить, связывающая два мира, в котором человек был и в котором его нет, оказывается внезапно оборвана.

Чем для нас сейчас служит страница в социальных сетях человека, покинувшего этот мир? Во многих культурах люди стремились к созданию заветных мест, куда можно прийти, чтобы обратиться к тому, кого уже нет. Развитие технологий и формирование виртуального мира приводит к искажению старых понятий и, как следствие, к появлению нового пространства для излияния скорби. Несмотря на «побочные эффекты», описанные выше, для меня подобный профиль человека становится своеобразным местом памяти, неким монументом, где я могу остаться наедине с тем, кто был мне дорог. Есть те, кто не готов к открытому диалогу, но для других «пробывание» здесь является почти физической необходимостью, которая помогает пережить горе. Каждый справляется с этим по-разному — кто-то продолжает оставлять поздравления с днем рождения на стене, отдавая дань памяти, кто-то делится мыслями в надежде быть услышанным. Мы пытаемся всеми силами вдохнуть жизнь в страницу, чтобы она не выглядела как заброшенная могила в глубине кладбища.

Профиль доносит до нас отголоски жизни человека, которого мы потеряли, точно так же, как Вселенная дарит нам свет уже не существующих звезд. Но если свет, представляющий собой чистое проявление природы своего источника, способен приоткрыть нам прошлое погасших небесных тел, то насколько профиль в социальных сетях отражает сущность своего владельца? Сейчас люди проводят так много времени в интернете, что порой вовсе выпадают из реальности. Под эгидой виртуального мира человечество чувствует себя более уверенно и защищённо. Здесь проще перевоплощаться в разные образы,

можно выдавать желаемое за действительное, здесь можно стать другим, лишая себя при этом уязвимости. Большое количество друзей, непринуждённое цитирование великих философов с полным ощущением причастности к сказанному, копирование «умных» записей из многочисленных сообществ — всё это выглядит, как минимум, незрело. Что остаётся здесь от самого человека, выступает ли страница как проекция внутреннего мира, или и здесь вмешался в дело «редактор», который способен изменить нашу сущность до неузнаваемости? И вот когда мы посещаем профиль в надежде ещё раз «повидаться» с человеком, мы рискуем увидеть не того, кого мы любили, а кого-то чужого, безликого, к нам непричастного. Безусловно, социальные сети — это не последняя инстанция, к которой обращаются люди, потерявшие близких, но, тем не менее, сложно отрицать значение их присутствия в нашей жизни как некоего сурrogата, дающего возможность забыться в моменты потерь.

Пролистывая страницы реальной и виртуальной жизни, мало того, что замечаешь постепенное размытие их границ, так и вообще существование начинает казаться одним сплошным наваждением, на фоне которого смерть предстаёт кристально чистой и ясной в своей безусловности. Более того, смерть способна нести созидательную функцию, наполняя смыслом всё в нашей жизни. Бессознательное или осознанное желание оставить что-нибудь после себя обусловлено не чем иным, как страхом небытия. Мы всевозможными способами пытаемся оставить свой отпечаток в этом мире. И тут плавающее на поверхности «Зачем?» способно любого увлечь в самые тёмные глубины сознания. Это удивительный, на мой взгляд, вопрос, который способен испепелить мозг и всему в этом мире придать волнующую бессмысленность.

При всём том, что понимание неотвратимости смерти служит своеобразным стимулом для деятельности, люди склонны абстрагироваться от мыслей о ней, что вполне понятно, так как человеку трудно и страшно примерить её на себя. «Смерть — это то, что бывает с другими» Бродского как нельзя более точно передаёт отношение человека к этому феномену. Мы знаем, что смертны, но живём так, словно вечны. И как только мы заходим

слишком далеко в своих заблуждениях, отрезвляющим ударом служит смерть. Но не наша собственная, а тех, кто так близок. И неважно, как это случилось — в тягостном ожидании или с оглушающей скоростью. К такому редко бываешь готов.

Весть о смерти сродни удару под дых — сначала резкая боль, невозможность дышать и тем более говорить, которые потом отпускают, а вот разогнуться ещё долго не получается. В качестве последствий — бесконечный назойливый поток мыслей. О жизни. О смерти. В этот момент вся присущая жизни туманность спадает, и она обнажается перед нами в общей своей простоте. Становится понятно, что важно, а что нет, одно утрачивает ценность, а другое, напротив, приобретает смысл, приходят плотное осознание, что мы всё-таки тленны, и необходимость срочно менять своё отношение к жизни.

Мы горько переживаем утрату, иступлённо занимаемся самобичеванием, нас терзает отсутствие возможности ещё хотя бы раз поговорить с человеком и сказать ему то, что осталось несказанным. Мы настолько поглощены переживанием собственных эмоций, что не способны заметить, что получили шанс! Шанс осознать, что вокруг нас есть ещё немало людей, каждый из которых может уйти в любую минуту, но им пока ещё не поздно что-либо сказать!

Взгляд на жизнь через призму смерти способен открыть глаза на многие вещи, подарить нам способность видеть счастье там, где раньше не представлялось возможным, не откладывать то, что для нас так важно, ценить то, что имеем. Но мгновенно пришедшее понимание так же стремительно покидает нас, и вот мы вновь забываем простые истины, погружаясь в морок бытия.

Но есть и то, что смерть безвозмездно оставляет после себя, что проигнорировать невозможно — огромную пустоту в душе. Одни сознательно продолжают жить с ней дальше, другие стараются закрыть на неё глаза, а кто-то пытается избавиться, захламывая её будничными проблемами. Я долго думала над тем, как бы хотела распорядиться подобным пространством, образовавшимся помимо моей воли, но полноправно принадлежащим мне. Я не хочу его игнорировать и отрицать, так как оно является напоминанием о важном, но я мечтаю украсить

его черноту светлыми вещами, на которые вдохновляют меня ушедшие люди. В этом, пожалуй, я вижу возможность донести несказанные им слова, которые, однако, найдут уже иное воплощение. Мы абсолютно бессильны перед смертью, но мы можем противостоять забвению.

Вместе с размышлениями о смерти и её приятии как неизбежного события, которое произойдёт с нами, ко мне пришла ответственность за своё пребывание в этом мире перед теми, кого уже с нами нет. Ответственность прожить свою собственную жизнь, но учитывая их личную историю и пропуская через себя их опыт. На мой взгляд, это лучшее подтверждение нашей любви, уважения и безразличия к их жизненному пути.

Я часто ловлю себя на мысли о смерти в моменты счастья, причём, что важно, счастья не громоздкого, шумного и увесистого, а счастья лёгкого, прозрачного, мимолётного, но всепроникающего. Оно случается, когда я максимально близка к постижению всей бессмысленности жизни и её притягательного очарования. Наверное, именно тогда страх это утратить достигает максимума, наверное, в такие моменты дышать мне хочется особенно глубоко и жить максимально полно. Но, как в любой терапии, здесь важно не превысить дозу. Беспрестанные мысли о смерти могут отравить даже самое безмятежное существование, но осознание собственной конечности создаёт огромную любовь внутри нас к тому, кто мы есть и что нам доступно.

Обдумывая этот текст, я понимала, что избежать непривлекательного и порой отталкивающего существительного «смерть» мне не удастся. Но постоянно возвращаясь к написанному выше, я отметила свой подсознательный категорический отказ от слов «умереть» и «умерший». Будто из страха, что одним этим «статусом» я окончательно подведу черту под жизнью человека. Хотя при всей непреложности смерти последнюю точку ставит именно забвение. 

Михаил Гиголашвили

Тоскана

Путевые заметки

*Голубоватым дымом
Вечерний зной возносится,
Долин тосканских царь...
Александр Блок*

Посчастливилось оказаться в итальянской провинции Тоскана. Это — сердце Италии, место зарождения Ренессанса, высокого итальянского языка, лучшего в мире мрамора, бесподобных вин и пляжей Версилли, кои тянутся вдоль Тирренского моря.

Во втором тысячелетии до нашей эры эта местность была населена племенами италиков — о них мало что известно, но они были включены в оборот тогдашней жизни, торговали с минойской цивилизацией Эгейского моря, даже пиратствовали бок о бок с корсиканцами и сардинцами, владели бронзовой техникой, знали земледелие, скотоводство, ремёсла и сжигали своих покойников. Остатки их поселений называются террамами (*terra marna* — «земля для удобрения»).

В первом тысячелетии до нашей эры сюда пришли этруски, возникла древняя Этрурия, растворившая в себе италиков.

Откуда пришли этруски и почему? Если верить Геродоту, то этруски — выходцы из Малой Азии, из Лидии (ещё называемой нежным словом «Мэония»): лидийский царевич Тиррен после лет неурожая и голода повёл часть своего народа на поиски новой родины. Лидийцы завладели землями на побережье Апеннинского полуострова и стали называться по имени своего предводителя — тирренами (в Древнем Риме их называли этрусками). Отсюда же — и название моря, *Mare Tyrrhenum*, на побережье которого этруски жили много веков.

Преемники этрусков, римляне, впитали их наследие, переняли у них инженерное дело, зодчество, возведение арок, сводов, водоводов, дорог, устройство армии, бои гладиаторов и гонки на колесницах, погребальные и священные обряды, части мифологии и религии, статуи из бронзы, искусство прорицания, военные триумфы и всяческие торжества, символы власти и пурпуровую тогу, покрой туники, башмаки с загнутыми вверх носками, сандалии...

В Средние века Тоскана состояла из отдельных городов-государств, люто враждовавших друг с другом. Начиная с пятнадцатого века олигархи Медичи из Флоренции постепенно — где железной, где огненной, где золотой рукой — прибрали всю Тоскану под свою власть и правили там вплоть до объединения Италии в девятнадцатом веке.

Тоскана и Флоренция — начало начал итальянской культуры: отсюда вышли в мир Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Боккаччо, Петрарка, Джотто, Донателло, Макиавелли, Савонарола и другие, не менее именитые деятели.

Тосканский диалект лёг в основу литературного итальянского языка. Монета Флоренции — золотой флорин — стал эталоном для всей Европы. Флорентийские художники разработали законы перспективы, мыслители и поэты взорвали бомбу Возрождения. Гвидо Аретинский создал нотную грамоту, а мореплаватель Америго Веспуччи, сын нотариуса из Флоренции, дал своё имя целому континенту.

Величественная Флоренция (по-итальянски — «цветущая») известна с первого века до нашей эры как поселение римских легионеров-ветеранов.

Флоренция — место вечных распрей и битв, долгое время шла война между партиями «белых» и «чёрных» гвельфов: одни хотели отдать город под власть германских императоров, другие — в руки папы римского.

В городе много школ, больниц, приютов построено доминиканцами — Псами Господними (от *Domini*, бог + *cane*, собака).

Дома мощные, с высоченными потолками и толстенными стенами (летом доходит до плюс сорока). Узкие окна под деревянными жалюзи. Высокие потолки. Много мрамора, шика, устойчивости, богатства, лепных вензелей.

Собор великой красоты и величины, весь из резного мрамора. Как люди верёвками и лебёдками втаскивали мраморные глыбы на такие высоты — уму непостижимо!

Гид говорит, что Флоренция разбогатела и окрепла на сукне и на банках, делая при этом руками жесты умывания:

— Ну, вы понимаете: рука руку моет, а обе вместе втирают очки... — А потом строго предупреждает, чтобы мы сторонились негров-офень, пристающих к туристам. — Они дадут вам подержать свой товар и тут же поднимут крик, что вы его взяли, не заплатив!

Лукка — малая солнечная сонная, внутри с виду беззащитная, однако снаружи обнесена стеной тридцатиметровой ширины. Известно, что эта стена в пятом веке нашей эры оказалась не по зубам ордам варваров — Аттила Волжанин¹, «повелитель гуннов и племён всей Скифии, достойный удивления по славе своей», осадил Лукку, но не сумел её взять и убрался восвояси грабить более податливые города.

Сейчас на широченных стенах растут деревья, разбиты цветники, пёстро светятся кафе, беседки, ездят велосипедисты, трусят трусцы.

Гид шутит:

— Раньше город жил за счёт шёлка, а теперь стал европейским центром по производству туалетной бумаги, дающей не меньшую прибыль, чем ткань или банки!

В Лукке — красный двухэтажный дом, где родился Пуччини. Школа, где непоседливого будущего маэстро обучали музыке. Из окон школы и сейчас доносится скрипка!..

Вот — памятник Пуччини с папиросой. Запойный курильщик, он курил по тридцать штук в день. Городской совет год обсуждал, следует ли памятник делать с папиросой или нет. В итоге было решено, что правда дороже воспитательной лжи.

¹ Имя Аттила восходит к тюркскому Итиль, Атиль (Волга), и означает «человек с Волги» (прим. авт.).

Лукка — Мекка музыки. Только на это лето запланированы концерты Элтона Джона, Ленни Кравитца, Боба Дилана, Марка Кноффлера.

В центре Лукки — собор Святого Михаила.

Сам грозный воевода, «святой сатана», склонил с крыши белое круглое бесстрастное лицо. Жалость — не его удел. Он — карающий меч, живоде́р Господень, перевозчик умерших душ, наводитель порядка. За спиной у архангела — железные крыла, кои по праздникам трепещут и вздымаются, надёжно защищая от нечисти и бесовни весёлый город, весь в блёстках и искрах от миллиона разноцветных лампочек — ими опутаны и окутаны все окна, балконы, фасады, деревья, кусты, скамейки, фонтаны.

Тут же церковь святой Циты. Сия добрая женщина, служа у злых богатеев, подвергалась побоям и унижениям, но каждый день тайно выносила в подоле хлеб для бедняков, а когда была застукана хозяевами, то в подоле у неё вместо хлеба чудесным образом оказались цветы — так Господь помог ей избежать наказания. Она и сейчас лежит тут, в церкви, в мраморном саркофаге, всё такая же белая и пригожая, как в день своей святой благоуханной смерти восемь веков назад...

Путь из Тосканы в Лигурию лежит вдоль изумрудного Тирренского моря.

Тосканская Ривьера очень ухожена: пляжи частные, блистают чистотой и выдумкой, украшены со вкусом, разбиты цветники, мельтешат кафе. Пинии, олеандры, оливы — каждое слово как мёд, будит какие-то детские светлые мечты.

С другой стороны дороги — Апуанские Альпы, горы Каррары (по-кельтски «каменоломня»). Видны открытые площадки с пакгаузами, подъёмными механизмами, кранами, что и понятно — ведь повсюду сложены (и таят в себе тайны) разномасштабные бруссы самого лучшего в мире мрамора, готового к отправке во все концы земли.

Горами Каррары с пятнадцатого века по сей день (!) владеет клан Маласпина. Там же, в горах, утнезвился их родовой замок — из мрамора, разумеется.

Главный разлом мрамороломни в горе виден изда-
лка, под солнцем похож на шлифованный серебристо-антра-
цитовый многогранник, будто Господь Бог, став зодчим, соо-
рудил гигантский кубистский объект, весь в резких изломах и
плоскостях.

Однажды отсюда был увезён на волах брус белоснежного
мрамора, из которого возникла статуя Давида в пять метров
высоты и весом более шести тонн. Говорят, что этот камень
сорок лет пролежал во дворе Флорентийского собора, пугая
скульпторов, прежде чем Микеланджело рискнул взяться за него.
Завершив скульптуру, он ещё четыре месяца полировал её пе-
ред тем, как выставить на площади флорентийской Синьории
(сейчас там стоит копия).

Микеланджело был одержим борением с вечностью и
камнем, часто сам добывал мрамор — как-то раз на протяжении
восьми месяцев с двумя помощниками вырубал в Карраре
лучший камень для своих скульптур. «Задумав работу, он мог
годы проводить в каменоломнях, отбирая мрамор и строя до-
роги для перевозки; он хотел быть всем зараз — инженером,
чернорабочим, каменотёсом; хотел делать всё сам — возводить
дворцы, церкви — один, собственноручно. Он трудился, как
каторжный» (Ромен Роллан).

Кто знает, может, именно там, в мрамороломне, среди
тяжких трудов, пота и каменных брызг, родились в его бездонной
душе упрямые строки:

Я корчусь на углях,
Не превращаясь в прах.
Как саламандра, жив и невредим,
Ничем неопалим.

На вершине горы лежит древняя Вольтерра. Хаос крас-
ных крыш. Мощные молчаливые дома-крепости. Проулки, где
ещё слышны крики разносчиков и рёв ослов — без четвероно-
гих не взобраться по крутым улочкам. Дома обитаемы. В узкой
бойнице мелькнёт лицо с приложенным к уху мобильником. Тре-

пешется бельё на верёвках. Много магазинчиков с разноликими вещами из алебаstra. В открытые двери видно, как мастер в маске шлифует камень.

Люди поселились тут ещё в железном веке. Потом — один из главных городов этрусков. В окрестностях добывали серу, железо, свинец, алебастр, соль, квасцы и другое, торговали с греками и карфагенянами. Расцвет Вольтерры — пятый-шестой века до нашей эры, от того давнего времени ещё остались (!) городские стены.

При вторжении в Италию Ганнибала жители Вольтерры выступили на стороне Рима, за что были награждены римским гражданством.

Путешественник Павел Павлович Муратов писал: «Вольтерра — тёмный, утрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров. В облике их чудится что-то не итальянское, что-то, сохранившее в целости черты сказочно древней расы этрусков».

По пути гид предупреждал:

— Будьте осторожны! Спрячьте подальше кольца, кошельки и украшения — в городе, среди туристов, орудуют карманники и мошенники! Особенно опасны цыганки, переодетые туристами, часто беременные. Они намечают жертву по приличному виду и одежде, следят за ней, и в нужный момент окружают и обирают! Лучше избегать любых контактов, не смотреть им в глаза, обходить стороной. (К слову, ни особо опасных и настырных негров-офень, ни беременных цыганок нам так и не встретилось.)

Недалеко от Вольтерры, на вершине других холмов, лежит Сан-Джиминьяно.

Этот город средневековых небоскрёбов возник в третьем веке до нашей эры как поселение этрусков. В десятом веке нашей эры получил своё нынешнее название в честь моденского епископа Геминиана — по легенде, сей человек силой, данной ему Господом, остановил у городских стен орды гуннов.

Особенность Сан-Джиминьяно — башни (похожие на сванские) — их строили знатные и богатые семейства, чтобы в случае войны прятать там женщин и детей, причём каждый стремился построить свою башню выше соседних. Их было числом до восьмидесяти, сегодня осталось четырнадцать, некоторые «небоскрёбы» достигают высоты пятидесяти метров.

Тоскана холмиста и прострочена виноградниками, откуда текут в разные углы земли лучшие мировые вина — кьянти, монтальчино, монтепульчано (недаром Вергилий писал: «Бахус любит холмы»). А замок семьи Кьянти, размером с Зимний дворец, блистает на вершине одного из холмов, перенесённый туда благодарными духами лозы.

В целом от итальянцев осталось впечатление как от лёгкого, улыбчивого и не заморачивающегося народа — понятно, почему название этой страны означает с греческого «Страна Телят». Итальянцы кажутся более терпимыми и любезными, чем зачастую угрюмые, надменные и заносчивые испанцы, что тоже понятно: Рим во всём куда как старше Испании (интересно, что своё название Испания получила от финикийского выражения «ишпаним», то есть «Берег даманов», притом что дамановые — это семейство небольших, травоядных ушастых млекопитающих).

...За неделю поездок по самым посещаемым местам Тосканы не встретилось ни тургруппы из России, ни русской речи: только во Флоренции женщина что-то скрытно лепетала в телефон да в Пизе пожилая пара — шёпотом и оглядываясь по сторонам — совещалась в кафе по поводу заказа, им явно не хотелось быть услышанными и узванными...

Надолго ли Европа избавилась от волжан, древлян, угро-финнов, мордвы, мокши, веси и других бичей божьих и земных?.. Никто не знает. Кремлёвская Русь опять, как и тысячу лет назад, балансирует над бездной, между Западом (Европой) и Востоком (Китаем). Куда ухнет — Бог весть.

Кстати, когда я задал гида сакраментальный вопрос — как же Италия проживёт без русских денег/туристов — гид улыбнулся:

— Китайцы уже тут. Они лучше. Почему?.. Не пьют, не буянят, не опаздывают к автобусу, не теряются, знают английский, не допивают подряд из всех бутылок на пробах вина, не шумят по ночам в гостиницах, не делают пи-пи, где попало...

И добавил, что да, последние десять лет прошли под знаком турбума из России, многие русские богачи даже накупили тут, на лигурийском побережье и в тосканской Ривьере, домов и вилл и сразу же стали их перестраивать — например, переносить бассейн на крышу или теннисные корты под землю. Сейчас же туризма из России почти нет, все эти виллы стоят брошены и недостроены, хозяев и след простыл, а муниципалитеты не знают, что с этими стройками делать. Пошутил напоследок сострадательно-снисходительно:

— Ну да, их предки всегда же принимали ванны на крышах?.. Как же без этого?..

«Ага, — хотел я добавить, — да не из воды были те ванны, а из крови врагов, как у Ивана Грозного, у которого даже любимой мочалкой служила отрезанная курчавая голова одного непокладистого басурмана», — но промолчал, дабы не смущать улыбчивого европейца в этот солнечный мирный денёк. 



Лилия Антипова

«Вы солнце нянчите на каменных затылках»¹: Фридрих Ницше и Перец Маркиш, или Еврейские метафоры витализма

Эпоха *Fin de siècle*, эпоха переоценки всех ценностей, заявившая о распаде (*décadence*) классической культуры Европы, и первые десятилетия двадцатого века — это время кризиса традиционной религиозной еврейской идентичности, время дискуссий и конфликтов вокруг вопроса о содержании понятия «еврей» и его отношении к религии и традиции. Литератор Перец Маркиш (1895–1952)², один из ведущих представителей нового поколения еврейства, интернализовавших культуру европейского модерна³ и еврейского экспрессионизма в Восточной Европе, ответил на этот кризис своей концепцией ви-

¹ Цитата из стихотворения Маркиша «К простым грузчикам» (1922). Здесь и далее поэтические тексты Маркиша цитируются по изданию: Маркиш, П.: Стихотворения и поэмы, Ленинград 1968 (здесь и далее прим. автора).

² См. о жизни и творчестве Перца Маркиша: Sherman, J. u.a. (Hgg.): *A Captive of the Dawn. The Life and Work of Peretz Markish (1895–1952)*, London 2011, а также: Antipow, L.: „Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...“ *Vitalismus und Lebenskult in der expressionistischen Dichtung von Peretz Markish*, в: Raev, A. u.a. (Hgg.): *Forschende Frauen in Bamberg*, Bamberg 2014, S. 68ff. См. о связях Маркиша с экспрессионизмом и футуризмом: Glaser, A.: *A Shout from Somenbere: The Early Work of Peretz Markish*, в: Sherman u.a. (Hgg.): *A Captive of the Dawn*, S. 51; Koller, S.: *Marc Chagall. Grenzgänge zwischen Literatur und Malerei*, Köln u.a. 2012, S. 161.

³ См. об этой культуре и её значении для нового поколения евреев в эпоху европейского модерна: Kelch, Ch.: „Hirsch Lekert“. Ein „jüdischer Arbeiterheld“ im sowjetischen „Agitprop“-Film der 1920er Jahre?, в: Antipow, L. u.a. (Hgg.): *Glücksuchende? Conditio Judaica im sowjetischen Film*, Würzburg 2011, S. 104; Antipow, L.: *Sterben als „heroische Tat“: Konstruktion des Jüdischen und Repräsentation des Holocaust in „Aufstand im Ghetto“ von Samuil Galkin*, в: Grüner, F. u.a. (Hgg.): „Zerstörer des Schweigens“, Wien u.a. 2006, с. 99–107; Antipow, L.: „Diese Generation kennt keine Angst“: *Aspekte jüdischer Identität im sowjetischen Zeitdiskurs*, в: Antipow, L. u.a. (Hgg.): *Verdrängte Bilder. Jüdische Neubürger Nürnbergs erinnern sich an Krieg und Holocaust*, Würzburg 2015, с. 84 — 93, а также мою работу, находящуюся в стадии рукописи: Antipow, L.: *Die stalinistische Konstruktion des Juden: Politik und Literatur in Sowjetrußland, 1929 — 1953*.

талистического субъекта. Она сложилась в рамках его экспрессионистской поэзии под непосредственным влиянием виталистической «философии жизни» Фридриха Ницше (*Friedrich Nietzsche*, 1844–1900). Ключевым понятием там была «жизнь» (лат.: *vita*), познаваемая в её противоположности механическому и искусственному; как таковая «жизнь» рассматривалась Ницше как принцип всего бытия, в т.ч. природного и социального.

В первое десятилетие после революции 1917 года Маркиш, родившийся на территории нынешней Хмельницкой области Украины, волею судьбы оказался поочерёдно в Киеве, Москве, Вильно, Варшаве, Берлине, Париже и Лондоне. По крайней мере две из восточноевропейских метрополий — Киев и Варшава — были крупнейшими центрами еврейского художественного и литературного авангарда⁴. Та же роль отводилась Маркишем и его единомышленниками Берлину, где они, по замечанию самого поэта, хотели «распаковать весь тот багаж, что был вывезен из русского Египта, чтобы Берлин в мгновение ока превратился в единственный центр еврейской культуры и еврейского духа»⁵. Как и другие представители еврейской элиты, Маркиш выступал за новую концепцию еврейской идентичности, предполагавшей синтез еврейской традиции, освобождённой от её связи с религией, с общечеловеческой культурой, в первую очередь с «культурой нового времени»⁶. В рамках транскультурных контактов, в контексте культуры *Fin de*

⁴ См. о еврейском авангарде как части общеевропейского феномена этой эпохи: *Finkin, J.: Constellating Hebrew and Yiddish Modernism: The Example of Markish and Slonsky*, <http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a1f46e09-626a-44ec-834f-395c294d9ce0>, с. 1.

⁵ Здесь цитируется по следующему изданию: Культур-лига или ренессанс еврейской культуры на идиш, <http://www.forumdaily.com/kultur-liga-ili-renessans-evrejskoj-kultury-na-idish/>. В это время Маркиш был убеждён, что именно в Берлине «будет построен Третий Храм: Культур-Лига» и «Берлин станет Иерусалимом» (см. здесь же). Шагом к этой цели стало временное издание совместно с Давидом Бергельсоном в столице Германской империи журнала «Халястра» (*Banda*), первоначально выходившего в Варшаве (см. о берлинском периоде в жизни Маркиша: Маркиш, Д.: В поисках золотой рыбки, <http://magazines.russ.ru/ier/2015/52/28m.html>).

⁶ Здесь цитируется по следующему изданию: Культур-лиге, в: Электронная еврейская энциклопедия, <http://www.eleven.co.il/article/12257>. См. о дискуссии Маркишем проблемы национального и интернационального в современной литературе на идише: *Geller, A.: Peretz Markish and „Literarische Bleter“ (1924 — 1926), в: Sherman u.a. (Hgg.): A Captive of the Dawn*, S. 95ff.

siècle имело место, по меньшей мере, опосредованное восприятие Маркишем философского наследия Ницше. Следует исходить скорее из того, что мировоззренческие и философские концепции Маркиша были связаны с Ницше не генеалогически, а содержательно.

Виталистический герой и жесты обновления

Поэтический субъект Маркиша был плотью от плоти ницшеанского «сверхчеловека» (*Übermensch*)⁷. Последний жил в мире, проникнутом идеей религиозного нигилизма, основные позиции которого были сформулированы Ницше.

«Бог мёртв», провозгласил философ, что означало невозможность метафизической картины мира, существования сферы сверхчувственного, Логоса, абсолютной истины и ли-неарной картины истории, предполагающей, что она движется в направлении некой заданной цели и основана на причинно-следственном принципе⁸. В морально-этическом плане «сверхчеловека» характеризовал аморализм: «смерть Бога» означала утрату абсолютных и общезначимых моральных и этических норм и ценностей⁹. Им на смену пришёл морально-этический субъективизм и релятивизм, ведь «сверхчеловек» сам становился источником морали и этики, причем этика любви и сострадания к ближнему заменялась любовью «сверхчеловека» к самому себе. Именно «смерть Бога» и утрата морально-этическими нормами христианства своего абсолютного значения стали условиями человеческой свободы и появления «сверхчеловека», одинокой, но морально независимой личности, осознающей свою

⁷ Nietzsche, F.: *Jenseits von Gut und Böse*, в: *Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabe*, 9 Bde, Bd. 7, Stuttgart 1921, S. 127 — 139, 179ff., 235, 239 — 270. См. об этом: Вальверде, К.: Философская антропология, Философия жизни. От Кьеркегора к Сартру через Ницше, http://society.polbu.ru/valverde_antropology/ch19_ii.html.

⁸ См.: Nietzsche, F.: *Die fröhliche Wissenschaft*, в: *Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabe*, 9 Bde, Bd. 5, Stuttgart 1921, S. 80f., 153f.

⁹ См.: Nietzsche, *Jenseits von Gut und Böse*, с. 51 — 54, 69 — 76. См. о концепции «смерти Бога» в ницшеанстве: Вальверде, Философская антропология. См. об «аморализме» поэзии Маркиша мою статью: *Antipon*, „Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...“, S. 89ff.

ценность и берущей на себя ответственность за своё существование в реальном мире.

Виталистический субъект Маркиша был пророком, бунтарём, героем, анархическим индивидуумом и индивидуалистом, отчуждённым либо современной цивилизации, либо еврейской традиции, находившимся, по его мнению, в стадии вырождения и распада, независимым от толпы, возвышающимся над ней. Этот сверхчеловек был объявлен Маркишем будущим еврейского народа, Новым евреем. Он занимал позицию активизма, деятельного отношения к жизни, ему были чужды пассивность, созерцательность или бегство в мир собственных фантазий и видений¹⁰. Как и в виталистической философии Ницше, в поэзии Маркиша атрибутами жизни были воля к власти, влечение, инстинкт, движение, становление, рост, плодородие, вечное возвращение¹¹. С ними были связаны представления о мощи, силе, изобилии, здоровье. Более того, экспрессионист Маркиш превратил жизнь в предмет поэтического культа. Жизнь реализовалась не в бытие, а в становлении, в движении и в динамике — речь шла о процессах, сопровождавшихся вечным конфликтом виталистического субъекта с миром и самим собой, и не имевших объективной цели¹².

Становление, движение и динамика проявлялись в свою очередь в двух взаимосвязанных процессах — разрушения и созидания¹³. Движение и динамика, взаимодействие разрушения и созидания рассматривались в качестве предпосылок для сохранения жизни. Поэтому в поэзии Маркиша «негативный витализм» бренности и распада тесно соседствовал с «позитивным

¹⁰ См. об этом: *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, S. 233f.

¹¹ См., в частности: *Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse*, c. 23f.; *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, S. 68. См. о «философии жизни» Ницше: *Martens, G.: Vitalismus und Expressionismus. Ein Beitrag zur Genese und Deutung expressionistischer Stilstrukturen und Motive*, Stuttgart 1971, S. 32 — 55; *Schulz, P. M.: Ästhetisierung von Gewalt in der Weimarer Republik*, Münster 2004, S. 29 — 41.

¹² См. об этом у Ницше: *Nietzsche, F.: Der griechische Staat*, в: *Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabe*, 9 Bde, Bd. 1, Stuttgart 1921, S. 216.

¹³ См. о диалектике разрушения и созидания в связи с образом истории Маркиша и его обоснованием в его программных текстах: *Szymaniak, K.: The Language of Dispersion and Confusion: Peretz Markish's Manifestos from the „Khalyastre Period“*, в: *Sherman, J. u.a. (Hgg.): A Captive of the Dawn*, S. 75ff.

витализмом» жизнеутверждения, момент смерти с моментом зарождения новой жизни, жизнь как процесс реализовалась попеременно в обоих¹⁴. Функция виталистического субъекта Маркиша заключалась в непрерывном виталистическом обновлении деградирующей современности, еврейской общности и самого себя, причём он соединял в себе потенциалы разрушителя и созидателя. Кроме того, его посылом были осуществление индивидуальной свободы, автономия мышления и деятельности и эмоциональная самореализация.

Это предполагало критическое отношение виталистического субъекта к современной цивилизации, к еврейской религии и традиции — к Старому миру, к Старому человеку и к Старому еврейству, символическим топомосом которого было еврейское местечко — штетл. Как и у Ницше, у Маркиша еврейская традиция и религия ассоциировались с «не-жизнью», на религиозную мораль иудаизма возлагалась ответственность за деградацию жизни, воли и инстинктов индивидуума, а также за подавление его свободы, его социальное отчуждение и одиночество¹⁵. Будучи нигилистом, виталистический субъект пребывал, что касается его отношений с миром, в состоянии «ничто», которое заступало на место отрицаемой им реальности. Эти отношения поэтического субъекта со Старым развивались в рамках виталистического конфликта между не-жизнью и жизнью.

Разрушение, деструкция Старого — как предпосылки движения, становления Нового и сохранения динамики жизни — суть ключевые понятия лирики Маркиша этих лет. Поэтический субъект был героем-разрушителем, носителем нигилистической позиции¹⁶. Он воплощал собой виталистический принцип

¹⁴ См. об этих понятиях: *Leopold, St. u.a. (Hgg.): Von der Dekadenz zu den neuen Lebensdiskursen. Französische Literatur und Kultur zwischen Sedan und Vichy, München 2010.*

¹⁵ См. об этом: *Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse*, S. 87 — 90. Ницше не был антисемитом. «Созданный им образ еврея», отмечает Грета Ионкис, «органично связан со всем комплексом его философских идей». (Ионкис, Г.: Фридрих Ницше и евреи, <https://lechaim.ru/ARCHIV/189/ionkis.htm>). В иудаизме Ницше отрицал религию, породившую христианство, христианскую этику и мораль, «мораль рабов». Но это не исключало, с другой стороны, принятие им еврейства как современной «нации» и критики антисемитизма в немецком обществе. См. в связи с отношением Ницше к евреям и иудаизму: *Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse*, S. 127.

¹⁶ См. об этом мою статью: „*Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...*“, S. 76.

насилия. Вслед за Ницше, для которого насилие, в том числе война как одна из его форм¹⁷, есть виталистический принцип архаической формы возвышенной жизни и часть творческого принципа деятельности сверхчеловека, Маркиш рассматривал насилие как средство трансформации, преображения Старого и созидания Нового мира, Нового Человека и Нового еврея. Разрушение предполагало взрыв эмоций и освобождение от страданий, пробуждение жизни, приводящее поэтического субъекта в состояние радости и опьянения. Насилие в таком случае принимало различные формы — убийство, в том числе в ходе войны и революции, изнасилование, каннибализм, природная стихия (воды или ветра) и проч. Сам же поэтический дискурс¹⁸ насилия был насыщен образами, поражающими своей радикальностью¹⁹. Так как витализм Маркиша преследовал цель эмансипации личности, то насилие, кроме того, становилось инструментом утверждения индивидуальной свободы. При этом зачастую оно носило саморазрушительный характер, будучи направленным против прежней идентичности поэтического субъекта. Как в процессе творческого разрушения мира и индивидуальных связей с еврейской общностью, так и путём творческого саморазрушения зарождалось новое «я» поэтического субъекта.

Этот виталистический субъект был включён в историю, образ которой был сформирован апокалиптическим дискурсом и содержал элементы исторической эсхатологии²⁰. Маркиш, однако, не был подвержен апокалиптическим настроениям настолько, что его поэзия стала радикальным гимном концу света. Более того, образ истории в его поэзии не был ни линейным,

¹⁷ См. *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, c. 50ff., 89f., 103f., 123f. (см. об этом: Пестова, Н.: Лирика немецкого экспрессионизма. Профили чужести, Екатеринбург 2010, с. 46, 117). См. о концепции разрушения и насилия у Ницше: *Schulz, Ästhetisierung von Gewalt*, S. 29 — 41.

¹⁸ В нашей работе понятие дискурс (фр. *discours*) употребляется в значении «системы взаимосвязанных форм и способов высказывания, организованных и структурированных в соответствии с определёнными правилами».

¹⁹ См. об этом также: *Szymaniak, The Language of Dispersion*, S. 79.

²⁰ Ср. об образе истории в искусстве экспрессионизма: *Ulmer, R.: Passion und Apokalypse. Studien zur biblischen Thematik in der Kunst des Expressionismus, Frankfurt am Main u.a. 1992*. См. об апокалиптическом дискурсе у Маркиша: *Glaser, 'A Shout from Somewhere'*, S. 55.

ни целенаправленным. Напротив, судя по всему, он принимал исторический концепт вечного возвращения Ницше²¹. На первый план в нём выходил постоянный процесс становления Нового человека, Нового мира и Нового еврейства, а не результат этого процесса. Ведь завершённость процесса становления и конец движения, согласно виталистической концепции, были равнозначны смерти. Вместо этого исторический процесс в поэзии Маркиша представлялся согласно циклической модели как бесцельное вечное движение, в ходе которого этапы распада и возрождения, увядания и роста, деструкции и конструкции сменяли друг друга²². Так апокалиптические настроения негативного витализма уравнивались в его поэзии позитивным витализмом и пафосом жизнеутверждения, в апофеозе исторической катастрофы уже заявляли о себе Новый мир, Новый человек и Новое еврейство, а гибель старого мира была одновременно актом виталистического обновления.

Витализм поэтического субъекта проявлялся в его «странствиях», в его «уходе в природу», а также в его «празднике телесности». Элемент «креативной деструкции» и «насилия» так или иначе присутствовал в каждой из этих форм.

«Агасфер» и «странствие»

Таким виталистическим образом было пространство. Дискурс негативного витализма определял город и штетт как катастрофическое пространство, в котором движение находило своё выражение в деструкции и распаде²³. Дискурс позитивного

²¹ См.: *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, с. 265f. См. об исторической концепции Ницше: *Bulhof-Rugers, N.: Apollon Wiederkehr: Eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit, Groningen 1969*, S. 29 — 30; Казаков, М.: История и историческое в философии Ницше, <https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=фридрих%20ницше%20и%20его%20концепция%20истории%20>.

²² См. об этом у Ницше: *Nietzsche, F.: Götzendämmerung, в: Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabe, 9 Bde, Bd. 8, Stuttgart 1921*, S. 128 — 133.

²³ См. об этом мою статью: „*Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...*“, S. 80f.; схожий дискурс имел место в лирике немецкого экспрессионизма (см. об этом: Пестова, Лирика немецкого экспрессионизма, с. 43f., 57f., 97, 221ff.).

витализма, присутствовавший в поэзии Маркиша в большей мере, чем у других экспрессионистов, напротив, конструировал такие виталистические метафоры как широкое пространство — как противопоставление городу и штетлу — и движение в нём. В то время как город и штетл были узкими, тесными пространствами, это новое пространство, напротив, не имело никаких границ, будучи синонимичным всему миру, всей Вселенной. Именно ему следовало прийти на смену цивилизации города и штетла.

Если штетл и современный город вели к увяданию и дегенерации жизни и личности, а также к отчуждению последней, то такие действия поэтического субъекта как эскапизм, бегство из города или штетла, странствие, движение в пространстве были предпосылками сохранения жизни и превращались в метафоры витализма²⁴. Одновременно они представлялись как акты свободного волеизъявления субъекта, его социальной и внутренней ре-интеграции, его духовной и физической эмансипации, а также как акты реформирования еврейской и нееврейской цивилизации. Именно в образе странника отражался виталистический аспект идентичности поэтического субъекта и одновременно проявлялся экспрессионистский характер лирики Маркиша, ибо «движение — одно из самых распространённых слов экспрессионистской поэзии или вообще центральная идея экспрессионизма, которая встроена в его мотивную структуру странствия»²⁵. Через пространственную дистанцию по отношению и к городу, и к еврейскому штетлу как их воплощению выражалась духовная и ценностная дистанция по отношению к современной цивилизации, к социальному миру и еврейской традиции, а также к самому себе как их субъекту. Движение в пространстве оказывалось для виталистического субъекта ещё одной возможностью оказать сопротивление этим мёртвым, несвободным мирам и низвергнуть их. Маркиш брал на вооружение мотив бесконечного путешествия, который символизировал превращение индивидуума из субъекта, направляемого извне — под внешней властью, направляющей субъект,

²⁴ См. об этой семантике эскапизма в лирике немецкого экспрессионизма: Пестова, *Лирика немецкого экспрессионизма*, с. 261 — 272.

²⁵ Там же, с. 360.

в данном случае могли подразумеваться и Бог-Отец, и еврейская община, и семья, и городская цивилизация — в самоуправляемый субъект.

Странствию виталистического субъекта предшествовало креативное разрушение, в одном случае, традиционного мира еврейства, мира штетла и гетто как формы его многовекового существования в диаспоре, в другом — современной цивилизации: *«Разбей свой быт, разрушь свой дом, / Порог истёртый развали»,* — в этих строчках заключалось нигилистическое кредо Маркиша. Как разрушение, акт насилия, вонзание ножа в пирог описывалось вхождение витального героя в мир: *«Как нож в пирог, я в мир вхожу. / Я не петляю, не кружусь!»*

Как негативный витализм, так и позитивный витализм предполагали движение субъекта в пространстве. В первом случае виталистический субъект Маркиша находился в конфликте с самим собой (себе совсем чужой) и с миром, сравнивал себя с бездомным гостем и обломком бурелома: *«И ночью ветренной / Себе совсем чужой, / Я встану на горбатой мостовой — / Бездомный гость, / Обломок бурелома».* В представлении поэтического субъекта и его экзистенциальной ситуации странника преобладали зачастую образы с апокалиптической семантикой. Мир изображался Маркишем как пылающий лес, его воздействие на поэтического субъекта ощущалось последним как болезненное и пугающее испытание огнём, самого себя он воспринимал как одинокого человека, изолированного от окружающих, задыхающегося от этого огня, который опалил его нагие ноги странника:

«Мне кажется, что я в пылающем лесу. / Летят деревья в едкой дымной горечи... / Горе мне! / Простая колыбель моя — / Язык в багровом зеве выси знойной. / Летят деревья — дерево-огни... / Мама! [...] / А лес — горит! Пускай ему неведом. / Один, один иду я, наг и бос...»

В случае позитивного витализма виталистический субъект был обращён к миру, принимал его вызыв на себя, пытаясь слиться с ним или раствориться в нём. Всеобъемлющий эротизм этой поэзии предписывал ему в качестве формы взаимоотношения с пространством и миром жесты телесного соприкосновения и объятия: *«Разбросав привольно руки, / Мир я обнимаю жадно, / И гляжу в немам восторге / Вдаль и ввысь перед собой!»*

Поэтический субъект передвигался в пространстве, не ограниченном ни географическими, ни этническими, ни культурными, ни временными границами. Городу и штетлу противопоставлялся мир: он инсценировал себя как сына мира, позиционируя себя вне любой нации и культуры, в том числе еврейской: *«Я у тебя один земля, / А мир — отец мой и кормилец»*. Различие между родиной и чужбиной утратило для него всякое значение: *«Я не знаю, где я — / Дома или на чужбине... / Я бегу! И распахнута рубаха. / Необузданный, ничей»*. Само же странствие как выражение жизни, свободы и движения не имело конкретно заданной цели, становилось непрерывным и превращалось в перманентную форму культурной и социальной экзистенции, в самоцель: *«Мчу сквозь судьбы и сердца — / Без начала, без конца»*, так заявлена эта данность.

Такая пространственная и временная неопределённость и внеположенность поэтического субъекта, неопределённость направления и цели его движения, его вездесущность были сопряжены с его отчуждением, его социальной и культурной неинтегрированностью, его отрывом от родной почвы. Он невольно превращался в чужака. Одновременно странствие могло быть синонимично восхождению в космическом пространстве в качестве конечной реализации витализма: *«Дороги на ноги одеты, словно лыжи, / По взгорьям и лугам они легко скользят, / А над землею — звёзд янтарный виноград, / К расширенным зрачкам он ближе, ближе, ближе!»*

Образ странствия имел, однако, в поэзии Маркиша ещё и другую семантическую коннотацию: будучи странником, поэтический субъект был воплощением еврейского народа, олицетворяя своей судьбой его страдание, изгнание и странствие²⁶. Он идентифицировался с Вечным жидом Агасфером именно как со странствующим евреем:

«Ни крыши, ни стола. Кровать моя жестка мне. / Над изголовьем свеч родные не зажгли. / Я на твоём пути лежу щербатым камнем, / Смерть! Растопчи меня. Перешагни в пыли. / Нет в очаге золы. Оторван дым от крыши. / Стенаньям траурным быть надо мной

²⁶ См. об этом также: Finklin, *Constellating Hebrew and Yiddish Modernism*, S. 4, 14. См. в этой связи положительную коннотацию семантики «страдания» в поэзии экспрессионизма: Пестова, *Лирика немецкого экспрессионизма*, с. 56, 70, 139.

не след. / Одни горбы торчат всё круче и всё выше. / Приди! Возьми! Конец. Над нами неба нет. / Горбат со всех сторон. Четырёхкратно согблен. / Так выпирает стыд из тела моего. / Так пухнет опухоль неизлечимой скорби. / Так сожнет мех с вином. Всё гибнет. Всё — мертво. [...] / Мне на смех грамоту всучили и пустую / Котомку странничью связали поперёк».

Образ еврейства у Маркиша не вписывался в какую-либо схему. С одной стороны это — народ, которого отличала глубокая вера в Бога. С другой стороны, он был беден и жаждал прибыли:

«О, нищенская рвань кладбищенского торга! / Но выжжено на лбах твоих — «Иерусалим». [...] / Так и пойдут они, орава попрошайек, / Кривляясь и хрипя о барыше плохом, / Взывая к небесам, божбу и торг мешая, / Неся горящий зуд чесоток и трахбм».

В-третьих, евреи были жертвами насилия, у которых страдание было вписано в тело, изгнанники, странники и скитальцы в галуте. Так они вынуждены были оставить их родину, Украину, уже сам ландшафт которой нёс в себе — через символический образ кладбища — знак смерти, убийства и гибели евреев во время погромов:

«Всё заросло давно некошенной, вихрастой, / Высокой зеленью, кладбищенской травой. / Житомир, Киевица, Знаменка и Фастов, / Прощай! II только свист ответит верстовой. / II поезда кричат в скудеющую осень, / II тафики в глазах, заплаканных навек, / Лицо пылающей Украины уносят / На север, к берегам больших сибирских рек».

Образ еврейского народа как Агасфера в поэзии Маркиша не был историчен в смысле привязанности его к какой-либо социальной общности или географической местности: «К осенней сырости и нищете приучен, / Кто этот Агасфер — богач или банкрот?», — спрашивает повествователь. И сам отвечает на этот вопрос:

«Вот он прикинулся старьевщиком Севильи, / С лицом заржавленным, как ржав табачный лист. / В Америке его агенты гнезда свили, / II в Турции его бордели завелись. / Вот в чёрной гондоле везёт он кладь золотую, / Считает свой баланс, и в дряблых пальцах зуд. / II вся Венеция, сгнивая и тануя, / Швыряет серебро его процентных ссуд. / Заплатан и потёрт его столетний бархат. / Как фроки векселей,

*бесчувственны глаза. / Так выдыхается отродье патриархов, / Отгро-
мыжавшая синайская гроза».*

В 1920-е годы вопрос о том, куда приведут Вечного жида и еврейский народ скитания, для Маркиша оставался открытым²⁷. В его поэтических текстах выстраивалась лишь общая оппозиция между бедным, умирающим, страдальческим прошлым и живым настоящим:

*«Прощайте, дни убогие, / II — здравствуй, мир живой [...] / Ты,
домик-сиротиночка, / Затекший плачем весь, / Я был тобою вымечтан,
/ Я вовсе не жил здесь!»*

Будучи последователем ницшеанской философии жизни, размышляя о *conditio judaica* в современности, провозглашая смерть Бога²⁸ и не принимая иудейства, не занимая однозначной политической позиции, Маркиш не предложил своей формулировки утопии личного и коллективного еврейского будущего. Виталистический субъект и всеотрицающий нигилист был чужим всему и везде, всегда находился на чужбине и нигде, не имел чётких ориентиров в собственной жизни, воспевая бесцельное странничество как экзистенциальное состояние и условие сохранения движения как формы жизни: *«Ещё блуждает взор / В просторах, и ещё неведома дорога, — / Но, пьяный от надежд, настойчиво и строго / Я буду вдаль шагать — и мне ли не дойти»*²⁹. Ни одно знаковое место еврейской истории не представлялось в поэзии Маркиша как его собственная и еврейская родина. Само собой разумеется, что он отказывался видеть конечную цель своего странствия в Палестине и признать её своей Родиной, ведь это предполагало бы отказ от движения и переход в статичное, вечное состояние. Так, оказавшись в Палестине, поэтический субъект вёл беседу с самим собой, в которой была заявлена неопределённость его личного отношения к исторической родине евреев: *«Ответь мне, бедуин, какое горе / Несло меня? Зачем я шёл домой?»* В конечном итоге он провозглашал: *«Прощай, Синай! Последний перегон — / II звёздный прах дымится на разъезде».*

²⁷ См. также: Кацис, Л.: Перец Маркиш, <https://lechaim.ru/ARHIV/166/katsis.htm>.

²⁸ См. об отношении Маркиша к иудаизму мою работу *„Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...“*, S. 89ff.

²⁹ Ср. у Ницше: *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, S. 334 — 337, 339f.

Отсутствие родины и у виталистического субъекта Агасфера, и у еврейского народа в настоящем, их бездомность, странничество и повсеместная чуждость в поэзии Маркиша интерпретировались как многообразие образа Родины: *«Ты ведь влюблён, звонарь, и благоден. / Качни-ка бронзовые языки! / С тобою говорят сто тысяч мёртвых родин / Тысячелетьями безвыходной тоски»*.

Единственное, что допускал поэтический субъект — то, что избавление от страдальческой участи странника станет возможным для него самого, когда он вернётся к своей матери-спасительнице, к той еврейской матери, по которой определялась его принадлежность к еврею и которая воплощала собой еврейскую традицию и еврейский дом:

«Своё лицо ко мне ты наклони. / О, мама! Сделай так, чтоб не было мне больно!.. [...] / Ты колыбель моя, нас нет родней на свете...»

Утопия личного и коллективного будущего если и появится в поэзии Маркиша, то только с его приходом к коммунизму в советском варианте.

Благодаря этой метафорической связи между виталистическим субъектом и еврейским народом в поэзии Маркиша находили место «особые еврейские проблемы, в которых проявлялось своеобразие еврейского экспрессионизма: антисемитизм, дискриминация, бесцельность существования современного еврея, отошедшего от религии, то есть вся совокупность потрясений, которым подверглась жизнь еврейской диаспоры в первые годы двадцатого века»³⁰.

«Естественный человек» и «уход в природу»

Ещё один виталистический образ в лирике Маркиша — природа. Природные явления и её процессы суть метафоры витального сценария мировой истории³¹. Если на дискурс природы накладывался дискурс негативного витализма, то в своих визуальных образах, в особенности в цветовых (здесь преобладал серый цвет), в акустических образах (монотонное,

³⁰ Marten-Finnis, S. u.a.: *Sprachinseln. Jiddische Publizistik in London, Wilna und Berlin*. 1880 — 1930, Köln u.a. 1999, S. 130.

³¹ См. о лирике природы в поэзии Маркиша также работу: *Antipon, Stalinistische Konstruktion*. О лирике природы в поэзии экспрессионизма: Пестова, Лирика немецкого экспрессионизма, с. 302 — 327.

навязчивое жужжание пчелы), в выборе времени действия (сумерки, ночь, утро, закат; осень, туманный день, серенький день) и его места (пустое поле, с которого снят урожай, но на котором ещё виднелись стерня и жнивье), он примыкал к дискурсу города и штетла Маркиша³². Кроме того, акцент был сделан на деструктивных процессах — на прекращении вегетации и размножения, то есть на неподвижности, на смерти природы, иными словами на не-жизни: *«Пчела, звеня, / Вокруг меня кружится, — / В доспехах медных, / С высохшим брюшком, / Затянутым узорным пояском. / Она над головой моей дрожит, / Жужжит, жужжит»*. Поэтический субъект вписывал себя в ландшафт, сравнивая с вызывающим страх пугалом: *«Растуя в поле. / Развалив стерню, / Туманный день пугает и гоню, / Как пугало пугает, / Гонит птицу»*.

В другом варианте представления природы в дискурсе негативного витализма доминировал виталистический образ танца-битвы, бывшего символическим воплощением движения и неотягощённости не-жизнью³³. Брутальные, агрессивные силы природы, ветер и гроза, схлёстывались в вихре танца, который принимал формы соперничества за господство одной природной силы над другой, вызывая ассоциации с борьбой собак, с кровавой грызнёй зверей, движимых низменными страстями и инстинктами:

«Гроза и ветер пляшут на плечах / Огромных скал. Над безднами во мраке, / Как дикие лохматые собаки, / Они несутся, воют и рычат. [...] / Трещат под ними горные хребты, / Грохочут скалы, сталкиваясь лбами, / И эхо отвечает голосами, / Подуями из вечной темноты».

Эффект агрессивно-деструктивного усиливался в описании этой сцены за счёт акустической образности: природа, космос были охвачены треском, грохотом, воем и рычанием, которые производил этот танец-битва: *«Пронзает высоту их [собак] дикий вой, / Дыхание их разгоняет тучи, / От ритмов танца оседают*

³² См. о дискурсе города и штетла в поэзии Маркиша: *Antipow*, „Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...“, S. 77 — 81.

³³ См. об этой символике «танца» и «танцора» в философии Ницше: Пестова, Лирика немецкого экспрессионизма, с. 361f.

кручи / II время убегает с быстротой». Динамичный ритм этой сцены создавался благодаря языковым образам танцевального ритма и ускользающего времени.

Другие структуры представления природы обнаруживал дискурс позитивного витализма. В описании земли акцент был сделан на её плодородности и органической, вегетативной стороне. Земля, изображавшаяся в момент её пробуждения, заключалась в динамический круг жизни Вселенной:

«Утром пробуждаются сонные поля... / Плечи расправляя, / От хлеба золотая, / Тихо раскрывается тучная земля. / Смотрит, щурясь зорко... Где-то вдалеке / Скирд ряды кривые, и сколько их — не счесть, / Словно убежавшие, от кого — невесть. / Вдыхает тёплая земля, / II ветерок сонлив и тих. / Заря спустилась на поля / II снова усыпила их».

Поэтический субъект, стремившийся к виталистическому обновлению современного мира, заявленного в городе и штетле, и самого себя, а к также к индивидуальной эмансипации и свободе, избирал в качестве их формы ещё один вид эскапизма — уход в природу и открытие самого себя в качестве одного из её явлений. Однако его взаимоотношения с природой были двойственными, если даже не сказать многообразными³⁴. В одном случае дискурс негативного витализма описывал взаимоотношения между виталистическим субъектом и природой, также как и его взаимоотношения с городом и штетлом, в образах отчуждения. Когда виталистический субъект оказывался внепоставленным природе, то эти отношения носили с его стороны зачастую исключительно пассивный, созерцательный характер. В другом случае дискурс негативного витализма предполагал, что виталистическое обновление субъекта должно осуществляться через его превращение в объект деструкции силами природы: *«Хлыст солнца полоснул меня — / II волдыри избороздили тело. / Багровая колючая стерня... / Никчемный сор семян зеленоватых... / Коричневатых веток нагота...»*

В свою очередь дискурс позитивного витализма путём такого обновления провозглашал слияние субъекта с природой и растворение в ней:

³⁴ См. об амбивалентности художественных образов экспрессионистской поэзии: Пестова, Лирика немецкого экспрессионизма, с. 68.

*«Бросайте меня от сиянья к сиянью! / Вот вспенилось небо
пишущиею дня... / К рождению от радостной тайны слиянья / II выше, о
бури, несите меня!»*

В процессе слияния поэтического субъекта с природой происходило его возвышение, что было синонимично росту его осознания собственного «я», собственного достоинства, его самоуверенности:

*«Я только стебелёк, затерянный в полях, / Побег, что утренним
дыханием колеблем... / Земля! Мне на тебе довольно быть и стеблем, /
Колеблемым под сенью голубой, / Чтоб мог величиём я померяться с
тобой! / Мне крохотной твоей довольно быть частицей, / II я уже, как
ты, вселенная велик!»*

Природа, вселенная превращались в человекообразные силы, которые двигали поэтический субъект, его мышление и действия в направлении целостного бытия:

*«Буря мне внушала тайно: “В высях ждёт тебя твой дом”. /
Семисвечники деревьев, серебрясь, клялись мне в том. / Звёздную росой хранимый,
под зелёным покрывалом, / Ждёт меня в лесу очаг мой, — буря
мне внушала».*

Растворение субъекта в природе, слияние с ней в поэзии Маркиша имело своим условием её целостное переживание, а не рациональное познание³⁵. Здесь торжествовало своего рода органическое слияние человека и природы. Виталистический субъект был метафорически включён в процессы природной вегетации, роста и гниения, которым уподоблялись его рождение и смерть: *«В тебя зерном я упаду, / Травинкой снова прорасту...»*

Эта включённость поэтического субъекта Маркиша в природу дополнялась его всеобъемлющим эротизмом. Он вступал в непосредственный телесный контакт с природным космосом. Его открытость перед природой и землёй, источниками жизни и виталистическими образами, и, наоборот, её открытость перед ним выражались в телесных метафорах и эпитетах. Ноги странника босы, а земля — нага: *«По телу голому земли / Иду, босой. Светло и сыро»*. Более того, субъект вожделем природы, отдавался ей: *«II вот иду в рассвет, / Равнина неоглядна. / II землю я*

³⁵ См. об образе целостного, гармоничного мира у Маркиша также: *Szymaniak, The Language of Dispersion*, S. 80f.

обнюхиваю жадно». Он превращался в любовника природы, а его соединение с природой исценировалось как любовный акт: «II упал я, утомлённый, / Словно капля дождевая / и проспал, прильнув влюблённо / К сердцу алому заи».

Соприкосновение поэтического субъекта с природой было поцелуем, причём природа, преодолевая препятствия, проникала во все сферы его физической и духовной субстанции:

«Зовёт меня солнце. Так сердце — губам / Заи своевольной, а губы отдам / Сердцам опаляющих звезд и планетам».

Поэтический субъект временами находился в пограничном состоянии распада, растворения в органическом мире природы, утраты различия с ней. Более того, в любовном акте с природой могло произойти его превращение в саму природу, на что указывала его метафорическая самоидентификация как природа: он — капля дождевая, он сам — земля. Ни человек, ни природа не были здесь центром мироздания: человек и природа, человек и его мир — суть неразрывное единство, взаимозаменяемые составляющие которого утрачивали свою первичную идентичность:

«Я сам — земля! / II пашня — сам! / II сам — налившийся на пашне колос... / Нет, то не высь грозною раскололась, / То сам я тучею прошёл по небесам / II на себя низвергся ливнем сам!»

В процессе метаморфозы в природу поэтический субъект периодически утрачивал собственное «я» и его освобождение принимало радикальные формы. В итоге поэтический субъект присваивал себе её деструктивную и креативную функции. Тем не менее, Маркиш отказался следовать модернистскому пророчеству кризиса современной цивилизации и окончательного исчезновения субъекта. Последний сохранял свою целостность и статус творца в историческом процессе.

Между тем в поэзии Маркиша не были намечены контуры цивилизационной утопии, предполагавшей конечную и необратимую гармонизацию отношений между человеком и природой. Органическое слияние человека и природы носило в данном случае временный характер и могло в любую минуту, следуя виталистическому закону движения как основы жизни, перейти в противоположность самому себе — обернуться распадом.

Растворение субъекта в природе предполагало её превращение в первую очередь в метафору высшей силы, охраняющей, направляющей его и одновременно несущей за него ответственность: *«И вселенная, быть может, / Позаботится о юном, / Что лежит на жестком ложе, / С вольным ветром говоря»*.

Именно эта функция природы предполагалась её описанием как отцовского дворца: *«Какой своевольной сегодня проснётся / Заря в синестенном отцовском дворце!»* С другой стороны, негативный витализм определял природу на роль деструктивной силы, приписывая ей разрушающее, пессимистическое действие на субъекта. Что отсутствовало в поэзии Маркиша, так это типичная для некоторых экспрессионистов демонизация природы.

«Эротический человек» и «праздник телесности»

Дискурс негативного и позитивного витализма пересекался с дискурсом тела. В их рамках в поэзии Маркиша произошло открытие тела как такового³⁶. Для дискурса негативного витализма с его поэтикой безобразного тела, как и эротика, были не только предметом, но и средством изображения: через деструктированное, старое, уродливое, деформированное тело как метафору находила своё выражение безобразность современной урбанистической цивилизации, её распад и конечность. Таким телом было тело представителя социального дна — нищего, попрошайки, обитающего на городском рынке времён Веймарской республики: *«Как мёрзлый картофель, торчит сквозь истлевшие тряпки / Псчахшая грудь с голубыми корнями жил»*. Впечатление от этого образа усиливалось за счёт другого, следующего за ним образа — чесоточной собаки, бродящей на той же рыночной площади: *«Чесоточный пёс, как на патоку,*

³⁶ Таким образом, в поэзии Маркиша была заявлена концепция тела, которая также имела места в произведениях других членов группы «Банда» (*Di Chajastre*) (см. об этом мою работу: „Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...“, S. 85 — 89). Одновременно дискурс тела в поэзии Маркиша вписывался в еврейский дискурс тела в первые три десятилетия 20 в. (см. об этом, в частности: Schlör, J.: *Der nackte und der bekleidete Körper, v: Gülmänd, S. (Hg.): Der schejne jid. Das Bild des jüdischen Körpers in Mythos und Ritual, Wien 1998, S. 123 — 132; Kelch, „Hirsch Lekert“, c. 104; Antipow, Sterben als „heroische Tat“, S. 99 — 107; Antipow, „Diese Generation kennt keine Angst“, S. 84 — 93, а также мою работу *Stalinistische Konstruktion*).*

падок на падаль, / II треснувший череп седьми червями пророс...» Уродливым телом в лирике Маркиппа было и тело калеки, и тело проститутки, и тело (старой) женщины, и даже труп. Непохороненный, анонимный труп был образом отчуждения как феномена современной урбанистской цивилизации.

Метафорой виталистической критики современной капиталистической системы экономики и промышленности с их высокой степенью рациональной и технической организации также стало человеческое тело эпохи капитализма — это тело грузчика, деформированное его нечеловеческим трудом, превратившееся в тело мученика. Инструментом физической пытки стала машина, символ капиталистической индустриализации, современной цивилизации как таковой. Изображая страдания грузчика, поэтический повествователь обращался к христианской образности, а именно к образу распятия: *«О вас, изъеденных могучей солью моря / II стянутых кольцом канатов и пружин, / Изнемогающих под тяжким грузом горя, / Распятых на крестах взбесившихся машин»*.

В тех поэтических текстах, где дискурс негативного витализма разворачивался вокруг распадающейся традиционной еврейской общности, уродливым чаще всего изображалось тело старого еврея: *«Четырегорбые, в отрепьях, маниаки! / Проклятья тяжкого на вас лежит печать»*.

Но в тело героя был вписан не только негативный, но и позитивный витализм. Виталистический субъект Маркиппа обладал сильным, молодым телом. В его описании доминировали, с одной стороны, метафоры и эпитеты, с семантикой культуры: сталь, железо, медь, с другой — образность с натуралистской, природной семантикой, такие как лошадь и мамонты. Общей же была семантика твёрдости и силы. Тело грузчика превращалось в своего рода архайческое тело:

«Прекрасны грузчики с затылками из меди, / С мускулатурой из бронзы голубой, — / Они сжигают рты огнём пахучей снеди / II вместе с лошадьми бредут на водопой. [...] / О вьющаяся медь кудрей и бород пылких, / О, мамонтовых спин невиданный размах! / Вы солнце нянчите на каменных затылках, / Вы землю держите на бронзовых плечах».

Ещё одним образным выражением виталистического обновления жизни в поэзии Перца Маркиша стали обнажённое тело, нагота и отказ от традиционной еврейской одежды. Тем самым создавался одновременно визуальный образ эмансипации поэтического субъекта в отношении традиции и её норм. Поэтический дискурс тела Маркиша преодолевал в радикальной форме дискурс тела, уходящий корнями в еврейскую традицию³⁷.

Однако дискурсы позитивного и негативного витализма предполагали не только открытие тела, но и его эмансипацию в аспекте проявления эмоций, желаний и инстинктов. Суть ницшеанского сверхчеловека Маркиша не исчерпывалась интеллектом, разумом, рациональностью и рассудочностью. Напротив, она проявлялась в первую очередь в его инстинктивной, чувственной и телесной стороне³⁸. Со «смертью Бога» устранялись противостояние духовного и телесного, разума и инстинкта, враждебная по отношению к телу иудейская и христианская мораль, в результате чего снимались табу с инстинктов и телесного. Тело, инстинкт, влечение и страсть становились столь же легитимными, как и духовное и разум.

В приверженности идее эмансипации телесного обнаруживалась, кроме того, связь еврейского поэта с ницшеанской концепцией аполлонизма и дионисийства как двух конфликтных, взаимодействующих и попеременно доминирующих начал в природе, культуре и искусстве³⁹. Бог Дионис был воплощением жизни и таких её сторон как движение, становление, деструкция, изобилие, плодородие, инстинкт, чувственность, влечение, радость, веселие, опьянение, в том числе самой жизнью, отсутствие границ, разрушение индивидуальности и преодоление субъективизма, наиндивидуальное единство и, как следствие, переход мира в состояние дисгармонии, хаоса и страдания. Напротив,

³⁷ См. об этом мою работу: „*Ich höre das Krachen der Gelenke und Knochen...*“, с. 86.

³⁸ См.: *Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse*, S. 87 — 90, 116 — 119; *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, S. 224f. См. об этой стороне ницшеанского сверхчеловека: Казаков, История и историческое.

³⁹ См.: *Nietzsche, F.: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*, в: *Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabe*, 9 Bde, Bd. 1, Stuttgart 1921, S. 52 — 62, 100 — 105, 113 — 120, 199f. См. о понятиях аполлонизма и дионисийства у Ницше и их связи с его философией жизни: *Martens, Vitalismus und Expressionismus*, S. 37ff.

Аполлон представал апологетом созидания, конструкции, творцом совершенных, гармонических форм, воплощением покоя. Аполлонизм связан с индивидуальностью, с разумом, с рациональностью и сознательностью. «Смерть Бога» и снятие табу с телесного на языке дискурса об аполлонизме и дионисийстве не означали ничего иного, как возрождение дионисийского элемента культуры.

На пересечении с виталистическим дискурсом развивался любовный дискурс поэзии Маркиша⁴⁰. Негативный витализм заявил о себе в его городских стихах. Их виталистический субъект, современный человек в условиях городской цивилизации, был одиноким, вырванным из всех социальных связей и отношений, эмоционально отчуждённым и изолированным от окружающего мира. Любовь и эротика не играли в его жизни социально объединяющей роли, а напротив, этот человек оставался эмоционально направленным на самого себя. Между виталистским субъектом и женщиной в современном городе выстраивались отношения чуждости. Как мир, в котором отсутствовала любовь и эротика в качестве соборного, социально объединяющего чувства, описывался мир мещанина. Поэтический субъект искал опоры в межчеловеческих отношениях, но возлюбленная, даже если она присутствовала в его жизни, никогда не оставалась с ним навсегда. Дискурс негативного витализма зачастую сводил любовь и эотику к больному, безобразному и мёртвому. Любовь и эротика были равнозначны физиологии — половому акту. При этом любовная тоска как форма эротического поведения в эпоху романтизма и *Fin de siècle* играли в любовной лирике Маркиша совершенно иную роль. Хотя его поэтический субъект зачастую был мучим любовью, но он не жаловался на свои страдания, а наоборот, выражал свой восторг по этому поводу: любовное страдание было синонимично жизни. Оно было необходимо, поскольку удовлетворение в любви было чревато смертью, в то

⁴⁰ См. о любовной лирике экспрессионизма: Esselborn, H.: *Die expressionistische Lyrik*, в: Piechotta, H.J. u.a. (Hgg.): *Die literarische Moderne in Europa*, Bd. 2: *Formationen der literarischen Avantgarde*, Opladen 1994, S. 204 — 221.

время как неразделённая любовь была условием того, что закон жизни, постоянное движение или динамика пребывали в жизни поэтического субъекта.

Как рациональные, мёртвые, больные и безобразные, лишённые всякой любви, всякой эротики, всякой жизни описывались в поэзии Маркиша и традиционные формы еврейского семейного и сексуального поведения, регулируемые религиозными нормами: *«Уже смеркает. Базары опустели. / Как стая серых крыс, бегут ханжи домой / Совокупляться в честь субботы на постели, / Пропахшей затхлостью подвала, как тюрьмой»*. Заключённый в клетку этой рациональности, поэтический субъект сродни человеку современной цивилизации не находил выхода своим эмоциям и инстинктам.

Напротив, в дискурсе позитивного витализма эмоциональность, любовь и эротика ассоциировались с жизнью⁴¹. Экспрессионист Маркиш провозглашал виталистического субъекта естественным человеком, плотским, чувственным существом. Тем самым находило выражение его отличие от человека духовного и рационального⁴². Природа становилась важным мотивом социального поведения, на котором, в частности, сказывалась динамика конфликта между природой и духом, культурой, разумом. Она предполагала определённое отношение к любви, эротике и сексуальности. Естественный человек был эмоциональным и чувственным, он был одержим любовным голодом и эротическим желанием. Виталистическая позиция поэтического субъекта проявлялась именно в постоянном поиске любви, в первую очередь телесной любви.

Виталистическая эротика выражалась в двух формах⁴³. Поэтический субъект занимал при этом активистскую позицию. Нигилистическим жестом негативного витализма низвергалась как буржуазная мораль, так и мораль традиционного еврейства. Однако виталистическая позиция поэтического субъекта не ограничивалась деструктивным жестом. Она была прежде всего конструктивным жестом жизни и индивидуальной свободы, и

⁴¹ См. об этом: *Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft*, S. 52ff.

⁴² См. об этом: http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=1163.

⁴³ См. о понятии виталистическая эротика (*vitalistische Erotik*): *Esselborn, Die expressionistische Lyrik*, S. 208.

в этом смысле праздником телесности, выходом инстинктов за границы, их безграничностью. Виталистический дискурс любви в лирике Маркиша эротизировал любовь, разыгрывая любовную драму в плоскости человеческих инстинктов. Изживая себя в чувственности и телесной любви, виталистический субъект обновлял мёртвый мир, переводя его в состояние жизни. Кроме того, в концепции витальной эротики Маркиша с любовью в её элементарном, телесном, физиологическом измерении, с эротикой и сексуальностью ассоциировалась свобода индивида, его освобождение от этических оков буржуазного общества и традиционной еврейской общности. Возможность, презирая все общественные и культурные нормы, открыто признаться в своих эмоциях и влечениях, иначе говоря, в своём сексуальном желании, и дать ему волю для поэтического субъекта были равнозначны свободе.

Наконец, следуя ницшеанской концепции телесности, позитивный витализм предполагал, что через эотику и плотскую любовь человек-одиночка эпохи модерна преодолевал своё социальное отчуждение и приобретал опыт единства и целостности⁴⁴. Одиночество исчезало в любовном акте, в эротической близости, одновременно разрушавших индивидуальности любящих. Иными словами, за разрушением следовали слияние, единение и гармония.

Мог ли в таком случае опыт отчуждения вообще иметь место? Сама ницшеанская концепция истории как вечного возвращения исключала возможность любви как перманентного состояния: любовь всегда уступала место отчуждению. Дискурс позитивного витализма предполагал, что единство и целостность в любви и эротическом переживании носили преходящий характер. Выход за рамки эротической связи для поэтического субъекта был связан с очередным рациональным осознанием своего отчуждения по отношению к миру⁴⁵. В итоге, он снова искал любви и единства с Другим в ней.

⁴⁴ См. в этой связи о любовном дискурсе еврейского экспрессионизма: *Marten-Finnis, Sprachinseln*, S. 128.

⁴⁵ См. об отчуждении в поэзии экспрессионизма: Пестова, *Лирика немецкого экспрессионизма*.

Поэтический субъект бросал вызов традиционному поведению не в скабрёзных тесных мирах ночных клубов и варьете европейских метрополий. Виталистический дискурс Маркиша часто переносил любовь и эотику в широкое пространство — на городские улицы, площади или на природу. Метафорой широкого пространства подчёркивалась безграничность виталистической любви и эотики, её выход за все пределы, за все нормы, в том числе в её этическом и моральном аспекте. В тех же смысловых целях поэтический дискурс обращался к таким поэтически провоцирующим формам как гипербола, гротеск и олицетворение, заставляя участвовать в любовной оргии... паровозы:

*«Совокупляйтесь, туши паровозов, / Чудовища мазутной
наготы, — / Паф вашей спермы яростен и розов, / Утробный смех
колышет животы! / Скелетов гуттаперчивые бёдра, / Горяченных
гранитов толчея...»*

С точки зрения эстетики восприятия эти образы были нацелены на то, чтобы спровоцировать читателя, вызвать у него состояние эстетического и этического шока⁴⁶. Маркиш не просто повествовал о состоянии шока — он заставлял читателя испытывать его. «Прекрасное» в его классическом понимании здесь отсутствовало. Маркиш порвал с языком и эстетикой той культуры, которую он в силу своей критической позиции по отношению к современной цивилизации отрицал. На смену им в его поэзии пришло слияние прекрасного и безобразного, именно синкретизм, а не их оппозиция. Он явился своего рода условием постижения действительности в её сложности и многосторонности, проникновения в глубины её правды.

Сам же органический и физиологический характер любви и эотики выражался с помощью естественных и телесных метафор, к которым Маркиш обращался не только в своём дискурсе о человеке и истории, пространстве и природе, но и в эротическом дискурсе. При этом он использовал архаические, органические образы, уходящие своими корнями в поэтику «Песни песней».

⁴⁶ См. об этом также: *Koller, Marc Chagall*, S. 162.

Любовь и эротика в поэтическом воображении Маркиша, выходявшие за границы норм мёртвой современной цивилизации и еврейской традиции, зачастую принимали агрессивные формы. Любящее «я», стремившееся к слиянию с Другим и к целостности, было одновременно деструктивным и самодеструктивным. Разрушение оказывалось составной частью любви и эротики: любовный акт становился актом насилия, разрушавшим границы между любящим и любимой.

Отношения между мужчиной и женщиной, эротическое переживание, слияние любовников в акте телесной любви, экстаз метафорически расширялись до агрессивно-деструктивного процесса — Эрос и Танатос соседствовали друг с другом. Праздник телесности оборачивался дикой и жестокой оргией, в конвульсивных движениях еврейского свадебного танца «Фрейлехс». В другом случае мужчины и женщины соединялись и растворялись в продолжительной эротической игре, музыкальным оформлением которой стала дикая песня:

*«Все сбегаются на зов — / Изблизли, издалека, / Кружит хмелем
огневым / Тех, кто тянет из горстей. / Соком вымазаны все, / Прумянец
так расцвёл! / Гомон, смех.. А сок течёт / По рукам и по ногам. / И к
раскрашенной красе / Парни липнут роем пчёл, / Вмиг ко рту прилипнет
рот, / Руки тянутся к рукам. / Ветвь от тяжести трещит. / Все орут,
поют, кричат».*

Поэтический дискурс переходил в дионисийский дискурс, в дионисийскую максимизацию жизни: сексуальное желание метафорически уподоблялось излиянию виноградного сока — как струящаяся субстанция он был ещё одним символом движения, опьянение любовью — алкогольному опьянению, тем самым приобретая черты упоения, иррационального и сверхчувственного:

*«Хватит сыпать через край, / Сок багровый наземь лить... /
Ну-ка, мне в лицо швырни / Виноград босой ногой! / Выше платье под-
нимай — / Легче ягоды давить. [...] / Ай да девушка! Взгляни: / Пья-
ный сок течёт рекой. [...] / И по-девичьи пищит / В чанах спелый ви-
ноград. [...] / Дикой песни сходен лад / С песней листьев, с треском лоз. /
Девушек, как лозы, гнут, / Жмут всю ночь из них вино!»*

Виталистический субъект Маркиша был, как правило, мужчиной. И дискурс негативного витализма, и дискурс позитивного витализма отказывали женщине в таком субъектном статусе⁴⁷. Женщина была скорее функцией в рамках программы поэтического витализма Маркиша. Дискурс негативного витализма характеризовал женщину не иначе как распутницу и проститутку, отчуждённую, но в то же время доступную и близкую. Если она была действующим лицом на сцене современного большого города, то её красота описывалась как искусственная, неестественная, и как таковая вписывалась в ландшафт отмеченного распадом современного города: *«II женских прелестей товар дорогой. / Карминные уста. / Белила и румяна»*.

Дискурс положительного витализма содержал, напротив, образ женщины как естественного существа и воплощения жизни. Женщина заявляла о своей чувственности, о власти Эроса над собой: *«II девчонки вслед парням, ошалелые, глядят. [...] / II любая из подруг / Вся дрожит, возбуждена / Жадным бешенством парней»*. В центре изображения оказывалось голое или полуголое тело женщины: девушки босые, босая нога. «Платье выше поднимай», призывал её поэтический повествователь. В стихотворении «Виноград» витальная эротика молодых женщин подчёркивалась сравнением с витальностью природы, метафорой которой был виноград:

«Тянет плечи виноград, / Он вплетён в извивы кос, / Виснут гроздь из корзин, словно плети кос густых. / Дикой песни сходен лад / С шумом листьев, с треском лоз, / Очутился я один / Среди девушек босых».

Почти не была намечена в поэзии Маркиша оппозиция между мужчиной как воплощением рациональности и женщиной как природным существом.

Заключение

Не исключено, что именно возвращение в Советский Союз в 1926 году стало одной из предпосылок программных изменений поэзии Перца Маркиша. Её виталистическая концепция постепено претерпевала метаморфозы: поэтические

⁴⁷ См. об образе женщины у Ницше: *Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse*, S. 191 — 200.

образы витальности сохранялись, но подвергались переосмыслению в контексте сталинистской героической культуры «социалистического сверхчеловека»⁴⁸.

Программа витализма и индивидуальной эмансипации исчезла, сверхчеловеку отводилась героическая функция, политически и социально заданная, направленная на решение целей и задач сталинской эпохи и носящая коллективистский характер. Виталистический герой-индивидуалист превратился в сталинистского Нового человека и Нового еврея, в носителя коммунистической сознательности, включённого в новую советскую общность, партию или народ как Большую семью, и их иерархии во главе со Сталиным как «отцом народов». Сам же Маркиш одновременно с этим превращался из экспрессиониста-бунтаря в ангажированного советского еврейского писателя и представителя новой советской еврейской культуры.

Такая политическая ангажированность не послужила Маркишу «охранной грамотой». В январе 1949 года он был арестован Министерством государственной безопасности СССР по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по ложному обвинению в «еврейском буржуазном национализме» и «шпионаже в пользу США». В августе 1952 году его расстреляли вместе с двенадцатью другими членами комитета. 

⁴⁸ См. об этой культуре: Günther, H.: *Der sozialistische Übermensch. Maksim Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos*, Stuttgart u.a. 1993.

Григорий Аросев

Эпоха Берлин. Беседа

История берлинского журнала, издаваемого для СССР, но который так туда и не попал.

1.

Максим Горький уехал из Петрограда в Германию 16 октября 1921 года, по официальной причине — для восстановления здоровья. В Берлине Горький оказался 2 ноября, однако вскоре после этого отправился дальше, проведя больше трёх месяцев в туберкулёзном санатории в Шварцвальде.

В начале апреля 1922 года Горький вернулся в Берлин, поселившись в доме 203 по Курфюрстендамм, и уже через две недели в письме Герберту Уэллсу, описывая свои планы и текущие дела, сообщил об организации литературно-научного журнала — изначально Горький называл его «Путник» (впрочем, первый вариант названия исчез из переписки Горького почти сразу). Журнал планировалось издавать для читателей из СССР с целью знакомить их с научной и литературной жизнью Европы. Это важно: журнал не замысливался как издание для эмигрантов, в том числе из-за того, что Горький, разумеется, сам себя не чувствовал таковым.

Впрочем, впервые идея подобного издания пришла в голову другому писателю — Виктору Шкловскому, который поделился мыслью с Горьким и Владиславом Ходасевичем. Однако связи и энергия Горького сразу сделали его фактическим руководителем предприятия, хотя главным редактором он никогда официально не был, да и вообще у «Беседы» редакции не было (об этом ниже).

Примечательно, что, описывая *предполагаемый* состав соиздателей, Горький в том же письме к Уэллсу сперва упомянул учёных (русских и западных; в их числе — Иван Павлов, Альберт Эйнштейн и многие другие), и только потом — литераторов (Алексей Толстой, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Ромен Рол-

лан, Томас Манн и других). Горький обращался к английскому писателю с рядом просьб: и рекомендовать обозревателя европейской литературы, и пригласить других английских авторов, и самому прислать текст для журнала. В последующие месяцы и годы подобных просьб Горький разослал с избытком самым разным людям.

Первый номер нового журнала вышел более чем год спустя — официальный дебют издания датирован маем-июнем 1923 года. Кстати, в отношении «Беседы» правильнее употреблять отнюдь не во всех иных случаях уместное слово «книга» — в пяти номерах из вышедших шести преодолена планка в четыреста страниц — без учёта блока рекламы и объявлений. Впрочем, формат журнала был небольшим — меньше современного «А5» (но и шрифт был весьма мелким).

Вторая и третья книги «Беседы» официально вышли в июле-августе и сентябре-октябре 1923 года. Логично было бы ожидать, что следующий номер выйдет в ноябре-декабре того же года, однако всё произошло иначе — издатели взяли четырёхмесячную паузу, вероятнее всего, вынужденную. И хотя месяц и год издания в четвёртом номере не обозначены, о дате выхода можно «официально» узнать из следующего указания: «Набрано и отпечатано в типографии Lutze & Vogt G. m. b. H. в марте 1924 года в Берлине». Пятый номер появился — судя по такому же уведомлению — в июне 1924 года. Далее последовала ещё одна пауза, вдвое дольше первой. Последний номер, который получил порядковый номер 6-7, вышел в марте 1925 года.

Судя по архивам Горького, можно понять, что к «Беседе» он относился очень серьёзно, планируя сделать журнал настоящим проводником в западную литературу и науку — для русскоязычного читателя. Будучи человеком предельно общительным, Горький встречался со всеми, с кем только мог, и неудивительно, что он просил и румынских, и венгерских, и испанских, и бельгийских писателей и журналистов (не говоря о немецких, французских и английских) прислать статьи о современной литературе в этих странах. Такую же просьбу Горький адресовал даже Василию Алексею, выдающемуся русскому советскому китаисту (буквально в первом же номере

«Беседы» был опубликован перевод сборника китайских рассказов «Царевна заоблачных плющей» в исполнении Алексеева, однако, вопреки тому, что он подготовил для журнала ещё и текст об истории Китая, выйти материал не успел).

В идеях недостатка не было — и Горький, и другие издатели «Беседы» планировали много публикаций, просили и получали различные тексты. Но в мае 1925 года было принято решение о закрытии журнала.

Главной причиной прекращения работы «Беседы» стало упорное нежелание советских властей пропускать журнал для распространения на своей территории, что шло вразрез с планами Горького, который не собирался издавать эмигрантский журнал и делал его со своей точки зрения подчеркнuto неполитическим и внепартийным (и подчас даже изрядно просоветским — к примеру, см. републикацию эссе Андрея Белого в этом номере «Берлин.Берега»). Причины советского недопуска были сугубо идеологические: журнал считался меньшевистским, вредным и «политически неприемлемым».

По поводу меньшевизма советские власти были правы, поскольку «Беседу» выпускал социал-демократ Соломон Каплун-Сумской. Журналист и критик, он уехал из России в 1922 году, где возглавил берлинское отделение основанного в Петрограде издательства «Эпоха»; им он руководил поначалу вместе с Давидом Далиным, а потом в одиночку, и именно «Эпоха» и издавала «Беседу». Со второго номера на форзаце журнала красовались два слова, набранные прописными буквами и формально друг с другом не связанные, так как они обозначали отдельно издательство и город, но, стоящие рядом, формировали символическую декларацию: ЭПОХА БЕРЛИН. (Между ними стояла типографская точка, но она скорее выглядит как уточняющее тире.)

Почему Горький, без сомнений, заранее отлично понимая все возможные осложнения, которые могут возникнуть из-за его сотрудничества с меньшевиками, продолжал выпускать журнал именно под эгидой «Эпохи», до конца понять сложно. Резонное предположение: он надеялся, что внепартийность и политическая нейтральность журнала помогут его выходу на

советский «рынок». Но Горький почему-то (почему?) недооценил подозрительность советских надзорных органов.

В сентябре 1923 года, когда первые два номера «Беседы» уже вышли, Горький писал в письме советскому дипломату и публицисту Ивану Майскому: «Журнал этот в Россию не пропускают, что возбуждает весьма скандальное для неё недоумение названных лиц» (Голсуорси, Роллана, Б. Шоу и других). Впрочем, в 1924 году под нажимом Горького Политбюро всё-таки приняло решение в пользу «Беседы», однако дальше намерений дело не пошло. Уже в июне того же года советский цензор и идеолог Павел Лебедев-Полянский обратился в Политбюро с посланием, в котором перечислил меньшевиков, руководящих «Эпохой» и получающих доходы, идущие «на партийные цели». «Пропуская в СССР «Беседу», Главлит будет способствовать улучшению состояния кассы ЦК меньшевиков, да и самый журнал носит неприятный идеологический уклон, теософско-мистический; на его страницах помещают статьи наши ярые враги и рекламируется вся белогвардейская и меньшевистская литература», — написал бдительный Лебедев-Полянский.

Дело было сделано.

Буквально через два-три месяца после закрытия издания Горький, неистовый организатор, начал вести переговоры с советским Госиздатом о возобновлении «Беседы» либо о новом журнале по типу его берлинского детища. Писатель даже предложил готовый проект нового литературно-научного журнала, который так же знакомил бы русского читателя с научной и литературной жизнью Европы и Америки (предложенное Горьким название российскому читателю хорошо известно — «Собеседник») — но дальше *bесед* дело не пошло.

2.

Официальной редакции у «Беседы» не было. На титульном листе каждого номера указывалось: «Журнал литературы и науки, издаваемый при ближайшем участии», а далее следовали фамилии в алфавитном порядке в родительном падеже: проф. Б. Ф. Адлера, Андрея Белого, проф. Ф. А. Брауна, М. Горького, В. Ф. Ходасевича.

О вкладе трёх литераторов скажем чуть ниже, сначала — о профессорах.

Бруно Фридрихович Адлер (1874–1942), выходец из немецкой обрусевшей семьи, был крупным географом, этнографом, антропологом и музееведом. Учился в Москве и Лейпциге (на рубеже веков), но в Пруссии не остался, вернувшись в Россию и в результате обосновавшись в Казани. Оттуда в 1922 году Адлер уехал в длительную командировку в Германию, где, очевидно, и познакомился с Горьким. Роль Бруно Адлера в «Беседе» окончательно не ясна — вероятнее всего, он занимался подбором научных материалов по своему профилю. В первых четырёх номерах журнала Адлер опубликовал только один свой текст: десятистраничное эссе-некролог о скончавшемся в июне 1923 года Дмитрие Анучине (род. в 1843-м), который, как и сам Адлер, был крупным географом, этнографом и антропологом. В пятом и шестом-седьмом номерах «Беседы» фамилия Адлера более не появлялась среди «ближайше участвующих».

Фёдор (Фридрих) Александрович Браун (1862–1942) окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. После революции 1917 года сотрудничал с новой властью, однако, получив возможность уехать в зарубежную командировку, в Россию решил не возвращаться. В Германии получил должность профессора в Лейпцигском университете. Горький был знаком с Брауном как минимум с 1918 года, когда инициировал издательство «Всемирная литература» (официально основанное в 1919 году). В январе 1923 года, уже живя в Лейпциге, Браун по просьбе Горького согласился возглавить отдел филологии и истории литературы «Беседы». В журнале опубликовал три статьи — о первобытном населении Европы, о заимствованных словах и о варягах на Руси. Полноты картины ради упомянем, что Браун был среди девятисот преподавателей немецких вузов, которые в 1933 году подписали заявление профессоров о поддержке Гитлера — но это всё-таки было существенно позднее «Беседы»...

Организационная работа Белого и Ходасевича освещена мало — рискну предположить, что основную нагрузку нёс на себе Горький. Сохранилась переписка между Ходасевичем и Горьким,

где они обсуждали те или иные тексты для «Беседы», однако сведений о редакторских инициативах Ходасевича не найдено. Как бы то ни было, к наполнению «Беседы» качественными текстами Белый и Ходасевич причастны непосредственным образом.

Самый первый номер «Беседы» открывается стихами Ходасевича — именно Ходасевича, а не предисловием Горького, к примеру. В следующих книгах журнала опубликованы ещё две его поэтические подборки, перевод огромного стихотворения, фактически поэмы Саула Черниховского «Свадьба Эльки», в оригинале написанного на иврите (работа велась через подстрочник; судя по воспоминаниям, Ходасевич вообще не знал ни одного иностранного языка, а тот же Черниховский в 1939 году в статье на смерть Ходасевича писал: «Прожив несколько лет в Германии, он даже папиросы не мог купить без помощи милой [Нины Берберовой]»), а главное — масштабнейший труд «Поэтическое хозяйство Пушкина», печатавшееся с продолжением в четырёх номерах (№№2, 3, 5, 6/7).

Вклад Андрея Белого был скромнее — но это легко объяснимо. Он опубликовал до боли искреннее эссе «О «России» в России и о «России» в Берлине», текст под неброским названием «Из воспоминаний» (это нечто среднее между эссе, путевыми заметками, собственно воспоминаниями и прозой; в нём три части: «Бельгия», «Переходное время» и «У Штейнера») и статью «Антопософия и доктор Ганс Лейзеганг» (в ней Белый в крайне критическом тоне откликнулся на опубликованную в первом номере статью Ганса Лейзеганга «Антропософия»; к этому учению Белый был весьма близок). Все три материала вышли в первых двух номерах «Беседы», а в октябре 1923 года Белый неожиданно для всех вернулся в Москву — и год спустя написал Горькому письмо, рассказывая о своём одиночестве в Берлине и признаваясь, что встречи с Горьким в Саарове в 1922-м остались самым светлым воспоминанием от пребывания в Германии. (Сам же Горький в письме Борису Пильняку в том же 1922 году сказал, что Белый «чужд и непонятен ему», но «восхищает напряжённостью и оригинальностью творчества».) Вероятно, фамилия Белого сохранялась на титульном листе журнала в знак уважения — следов его дальнейшего участия в жизни «Беседы» нет.

Что же до Горького, то он понимал, что как главная движущая сила журнала и как очень известный автор, он в первую очередь должен писать сам. Чем и занимался. Всего он опубликовал десять текстов в «Беседе» — рассказы, заметки («О Льве Толстом», «Из дневника», «Смешное»), статьи (в частности, о Софье Андреевне Толстой) и один некролог. Впрочем, фамилия Горького в содержании шести номеров встречается только девять раз. Ещё один раз Горький выступил под очередным псевдонимом, без явной причины опубликовав рассказ «Об одном романе» под личиной Василия Сизова.

Мы уже много сказали о том, кто в журнале «Беседа» работал — так или иначе. К сожалению, остались неизвестными технические сотрудники — мы не знаем, кто верстал, кто набирал журнал. Не знаем и тех, кто переводил статьи зарубежных авторов. Переводчики художественных текстов изредка — не всегда! — указывались, публицистических — ни разу (!). Может, тексты переводили Ходасевич, Белый, Браун и Адлер? Сложно представить.

Но зато без сомнений ясно, кого в штате редакции не было: корректора. Ошибок, опечаток и всевозможных ляпов в журнале очень много. Даже в содержании номеров.

3.

Немало — хотя точно подсчитать невозможно — текстов шести номеров журнала были написаны специально для публикации в «Беседе». Предполагаю, что, за исключением очевидных случаев (рассказы Горького и некоторых других, переводы художественной литературы с других языков), эксклюзивность материалов распределялась так: пьесы, стихи и проза присылались «по случаю», публицистика и эссеистика писались целенаправленно.

Помимо уже упоминавшихся текстов и их авторов, в драматургический, прозаический и поэтический раздел «Беседы» свой вклад вносили следующие литераторы.

Нина Берберова — о ту пору ещё совсем молодая, сравнительно недавно вышедшая замуж за Ходасевича. В «Беседе» она опубликовала небольшую поэтическую подборку и свой перевод «Леноры» Готтфрида Августа Бюргера.

Александр Блок, Фёдор Сологуб (со стихами), Виктор Шкловский (с «Четырьмя письмами» из на тот момент ещё не опубликованной книги «Зоо, или Письма не о любви» — опубликованы письма под номерами 4¹, 17, 26, 27) — этих авторов дополнительно представлять не будем. Каждый из них появился в берлинской «Беседе» по одному разу.

Алексей Ремизов (1877–1957), уехавший из России, как и многие другие, в начале 1920-х. В «Беседе» он опубликовал первую часть своего масштабного труда «Россия в письменах».

Николай Чуковский (1904–1965) — сын Корнея Чуковского, интересный поэт, оставшийся в тени отца (и умерший раньше него на четыре года). Для «Беседы» Чуковский предложил большое, сложное и очень горькое стихотворение «Козлёнок» (пусть читателя этой статьи не вводит в заблуждение кажущаяся легкомысленность названия), принятое и высоко оценённое Горьким.

Лев Лунц (1901–1924) — талантливый драматург из «Серапионовых братьев», умерший в Гамбурге от многочисленных заболеваний очень молодым. В «Беседе» были опубликованы две пьесы Лунца: «Вне закона» и «Город Правды», а также эссе «На запад!», содержавшее критику современной русской прозы и требование учиться сюжетосложению у мастеров западноевропейского романа. (За последний текст Лунц подвергся массовому осуждению со стороны других писателей.)

Николай Оцуп (1894–1958), поэт и переводчик, большую часть жизни проживший во Франции, но изначально уехавший как раз в Берлин. В «Беседе» Оцуп опубликовал подборку стихов, отдельно большое стихотворение «Дон-Жуан» (в интернете можно найти перевод в исполнении Оцупа одноимённого стихотворения английского романтика 18-19 веков Роберта Саути, но это разные тексты) и эссе «Поездка в Малагрота» (Малагротта — поместье в центральной Италии).

София Парнок (1885–1933), поэт, возлюбленная и муза Марины Цветаевой, адресат её поэтического цикла «Подруга». Парнок не уезжала за рубеж, поэтому её появление в «Беседе»,

¹ Примечательно, что в «Беседе» это письмо оканчивается фразой, которой нет в других изданиях: «О разлука, о тело ломимое, кровь проливаемая!»

скорее всего, обусловлено личной симпатией кого-либо из соредакторов журнала к её личности и/или стихам. Подборка стихов Парнок вышла во втором номере «Беседы».

Самуил Киссин (1885–1916), поэт, близкий друг Владислава Ходасевича, муж младшей сестры Валерия Брюсова. Застрелился, будучи на военной службе. Вероятно, именно Ходасевич способствовал тому, чтобы в третьей книге «Беседы» состоялась публикация небольшого стихотворения «Крапива», написанного уже давно умершим поэтом.

Владимир Юрезанский (1888–1957), советский писатель, участник Великой Отечественной войны, опубликовавший в четвёртой «Беседе» один из своих самых первых рассказов — «Человек». В дальнейшем Горький неоднократно в самых комплиментарных выражениях отзывался о Юрезанском.

Владимир Лидин (1894–1979), советский классик короткой прозы, прислал Горькому рассказ «Зацветает жизнь», который был опубликован в том же номере, что текст Юрезанского.

Иосиф Калинин (1890–1934), ещё один до обидного мало проживший литератор. Он умер в результате инфаркта в чешском городе Теплице, но формально эмигрантом не был — в начале 1930-х годов он уехал на лечение. В последней книге «Беседы» Калинин опубликовал повесть «Баба-змея», которая вошла в его первый сборник рассказов и очерков — сборник, ставший весьма известным.

Павел Муратов (1881–1950), писатель и переводчик, в 1922 году покинувший Россию и окончивший свои годы в нетипичной для русских эмигрантов стране — Ирландии. Для того же, последнего, номера «Беседы» Муратов выделил рассказ «Посланию». Ходасевич высказывался о Муратове в следующих выражениях: «Писательский облик Муратова своеобразен. И, кажется, основная черта этого своеобразия — многообразие. Муратов никогда не был, не есть, не будет человеком одной идеи, одной темы, даже — одного стиля. Его занятия разнообразны».

(...Сделаем короткий перерыв. Выше мы уже не раз говорили, что «Беседа» не была журналом для эмигрантов, однако к авторам-эмигрантам журнал относился совершенно лояльно — как видно, «оставшихся» и «уехавших» опубликовано примерно

поровну. Однако в глаза бросается демонстративное отсутствие среди авторов-эмигрантов одного человека: Владимира Набокова, который в те годы публиковался под псевдонимом Сирин. Почему так произошло, однозначных указаний нет. Факт в том, что Горький ни в переписке, ни в разговорах, свидетельства о которых сохранились, ни разу Набокова не упоминал. Горький либо вообще не знал о существовании молодого поэта (тогда Набоков себя полагал исключительно стихотворцем) — но это очень маловероятно, либо не считал его поэтический уровень достойным «Беседы», что тоже сомнительно, либо, очевиднее всего, им, Горьким, руководила личная неприязнь. С газетой «Руль», основанной Владимиром Набоковым-старшим, отцом писателя, у Горького отношения складывались сквернейшим образом — они полемизировали по политическим вопросам, зачастую переходя рамки приличного, а тексты «Руля» на смерть Ленина, которая последовала ровно перед четвёртым номером «Беседы», вызвали в Горьком настоящее бешенство. И хотя сам Набоков-старший был убит в марте 1922 года, до фактического появления Горького в Берлине, горьковское нежелание печатать Набокова-младшего можно объяснить именно глубочайшей антипатией к направлению, авторам и редакции «Руля», — где Сирин как раз печатался регулярно. Впоследствии Набоков Горькому отомстил, но совсем иначе: не игнорировал, говорил о нём на лекциях, но считал его весьма переоценённым и «не интеллектуальным» автором.)

Отряд иноязычных литераторов, печатавшихся в «Беседе», по именам выглядит весьма солидно: Ромэн Роллан, Стефан Цвейг, Джон Голсуорси, Луиджи Пиранделло, а также чуть менее известные, но не менее талантливые франкоязычный румын Панайт Истрати (1884–1935; ближе к концу жизни он написал книгу очерков, где критически отзывался в СССР, что вызвало травлю писателя в советской прессе), испанец Грегорио Мартинес Сиерра (1881–1947) и англичанка Мэй Синклер (1863–1946), автор двух десятков романов и активистка феминистского движения.

У Роллана в двух номерах «Беседы» был опубликован масштабный труд «Махатма Ганди», а также эссе «Беседа Ренана

с юношей» — о встречах с философом Эрнестом Ренаном. Ещё Роллан написал предисловие к публикации повести Истрати «Кира Киралина» (кроме того, в последнем номере «Беседы» напечатана повесть Истрати «Кодин»).

У Цвейга Горький взял для перевода и публикации рассказ «Переулок лунного света» (который может быть известен русскоязычному читателю под названием «Улица в лунном свете» — помимо прочего, его переводил Исай Мандельштам), у Синклер — рассказ «Открытие Абсолюта», у Пиранделло — микроисторию «Скалябрино». Фамилия Джона Голсуорси возникла на страницах «Беседы» дважды — с небольшим рассказом «Лес» и с ещё более компактным «Очерком о современной литературе Англии». У Мартинеса Сиерры были опубликованы эссе о драматурге Хасинто Бенаvente, большой рассказ «Дневник девочки» и короткая проза «Слепые дети» (написанная в соавторстве с женой Марией).

Нельзя сказать, что в отношении художественной литературы и переводов «Беседа» следовала какому-то чёткому курсу, «формату» (в те годы подобного понятия не существовало, конечно). Не вызывает сомнений то, что редакция, пусть официально и не существовавшая, публиковала лучшее из доступного. Но — и это важно — не всё подряд. К примеру, в мае 1923 года, как раз во время выхода первого номера, Горький писал Фёдору Брауну, что все рукописи, присланные писателями, входящими в объединение «Серапионовы братья», забракованы, а отдел беллетристики в журнале — «слабый». Более конкретно: есть свидетельство, что Горький отверг повесть «Полёт» Николая Никитина, одного из «серапионов». (Но при этом ко Льву Лунцу, также входившему в объединение, Горький относился с огромной симпатией.)

То же самое касается и отдела науки, включая литературоведение. Невероятная широта тематического спектра, просьбы Горького ко всем подряд «прислать материал» свидетельствуют, что «Беседа» находилась в постоянном поиске авторов, текстов и интересных тем.

Всматриваться в публицистику и эссеистику «Беседы» — дело весьма интересное. Установить, публиковались ли тексты,

написанные для берлинского журнала, где-либо ещё впоследствии, скорее всего, возможно, но это требует огромных затрат по времени. Рискнём предположить, что большая часть работ, выполненных по-русски, после «Беседы» не публиковалась, а равно переводы статей, написанных на других языках. Что же касается иноязычных оригиналов, то тут ситуация двоякая. Невозможно предположить, что «Очерк о современной литературе в Англии» Джона Голсуорси, пусть и небольшого объёмом, не был издан на родине автора «Форсайтов». Ряд же других текстов, не исключено, постигла та же участь, что и большинство русскоязычных — особенно если учесть, что в «Беседе» подчас описывались актуальные явления науки, и тексты просто-напросто устаревали и/или архаизировались. Ну а краткие обзоры на тот момент современной литературы — в США, французской в Бельгии, других — и подавно вряд ли были нужны кому-то на родине авторов.

Подробно разбираться в темах, поднимаемых учёными в «Беседе», автор этой статьи не решится, однако стоит процитировать несколько (малую часть) заголовков научных статей. Их читать — настоящее наслаждение: «Почему небо нам кажется голубым», «Чувство цвета у пчёл», «Перелёты птиц и летательные аппараты», «Мор от масел», «Основы радиотелефонии»... Разве это не замечательно: читать в одном и том же номере журнала «Свадьбу Эльки» в переводе Ходасевича и о чувстве цвета у пчёл? И при этом ни одна статья или заметка не написана грубо или без знания материала.

Каждый номер журнала завершается обзорами книг, иногда — письмами (очень трогательный эпистолярный опубликован во второй книге — дореволюционные письма В. В. Розанова Горькому, где философ рассуждает в том числе о нумизматике), а также рекламными объявлениями. Реклама — ещё один интереснейший срез того времени.

Нам неизвестно, какие объявления публиковались за деньги (возможно, все), но факт: в рекламном блоке «Беседы» говорилось и о советском журнале «Красная новь» (чрезвычайно трогательно смотрится анонс нового номера «Нови», в котором приводится в том числе название статьи некоего И. Вардина

«Развал меньшевизма» — вспомним об издателях «Беседы»), и о «сменовеховской», то есть настраивающей на сотрудничество с большевиками, берлинской газете «Накануне», и об эмигрантских изданиях. Среди последних, как кажется, рекламировались вообще все: «Русский голос» и «Новое русское слово» (оба — Нью-Йорк), «Жизнь» (Львов), «Новый мир» (Буэнос-Айрес), «Воля России» и «Студенческие годы» (оба — Прага), «Заря» (Харбин —!). И, конечно же, другие берлинские газеты-журналы: «Время» и «Современные записки».

Рекламировались и отдельные книги, и издательство (И. П. Ладыжникова), и даже акционерное общество *ASSA-Film*, которое занималось «прокатом и продажей фильм, производством научных и технических фильм».

4.

Более далёких от литературы объявлений в «Беседе» не было — вероятно, денег хватало и без того. Ситуаций, когда в эмигрантском русскоязычном литературном издании появлялись рекламные блоки «Ателье по ремонту обуви» и «Вкусно и красиво леплю пельмени» (настоящие объявления из одного берлинского журнала рубежа 1990-х — 2000-х годов), Горький не допускал. Держал ситуацию под контролем.

Но не всё было в его власти — и своей главной цели журнал «Беседа» не достиг, так и не дойдя до советских читателей. Вероятно, этого добиться в целом было невозможно — а после смерти Ленина особенно. Горький попытался сделать хорошее и нужное дело, вовремя затеяв журнал *в Россию с любовью*, но закрыл он его ещё более вовремя, обойдясь без каких-либо последствий для себя.

Иной «Беседа» быть не могла: невозможно вообразить журнал, выходящий в Берлине (а равно в Париже, в Праге, в Нью-Йорке), и при этом печатающий исключительно (про)советских писателей. Такой состав авторов выглядел бы неестественным — Горькому было бы проще издавать его в России, даже живя в Берлине или где бы то ни было ещё. А все (за понятными исключениями) авторы «оттуда» в Москве априори считались, по процитированному выше выражению цензора Лебедева-По-

лянского, «ярыми врагами». Если это отношение не смог изменить Горький, значит, никто другой и подавно бы его не изменил.

Журнал был разнообразным, в меру умным, в меру суматошным, в меру педантичным, в меру небрежным, в меру стильным, в меру эклектичным. Он идеально отображал то время в русскоязычной литературе, когда уже существовавшее вытеснялось (во всех смыслах слова) формировавшимся новым. Специально для этого журнала был написан целый ряд замечательных текстов. «Хорошо беседовать, когда есть что сказать», — говорит пословица. Берлинской «Беседе» было что сказать — и поэтому она получилась интересной. 

Приложение. Содержание номеров журнала «Беседа».

Приводится дословно, включая номера страниц, а также опечатки и ошибки. Комментарии даны в скобках курсивом.

№1

Владислав Ходасевич. Зимние стихи. — 7

М. Горький. Отшельник. Рассказ. — 11

Лев Лунц. Вне закона. Трагедия. — 43

Николай Чуковский. Козленок. Стихотворение. — 126

Нина Берберова. Стихи. — 132

Виктор Шкловский. Четыре письма из книги Zoo. — 138

Проф. В. М. Алексеев. Царевна заоблачных плющей. Перевод с китайского. — 154 (*Автор текста — не Алексеев, а Пу Сунлин.*)

М. Горький. Заметки. — 178

Андрей Белый. О «России» в России и о «России» в Берлине — 211

Д-р. Ганс Лейзеганг. Антропософия. Перевод с рукописи. — 237

Проф. Ф. А. Браун. Первобытное население Европы. — 264

Ромэн Роллан. Махатма Ганди. Перевод с рукописи. — 309

Проф. О. Винер. Рентген. Перевод с рукописи. — 346

Проф. Т. Литт. Эрнст Трельч. Перевод с рукописи. — 356

Франц Элленс. Современное положение французской литературы в Бельгии. Перевод с рукописи. — 362

Баррет Кларк. Евгений О'Нэйль и американская драма. Перевод с рукописи. — 374

Джон Голсуорси. Очерк о современной литературе в Англии. Перевод с рукописи. — 389

Грегорио Мартинец Сиерра. Хасинто Бенавенте. Перевод с рукописи. — 394

№2

Александр Блок. Последние стихотворения. — 9

М. Горький. Из дневника. — 12

Николай Оцуп. Дон-Жуан. Стихотворение. — 75

Андрей Белый. Из воспоминаний. — 83

София Парнок. Стихи. — 128

Грегорио Мартинец Сиерра. Дневник девочки. Рассказ. Перевод с рукописи. — 131

Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. — 164

А. Лютер. Немецкая литература последних лет. — 217

Ромэн Роллан. Махатма Ганди. (Окончание) Перевод с рукописи. — 262

Проф. Ф. Ринне. О тончайшем строении материи по образцу кристаллов. Перевод с рукописи. — 334

Д-р Ганс Презент. Экспедиции на Эверест 1921 — 1922. Перевод с рукописи. — 358

Андрей Белый. Антопософия и д-р Ганс Лезеганг. — 378

Проф. Б. Ф. Адлер. Д. Н. Анучин. — 393

Материалы. Письма В. В. Розанова к М. Горькому. — 402

№3

Федор Сологуб. Стихи. — 9

М. Горький. Рассказ о безответной любви. — 15

Владислав Ходасевич. Стихи. — 73

Алексей Ремизов. Россия в письменах. — 78

С. Киссин. Крапива. — 161

Стефан Цвейг. Переулок лунного света. Перевод с немецкого. — 163

Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. (Продолжение.) — 183

Готтфрид Август Бюргер. Ленора. Перевод Нины Берберовой. — 249

Лев Лунц. На запад! — 259

Проф. Ф. А. Браун. Заимствованные слова — 275

Проф. Георг Штейндорф. Гробница фараона Тутенхамуна. Перевод с рукописи. — 320

Франц Эллэнс. Моральное и умственное состояние современной Бельгии. Перевод с рукописи. — 350

В. Е. Петерс. Американская культура и американская самокритика. — 368

Проф. О. Башин. Научные заметки. — 380

Библиография.

В. Сеземан. С. Гессен. Основы педагогики. — 385

Э. Эркес. Антология китайской лирики VII-IX вв. до Р. Хр. — 405

№4

М. Горький. Рассказ о герое. — 9

С. Черниковский. Свадьба Эльки. Перевод Владислава Ходасевича. — 51

Панайот Истрати. Кира Киралина. Перевод с французского. Предисловие Ромэна Роллана. — 72

Василий Сизов. Об одном романе. — 117

Владимир Юрезанский. Человек. — 149

Владимир Лидин. Зацветает жизнь. — 177

Ромэн Роллан. Беседа Ренана с юношей. Перевод с рукописи. — 204

Проф. К. Шухгардт. Ретра и Аркона — два главных славянских святилища в Германии. Перевод с рукописи. — 214

Проф. П. Якобсталь. Культурные проблемы современной Греции. Перевод с рукописи. — 232

Баррет Кларк. Литература Соединенных Штатов Америки. Перевод с рукописи. — 251

Проф. Гарри Шмидт. Подтверждение теории относительности со стороны астрономии. Перевод с рукописи. — 280

Д-р Эдуард Эркес. Новейшая немецкая литература о китайском искусстве. Перевод с рукописи. — 285

Проф. Ф. Биркнер. Новое из области доисторической археологии и геологии ледникового периода в Европе. Перевод с рукописи. — 292

Смесь. Речь Дюамеля в Лондоне. — Английский отзыв о «Деревне» Бунина.

— Английская оценка С. Аксакова. — Англичанин о Достоевском. — Гёте в Мариенбаде в 1823 г. (*В оглавлении номера указано только название рубрики «Смесь».*) — 322

№5

М. Горький. Карамора. — 9

Николай Оцуп. Стихи. — 57

М. Горький. Памяти Лунца. — 61

Лев Лунц. Город Правды. — 63

С. Черниковский. Свадьба Эльки. Перевод Владислава Ходасевича (Окончание). — 102

А. Высоцкий. В Палестине. Очерк. — 122

Джон Голсуорси. Лес. Перевод с английского. — 160

Луиджи Пиранделло. Скалябрино. Перевод с итальянского. — 173

Григорио и Мария Мартинец Сиерра. Слепые дети. Перевод с испанского. — 179

М. Горький. О С. А. Толстой. — 197

Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. (Продолжение.) — 218

Александр Ляковский. Новое о М. С. Салтыкове. (*Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин, его инициалы указаны с ошибкой.*) — 246

Проф. Г. Витковский. Гете и Наука о Гете в современной Германии. Перевод с рукописи. — 265

Д-р Г. Гримпе. Внутриклеточный симбиоз животного с растением. Перевод с рукописи. — 286

Д-р Ганс Презент. Последствия японского землетрясения 1922 года. Перевод с рукописи. — 315

Проф. Гарри Шмидт. Образование и развитие неподвижных звёзд. Перевод с рукописи. — 329

К двухсотлетию со дня рождения Канта. (*В виде вкладок в журнале опубликованы портреты Канта с кратким предисловием.*) — 355

Научные заметки.

Проектируемый перелет Амундсена через Северный полюс. (358). — К теории северного сияния. (361). — Почему небо нам кажется голубым. (363). —

Чувство цвета у пчёл. (367). — Ложные инстинкты. (368). — Перелеты птиц и летательные аппараты. (370). — Мор от масел. (372). — Проф. Кестер +. (373). Библиография.

Немецкие библиографические и критические журналы общего характера. (375). — Arthur Luther. Geschichte der russischen Literatur. (377). — Dr. Th. Wilhelm Danzel. Kultur und Religion des primitiven Menschen. (378). — A. von Löwis of Menar. Die Brünhildsage in Russland. (380). — L. Niederle. Manuel de l'antiquité slave. (382). — M. Vasmer. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. (383). — Gustav Wenz. Die germanische Welt. (384). — Л. Лихтенштейн. Астрономия, математика и их взаимодействие. (386). — И. Кеплер. Mysterium Cosmographicum. (387). — Вальтер Герлах. Материя, электричество, энергия. (388). — Г. Гервези и Ф. Панет. Учебник радиоактивности. (389). — Сведберг Материя (390). — Свенте Аррениус. Химия и современная жизнь. (390). — Новые немецкие книги по географии России (391).

№6-7

- М. Горький.** Рассказ о необыкновенном. — 8
- Иосиф Калинин.** Баба-змея. Повесть. — 56
- Владислав Ходасевич.** Стихотворения. — 139
- Панайот Истрати.** Кодиш. Перевод с французского. — 142
- П. П. Муратов.** Посланник. — 210
- Мэй Синклер.** Открытие Абсолюта. Перевод с английского. — 230
- Николай Оцуп.** Поездка в Малагота. — 255
- Владислав Ходасевич.** Поэтическое хозяйство Пушкина. (Окончание.) — 218
- Проф. Ф. А. Браун.** Варяги на руси. — 300
- Проф. Э. Кренкель.** Вымершие великаны. Перевод с рукописи. — 339
- Проф. Иоллес.** Байрон. — 353
- Д-р Г. Вернер.** Основы современного учения о наследственности. — 360
- А. Ульвиг.** Чудо в науке. Перевод с французского. — 392
- Проф. К. Войле.** Этнография в Германии до, во время и после войны. — 404
- Проф. Гарри Шмидт.** Основы радиотелефонии. — 436
- Смесь.** Аэродинамическая опытная станция в Геттингене. — О небьющемся и ковком в стекле. — 451

Библиография.

Fritz Knapp: Die künstlerische Kultur des Abendlandes. (458). — Wilhelm von Kügelgen: Lebenserinnerungen des alten Mannes in Briefen an seinen Bruder Gerhard (1840—1867)(459). — August Wilhelm von Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. (462) — Diesterwegs populäre Himmelskunde und mathematische Geographie (463). — Erich Marx: Röntgenstrahlen, Radium und die Materie (463). — F. M. Feldhaus: Ruhmesblätter der Technik. (464). — Thorndike: History of Magic and Experimental Science (464). — Karl Arnold: Repetitorium der Chemie (465). — Astronomie. Unter Redaktion von J. Hartmann, bearbeitet von Ambronn, Boll, v. Flotow, Ginzel, Graff, Ghtunik Hartmann, v. Hepperger, Kobold, Oppenheim, Pringsheim (466). — E. P. Adams: The Quantum Theory (467). — E. Study. Mathematik und Physik (467). — Wilhelm Filchner. Sturm über Asien (468). — Lehner, Wilhelm. Die Eroberung der Alpen (469). — Mount Everest. Der Angriff 1922 (469). — Die Schweiz aus der Vogelschau (471). — Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Junkersche Hilfsexpedition für Amundsen nach Spitzbergen 1923 (471). — Hettner, Alfred. Grundzüge der Landeskunde (475). — Новая картина Советской Республики (476).

Письмо в редакцию. 478

К републикации эссе Андрея Белого

Андрей Белый в двадцатых годах прожил в Германии недолго. До революции он неоднократно выезжал за границу, совершая в том числе очень продолжительные поездки, но никогда ранее не оказывался в статусе изгнанника. Как показало время, существовать в настоящей эмиграции Белому было не просто сложно, как большинству российских уехавших, а буквально невыносимо. Усиливало уныние и то, что тогда представлял собой Берлин — это был малоинтересный и довольно однообразный город, вдобавок охваченный, как и вся Германия, жестоким экономическим кризисом.

В эмигрантских рядах были и те, кто так и не вернулся на родину, но были и другие, среди которых оказался Белый. Выехав из России в октябре 1921 года, он уже в конце 1923-го отправился обратно — из-за любимой женщины, ставшей его последней женой. Долгой жизнь Белого не оказалась, но можно хотя бы утешаться тем, что он избежал тюрьмы, лагерей и расстрела, умерев в возрасте 53 лет от инсульта.

Эссе «О „России“ в России и о „России“ в Берлине» было написано Белым в Берлине специально для журнала «Беседа». Как рассказала руководитель московской Мемориальной квартиры А. Белого Моника Спивак, после 1923 года текст никогда не переиздавался, однако в момент выхода этого номера «Берлин. Берега» в российской столице готовится к печати сборник статей Белого для специалистов, в который должно войти и это эссе.

Оно переполнено нескрываемым чувством дискомфорта из-за жизни в Германии, неприятием немецкого уклада жизни, в том числе эмигрантского, и искренней любовью к России — причём России не идеальной, существующей только в фантазиях, а настоящей, той, откуда Белый уехал. *Немногие помнят зарю; тени — помнятся*, говорится в эссе. Андрей Белый помнил и тени, и зарю, и не боялся писать об этом. 

Григорий Аросев

Андрей Белый

О „России“ в России и о „России“ в Берлине¹

1.

Писать о «России» в России и о «России» в Берлине мне трудно. Я год говорил о России, писал о России: культура в России теперешней — есть; отвечали: «Оставьте: какая культура в России! России же нет: большевистская выдумка — «есть».

Создалось впечатление: я — нервно-больной, как и все, приезжающие из России; а тот оптимизм, что с собою привозят «российские» русские в русский Берлин, — экзальтация, нервы, иль — хуже: чудовищное извращение, подобное мазохизму; били - били - били; и — выбили независимость, и «прибили» болезнь.

Я видел по тону, которым слова мои принимались, — догадку; догадка вставала у *добрых* людей; другие, не добрые, блюстители бодрости русского духа на западе, выражались решительно; это — прием! Разложение эмиграции: и внесение яда в среду ее... Нет России вне Праги, Берлина, Парижа, Белграда, Софии... Россия — в России? Взор: нет ее: там лишь рабы; на верхах — нет «России» в России. Слова о культуре России — прием, агитация, более гибельная, чем проповедь коммунизма.

Так мне отвечали одни. В другом лагере, мне отвечали другими словами: говорили, что я зачеркнул свои собственные воззрения на культуру России, мной высказанные на лекции «Культура современной России», которую близкие к смене вех восприняли в их смысле; и так испугали, что с этой поры я стараюсь не высказывать своих домыслов о России — в «России», сидящей в Берлине.

¹ В настоящей публикации сохранены все особенности оформления оригинала, его орфография и пунктуация, включая расстановку дефисов и тире, а также их отсутствие. Исправлено незначительное количество очевидных опечаток — «большевистская», «петербужен» и некоторые другие (здесь и далее, за исключением единственного упоминания, прим. ред.).

Оба лагеря в очень нежном согласии; отрицают Россию в России они; недоверие к ней выражается — здесь; выражается — там: неверие — в мысль народа и в силу творчества снизу; одни выражают себя приблизительно так: «Вот все честное, все продуктивное — выслано, в тюрьмах, и те, что живут не в тюрьме, не в Берлине, не в Праге суть стадо баранов, гонимое гуртовщиками. В представлении других возникает Россия не сущая, а декретированная *Ресепсерам*; культура России — культура правительства, сотворяющего из первозданного хаоса: вселенную ценностей.

Тщетно пытаешься объяснить: есть Россия; она — вырастает; и — мыслит; отсутствие ежемесячно подаваемой нудной журнальной трухи освежило сознание; мыслят теперь по Ивановски, Сидоровски, — не по Горнфельду и Кранихфельду; теперь функционируют мысли Иванова; он — не Иванов стотысячный, а Иванов такой *то*: или он не читает Потебню²; или, он читает Потебню, а не Горнфельда: первоисточки остались; посредников — нет.

И пытаешься вновь, объяснить, что проэскты «*Тео*» (в нем работал и я) — не культура России теперешней; эти проэскты театра ХХХ века уснули спокойнейшим сном: под сукном; будучи в 1919 году в Карачеве³ удостоверился я, что о «*Тео*» ничего не известно в Карачеве; но собрана библиотека там; книги можно брать на - дом; и книги читают: усердно; и Фойгта⁴ («История раннего итальянского Возрождения») и Моммсена⁵; факт остается: *в Карачеве Моммсен читается.*

Увы, понял ненужность теперешних выступлений в Берлине. Работа культурная здесь представляется в данных условиях вряд ли возможной мне; факт восприятия это — не более. Знаю: в Берлине так много учащихся; молодежь современной

² Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891) — языковед, литературовед, философ, теоретик лингвистики.

³ Карачев — город в Брянской области.

⁴ Георг Фогт (*Georg Voigt*; 1827–1891) — немецкий историк, наиболее известный труд — «Возрождение классической древности».

⁵ Теодор Моммзен (*Theodor Mommsen*; 1817–1903) — немецкий историк, филолог, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902) за труд «Римская история».

России (интеллигентская и рабочая) мне понятна, известна; я был с ней в контакте; никто мне не ставил вопросов о степени коммунистичности или белогвардейства в моих убеждениях; и не казался чужим и оторванным я; здесь, в Берлине, я чувствую часто чужим себя, непонятым, ненужным; и молодежи — не знаю; настроение русской публики кажется мне «курфюрстендамным» каким то; а лекции кажутся отнимающими драгоценное «кафе - ландграфное», «прагердильное»⁶ время; аудитория моя мне казалась пришедшей ошибочно; она шла на Тэффи, иль — на Аверченко: я же шел — на обычную встречу. О, сколько раз встреча с публикой современной России переходила в знакомство, в работу, в кружки; лучше бы было, еслиб с публикой берлинских моих лекций, договорившись заранее в том, что прочтение лекции — вздор, приступили бы прямо к совместному кофейному посидению мы, к «созерцанию» фокстрота, которому обучиться здесь надо («не проживешь без фокстрота»).

Моральное соучастие публики в теме доклада меняет доклад; он — горячая вспышка горячего материала; а материал — отсырал: он коптит, не горит; вспышки пламени, — их ощущал я сколько раз в холодной России; в отопленной аудитории Ложенхауза⁷ я ощущал только копоть: горячего материала и не было.

Так отпала охота к общению с аудиторией; к организации материала сознания в мысли и в выводы.

2.

Не в выводах дело, а — в фактах; десятилетия — выводили; и выводили интеллигенцию из чувства действительности; вместо твердого здания жизни России выстраивали — «леса», иль — конструкции ложных прогнозов по всем правилам журналистики: по цитатам, по пунктам, по цифрам, ведя наши мысли до высшего пункта — войны, чтоб низвергнуться пунктами этими с высшего пункта войны за гуманность в пучину — «проливов».

⁶ Берлинские кафе *Prager Diele* (угол Траутэнауштрассе и Пражской площади) и *Landgraf* (Курфюрстенштрассе, 75) были в начале 1920-х годов излюбленными местами встреч русской интеллигенции.

⁷ Ложенхауз (Кляйстштрассе, 10) — место, где философы, литераторы и учёные российского происхождения часто читали доклады и лекции.

Общественно-политическая литература России истекшего века — прогноз, убивающий факты; факт — то, что дано, что — должно быть; смешали Россию с *«должнобытью»*; но действительность повалила *«должнобытие»*: *«должнобытийственные»* витии теперь восклицают: «Россия — в *«должно быть»*; она — за границей»!

Должнобытие — должнобитие; *«должно быть»*, прогноз — осуществляется: в зарубежном сознании; и — *«Русская Мысль»*⁸ облекается из Софии в обложку московского цвета; и марки берлинских издательств — звонят нам кремлевскими колоколами; и галопируют «Медные Всадники»: на заглавном листе.

В России обрुшенных выводов, рухнувшего *«должно быть»* — отсутствие выводов; мало прогнозов; но — вынырнул факт: да, огромные горизонты совсем не предвиденных фактов; их надо описывать; надо учиться описывать; ведь умелое описание — переход к объяснению; и для умелого объяснения надо уметь от поспешного объяснения отказаться; но *«должнобытие»* журнализма, страдающего немощию прогнозов, и недержанием вывода, размахнулось на обнажение факта в России (незарубежной): и — факта России до... *«должнобития»* фактической мысли, не строящей выводов, но озабоченной организацией фактов в индукцию *целого*.

Схемы прогнозов трещат по всем швам, расширяясь фактами самосознания масс, — фактом роста России, освобождаемой от догматических вех и лесов; *«должнобитию»* остается: магически заговаривать факты: и — да: говорят, говорят, говорят, — прогнозируют до... *«правосознания»* Ильина⁹, до «антихристовой товарища» Н. А. Бердяева¹⁰.

⁸ Литературно-политический ежемесячный журнал, выходивший в Москве с 1880 по 1918 годы, а затем, до 1927 года, издававшийся в Софии, Праге, Берлине и Париже.

⁹ Имеется в виду труд «О сущности правосознания» философа, последовательного критика коммунизма Ивана Александровича Ильина (1883–1954).

¹⁰ Николай Александрович Бердяев (1874–1945), философ, неоднократно поднимал тему Антихриста в своих текстах, в частности, в фундаментальном труде «Философия свободы».

3.

Треснули ныне «леса», потому что постройка под ними ведь оказалась не кубом абстракций, а неучитанным многогранником, неотливаемым в благополучие *a priori*.

Что делать с «лесами»? С почтенною «*Русскою Мыслью*», обслуживавшей арбатско - пречистенские районы Москвы, и с живыми мощами «*Богатства*» российского, с «*Божьим Миром*», творимым марксистами, с «*Русскими Ведомостями*» из Чернышевского Переулка, — с «*ведомостями*», не давшими во-время «ведомости» состоянья сознания народа в эпоху войны (тем доведшие его до несчастий).

Что делать с лесами?

Казалось бы, — надо убрать их; и выстроить новые, сообразуясь с контурами России; и поучиться России; но нет: и возводят вторично леса: из Берлина, Парижа (откуда еще)?

4.

Тут — отличие в тоне отношения к России — в России и здесь. Спору нет ведь: и «русские» русские строят прогнозы; и — делают выводы; но прогнозы и выводы русских в России прогнозы и выводы дня, недели; не легкомыслие вовсе диктует текучую представляемость мысли, а умудренная опытом осторожность в суждениях, опрокинутый раз навсегда догматизм; непреложность прогноза сменилась отношением к нему, как к рабочей гипотезе, годной до нового факта, ее опрокидывающей; так «*должно быть*» сменилось моральной фантазией; единообразность в суждении (все читатели ведомости, имя рек, — полагают по этому поводу так - то, по этому поводу — так - то) — сменилась восприятием мелодии времени, допускающей не одно объяснение текста; само объяснение сменилось описанием восприятия факта; и — зарисовкою материала сознания; и объяснения, будучи не похожи в словах, объединены восприятием *тем* России, звучащей, как музыка.

Много раз наблюдал, как «российские» русские, заграницей наслушавшись разных прогнозов, при всем их партийном несходстве таинственно обнаруживают основное, но покрываемое абстрактными объяснениями сходство, прислуши-

ваясь к *«мелодии»* современной, российской России; и признаются они: то, что *«слышат»* они — не понять только логикой:

Умом России не понять:

В Россию можно только верить.

И вера жива в современной России, диктуя ту гибкость, которая не боится танцующей смены выводов, кажущейся отсюда безмыслием вовсе; и — да: представляемость лозунга, — кончилась; обнаружился: кризис мысли недавних журналов; и — обнаружилось: рождение новой мысли текучей и образно вспыхнувшей.

К этой мысли а priori не придешь: ее — надо выстрадать.

Да: изменились устремления мысли России; оне — до конца не осознаны, но они — расползаются: захватывают огромные площади, площади масс.

Дайте прежнему интеллигенту две книги: и *«Заратустру»*¹¹, и *«Бокля»*¹²; рука бы его протянулась к Боклю; теперь же рука протянулась бы к *«Заратустре»*; теперешнему русскому в *«непонятном»* понятно — утонченное; утонченность вкусовая народа — утонченнее читателей толстых *«Богатств»*; это факт, мной проверенный; дайте пролетарским поэтам орудия техники стиха, — возникнут тончайшие ритмы стиха, как у Казина¹³. Не к Якубовичу-Мельшину¹⁴ тянет его.

Можно ль было лет десять назад читать лекцию: *«Метаморфоза растений у Гете»*? Нельзя: ведь никто бы не пошел. В 21 году я присутствовал на лекции на тему *«естествознание Гете»*. Не думаю, чтобы такая возникла бы на Курфюрстендаме: не думаю; и — *«сумлеваюсь што»*.

¹¹Вероятнее всего, имеется в виду философский роман Ницше *«Так говорил Заратустра»* (1883).

¹²Генри Томас Бокль (1821–1862) — английский историк, автор *«Истории цивилизации в Англии»*.

¹³Василий Васильевич Казин (1898–1981) — поэт, в период становления советской литературы считавшийся среди молодых поэтов одним из наиболее авторитетных.

¹⁴Пётр Филиппович Якубович (псевдонимы П. Я., Л. Мельшин, П. Ф. Гриневич и другие; 1860–1911) — революционер-народник, поэт, прозаик и переводчик. Много лет провел на каторге. Самая известная его книга, *«В мире отверженных»*, — классика тюремного жанра в русской литературе.

Невозможно отчетливо выразить в тезисе восприятие разницы в русском вчерашнего дня и в сегодняшнем русском. Все кажется что *«вчерашний»* фланирует на Тауэнциенштрассе, читает издания Ольги Дьяковой¹⁵, пугая афористической мысли; его речь изобилует вовсе не русскими выражениями: *«констатирует»*; *«представляет из себя»* и боится ударного, крепкого слова она; его поэт — Черный.

А русский в России — *«фабфачит»*, употребляя обилие сокращений, но меж *«фабфаками»* метко стреляет неологизмами он; не удивляется «дикости» стиля литературы новейшей, не *«констатирует»*, и *представляет собою* ценителя образных афоризмов; да, — вот еще: естественно тяготеет он к философии; перипатетик, — он философствует на ходу, но *«не походя»*; «Так говорит Заратустра», хотя и невнятно, но все же ему говорит; не говорит Бокль никак, хотя — внятен. Я бы в случайной импрессии так выразил стиль встречаемого русского на Невском Проспекте (с тем русским мы встретились); и так бы выразил я впечатление от курфюстендамного русского; встречею мы оттолкнулись: (не по дороге мне с ним); я — грешу афоризмами, неологизмами; и — люблю философствовать.

Русский москвич, петербуржец таит под молчанием энтузиазм; под коростом догмата публициста берлинского — скорбь.

5.

Пишут об ужасах современной России; есть ужасы, — да: утекает сырье, нет пособий учебных, нет школы (развалена); ели друг друга; быть может, едят еще где-нибудь.

Вывод?

России грозит вырождение.

Нет.

¹⁵ Издательство «Ольга Дьякова и Ко» работало в Берлине с 1920 года, специализируясь на современной художественной литературе, а также переиздавая популярные дореволюционные книги, включая детские. Издательство также выпускало русский отрывной календарь, пользовавшийся популярностью среди русской эмиграции. Владельцы издательства — супруги Дьяковы, Ольга и Ипполит (бывший городской голова Киева).

Почему? Потому, что все то, о чем пишут, все — правильно: и — неправильно все таки: очень много замолчено; обо многом не пишут... N.N. заикается; у него — бородавка на носе; картина — одна; у N.N. великолепные, осмысленные глаза: N.N. — умница; и — картина другая; где целое рассекается на части, там целого нет в правде частностей; и там в правде — неправда; такая же неправда погребена в сменовеховской¹⁶ правде; и — в правде «Руля»¹⁷. Здесь и там — верный выбор штрихов; и прибавить к ним нечего; и неправда сложенья штрихов, иль неправда ранкурса; светлые стороны (сколько, о сколько их!) спрятаны в тень; или темные стороны спрятаны; так создается правдивая ложь и она — хуже лжи откровенной.

Да, светлые стороны современной России — в тени; они скрыты, во первых, — намеренно; и во вторых, — по незнанию (правда о пальмах Экватора — миф эскимоса); в третьих: о светлом труднее писать; это знают художники: Гоголь ведь тома второго поэмы своей нам не дал (его сжег); первый том его *«Мертвые души»* России; *«живые»* же — не поддались описанию; *«мертвое»* — легче описывать: стало, неподвижно оно; все *«живое»* — в движении; и не легко поддается учету. Россия *«смердящая»* оглашена на весь мир, а Россия *«живая»* — почти не известна; и те, кто ее осязал, забывают о ней (психология заурядного человека: запомнить обиды страдания, перенесенные ужасы; и — позабыть о добре, тебе сделанном).

Хочется обратиться к писателям, к публицистам, решительно утверждающим падение современной России с вопросом: «Да, да: вы страдали, почти что не умерли. Но — почему вы не умерли? Только ли случай? Не умерли в трудный момент, потому что откуда - то (вспомните) протянулась рука: рука помощи; кто - то последним куском поделился; и — не рассчитывал на отдачу; вам помогали, поддерживали такие же, как и вы бедняки; поищите же в складках воспоминания о ва-

¹⁶Сменовеховство — эмигрантское политическое течение 1920-х годов, основная идея которого заключалась в примирении и сотрудничестве с советской властью.

¹⁷Газету «Руль» издавали Владимир Набоков (отец писателя В. Набокова) и Иосиф Гессен. По отношению к советской власти газета была настроена крайне критически.

пших страданиях; вы найдете там воспоминания о поддержке и о сияющей, бескорыстной любви; в складках памяти засияет пролет неприсущего неба любви; и — зари новой жизни.

Немногие помнят зарю; тени — помнятся.

Стало быть: есть какая то светлая линия в жизни России, есть люди, которые в голоде, в холоде не потеряли друг друга; и братство возникло, которого не было; не было прежде ведь повода для проявления братства: все жили *«своими домками»*; и — под свободною совестью разумели естественно *«наплевать на других»*; и — *«моя хата с краю»*; воистину: под свободною совестью часто таилась — свобода от совести: совесть — со - вестие, или принятие вестей друг о друге; она — круговая порука душевных движений, беспроволочный телеграф организованных душ. Где он был? В пятаке, подаваемом нищему с самодовольной нотацией (*«Почему, брат, — не трудись? Я вот — тружусь: и имею свободный пятак!»*)?

Было время в России, когда все стояли на улицах, — нищими; кто - то всегда подавал, посещал, накрывал наготу и делился порою последним куском; еслиб не было добрых людей, — я бы умер; и если бы не видел, сошел бы с ума; так скажите: откуда во мне высекался *«восторг»* из страдания и к кому *«благодарность»* во мне за тяжелые годы нужды? Очень часто к случайно пришедшим, чужим, не обязанным за меня хлопотать и меня выручать; когда вырвался я из тяжелой России в благословенные палестины культуры, здесь именно я и наткнулся на жесткость по отношению к себе со стороны прежде *«близких»*; разбился о черствость, о мертвость сердец — здесь, не в черствой, не в мертвой России, меня пронизавшей энтузиазмом; и — жизненным пафосом.

Переоценкою отношений к *«далеким»* и *«близким»* стоит мне Россия последнего времени: сдвигом сознания.

6.

Прохождение через строй трудных лет в современной России естественно заряжает энтузиазмом и верою в человека, в огонь Прометея, зажженный в груди (вы не думайте, что я слепой, что не видел я *«зверя»*, взревшего под человеческой оболочкою:

видел я «зверя»); и не естественно, если звериной отметкою мести и *крови за кровь* эти годы отметятся в человеческих душах; да много звериного всплыло наружу; но, именно, всплыло — откуда - то; где то все это доселе таилось; под оболочкой — чего? Я не раз наблюдал в прежних годах животное выдыханье из форточек обывательской *«жаты с краю»*, окрашенной в цвет заявления: «Здесь живет либерально настроенный человек, голосующий за свободу совести».

В прежних формах таимого зверя в себе было столько же нравственных вшей, сколько их оказалось потом на физическом плане: вши выползли из подсознаний душевного мира, покрыли одежду; о них закричали.

7.

Противоречия, очень кричащие, всплыли наружу теперь в современной России; и — вот одно: здесь отчетливо поднялось из «суб'екта» безличного — *«имрек»* (Иван, Петр, Семен): и не в смысле известного «нэпа» — в действительном смысле сознание сдвинулось в сторону конкретного, частного; отодвинулось — от абстрактного, общего; вместо всякого «вообще» — очень меткий прицел афоризма по поводу *«данного случая»*; вместо понятия отвлеченного — заярчила метафора; вместо тягостной *«констатации»* — вынурнули: афоризмы и притчи; и из *«суб'екта»* родился Иван; да не просто Иван, а — такой то Иван: не суб'ект с *«констатацией»*, — живописующий ядрено и сочно молодчик; и возникает проблема, что лучше: образование с *«констатацией»*, или — необразованная образность.

В том и дело, что образованность с *«констатацией»* — не образованность собственно; она образованность из журнальных статей; да, да: из вторых она рук, где и Кант познается через статьи Кареева¹⁸; я никогда не забуду: я был первокурсником; часто бывал у профессора Стороженко¹⁹; Н. И. Стороженко, узнав о моем устремлении к Канту, воскликнул: «Вы — ничего не поймете; понять ничего невозможно у Канта: прочтите статью Кареева в номере таком то, журнала такого то; там все о Канте

¹⁸ Николай Иванович Кареев (1850–1931) — историк, социолог, педагог.

¹⁹ Николай Ильич Стороженко (1836–1906) — литературовед, шекспировед.

рассказано...» Стороженко себя причислял к образованным русским: проваливал произведения Чехова; и тридцать лет — «*констати́ровал*»; «*констатация*» такая — куда привела она? И «*констатация*» такая годами наводняла Москву громким хором бездарных доцентов, губивших литературу российскую; сам Стороженко раз сделал открытие: провозгласил, что огромный талант, долженствующий обессмертить Россию — родился: Потапенко²⁰! Вспоминая различные домыслы Стороженко, сидевшего года на кафедре по истории литературы, — я должен заметить, что очень редко встречал я такую безвкусицу в мнениях, какой шеголял популярный профессор.

Признаюсь: грущу я — погибли иные из ценностей прошлого; рад: вместе с ними погибла унылая «*стороженковщина*». Нет уж, — Бог с ней, с такой «*констатацией*», с «*образованьем*» таким!

8.

Само слово «*образование*» приобрело иной смысл; «*образованный*» недавнего прошлого: есть прошедший гимназию, где его забивала грация «*сит*» - ов и «*ит*» - ок (латинских); без всякого представления о науке оканчивал он юридический факультет, где питали его всевозможными «*сасис*»-ами; так становился присяжным поверенным он, заручившись «*хатю с краю*» («*свободой совести*» для себя); он почитывал «*Русскую Мысль*» из района Пречистенки; и обслуженный блюдами «*прогнозов*» и «*лозунгов*» очень - очень довольный собою — по жизни летел «*констатацией*» курьерского поезда, пересекая Россию в удобном купе, созерцая ее из окошка, сквозь паровозную копоть, высказывая о ней свое веское, сигарное мнение и ядреное, русское слово его — «*констатация*». Образование отрывало от образности: метафоры не усваивали желудочки мозга; не откликался никак — «*реагировал*» лишь; вместо личностей, лиц, он видел кадрили статистических цифр; вместо мира — табличный квадрат; цивилизацию он понимал — не культуру, то есть, безукоризненную манжетку и чистый сапог.

²⁰ Ингатий Николаевич Потапенко (1856–1929) — прозаик и драматург, один из наиболее плодотворных и популярных писателей 1890-х годов. Вероятно, именно он выведен Чеховым в образе Тригорина в «Чайке».

Что такое культура для этого человека? Вычищенные сапоги, рассуждение о Канте и Конте²¹ по уважаемому Карееву, о литературе — по уважаемому Стороженке; культура в исправности, если в исправности канализационные трубы. А философствовать он не любил: «Это, знаете, — всякие там туманы».

И философии жизненной не было: публицистика заменила ее; была каста философов - спецов; они рассуждали о том, что форма формы — не форма, а — норма; а форма формы формы есть то же, что форма формы*). В софистике утончалась философистика; философистикой занимались в малой дозе; в большой — публицистикой.

Жизненной философия не было. Вдруг она появилась, когда зашатались устои: из трещин рассевшихся стен старой жизни.

Все вдруг изменилось: не чищены сапоги, номер толстого журнала не вышел, нет жвачки для мысли: и стало быть — реже отрывка сознания Мельгуновыми²²; «всем известно, что...», «Мельгунов — констатирует»; из *«констатаций»* таких состояла ведь «оригинальная» интеллигентная мысль очень многих присяжных поверенных; вот лопнули трубы; вот — поезда не везут: нет и общего взгляда, вагонного взгляда *«от финских хладных скал до пламенной Колхиды»*; не знаешь, что происходит в соседней губернии.

Я — оговариваюсь; меня могут превратно понять; не стою я за то, чтобы лопались трубы; побольше бы труб; и побольше — манишек; и — ваксы сапожной; и — прочих комфортах; но от комфорта зависеть, и только молиться комфорту, не овладев им, — нельзя; овладенье комфортом, владенье комфортом, — в овладении теоретическим принципом знания построения

²¹ Огюст Конт (1798–1857) — французский философ, родоначальник позитивизма и социологии.

* Не фантазирую я: русские поклонники философа Ласка действительно рассуждали об этом в 1910 году (*примечание Андрея Белого*).

²² Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956) — историк и политический деятель. В мае 1922 года, по окончании процесса по делу партии эсеров, был приговорен к ссылке. В октябре того же приговор был заменён высылкой за границу, и таким образом Мельгунов стал эмигрантом вопреки своему собственному желанию.

вещей: в теоретическом знании, ставшем конкретным; конкретного знания не было у насадителей *«принципов»* жизни; и больше от этого знания было у скромных интеллигентных работников, строивших самое существование России в ужасных условиях: земский статистик, агроном и врач — вот кто был всех нужней: вот кто истинно прилагал принцип к жизни, а публицист и присяжный поверенный, пишущие в журналах, произносящие *«лозунги»* и *«гуманных»*, и *«либеральных»* идей не по Петрарке, не по Эразму, — Бог с «ними; под *«гуманизмом»* ей-ей разумели они не огонь Возрождения; организм Возрождения, утучненный давно отложением *«либерального»* жира, обуржуазился; порыв духа борцов за права Человека в утучненном организме вдруг выступил... сентиментальной душевной испариной, стал резонерством; сентиментальное все, как известно, имеет изнанку. Изнанка сентиментального человека есть злость; и эта злость обнаружилась в гуманизме Ивана Ивановича, тучного либерального деятеля, когда лопнули трубы; многие были гуманны — до этого крупного факта в их жизни; идеализм устремлений у многих был благодушием от теплой трубы и удобного кресла; и в указание на это условие существования либерала был прав социализм: гуманизм был как часто овечьей личиной, таившей волчью злость; происхождение многих злостей — незнание и неумение с чем либо справиться, переложение своих недостатков во вне; недостаток сознания крылся под общемою формою лозунгов; общие лозунги *«либеральной гуманности»* и борьба с всем *«данным»*, индивидуальным, конкретным есть падение высот гуманизма, приподымавшего Чело Века в любом человеке по своему; не было честности в брошенных лозунгах *«общегуманных»*, *«сентиментально-гуманных»* и обнаруживших злость и зависимость от состояния труб; они лопнули; и — озлели вдруг *«честные, добрые, либеральные люди»*; и идеально настроенный стал петь о мести.

Такой *«гуманизм»* никуда не годится; признаться сказать: не годились никуда либеральные *«лозунги»* многих присяжных поверенных.

Лопнули трубы!

Иваны Иванычи вышли на улицу из своей *«хаты с краю»* и — стали в хвосты²³; перед ними возник неожиданно — имрек, Иван: он — *«сохвостник»*, представьте же: он — философ: ядрено ругается, но меж ругательств высказывает философские убеждения; появляются никогда не бывавшие факты — растут, как грибы; и приходится ныне Ивану Ивановичу просто ломать себе голову над вопросом о том, как откликнулся бы Мельгунов на все это; так жаль, что молчал Мельгунов это время (стою за свободу печати); Ивану Иванычу, жившему философией Мольгунова года, не мешало бы самому стать философом, чтоб Иваны-сохвостники, не убоившиеся *«метафизики»*, не подумали бы, что Иван Иванович глуп.

Так приходится распроститься с дедукцией *«мельгуновского»* лозунга, и остаться с индукцией из меньшего количества фактов, осознанных не *«вообще»*, — в данном случае.

10²⁴.

То же самое переживали: писатели, профессора, публицисты в России; писатель до этого времени обсеменял в неизвестную массу — полезным и добрым; и шествовал... в кресле своем, приглашал за собою; читатель — почитывал, почитал; был — читателем - почитателем он; было ясно, спокойно, решение на веки-веков.

Где журнал, почитатель-читатель? Закрыты журналы; читатели-почитатели, рассеянные в пространствах — отрезаны (транспорт расстроен: и транспортировать грузы идей невозможно; ходи на ногах, не на кресле, и обходи почитателей не символическим способом); пренеспокойное положение; легко поучать из своей *«хаты с краю»* покорные и неизвестные тысячи; в студии, где собралось 25 беспокойных Иванов, которым ничто не известно, — на *«как известно»* не выдепши; им докажи как — *«как именно»*: необразованные суб'екты, неудосужившиеся почитать Мельгунова и Джаншиева²⁵! Приходится вдруг самому

²³ Очереди (сленг 1920-х годов).

²⁴ В оригинале статьи часть под номером 9 отсутствует.

²⁵ Григорий Аветович Джаншиев (1851–1900) — правовед, публицист, историк и общественный деятель.

стать учителем жизни: но «мельгунить»; и вопросами студий, вопросами жизни, осыпан вчерашний писатель, нашедший из кресла когда-то — «все, все»; и теперь потерявший «все-все» — вместе с креслом.

11.

Особенность современной аудитории русской есть критика догматизма где все «предпоследнее», «так сказать» и «вообще говоря» перед сознанием, вперенным в «последнее» в «не так сказать» смерть, — просто рухнуло; «вообще говоря» — пасовало конфузливо перед единственным «данным случаем»; данный случай, совсем исключительный случай, редчайший в обычное время, стал общим явлением; «общее» показало себя производным «от частного» обнаружились все условности «общих мест»; обнаружился «субъективизм» объективнейших положений; они разрезали пространства от книжки журнала — такого-то; мнение Чернышевского переулк в Москве называло себя вообще русским мнением.

Писатель поставлен в тупик: оказался писателем «*Мира Божьего*»... в стакане воды; и читатель сдавал свои мысли в аренду ему; отнят этот читатель: и даже — *horribile dictu*²⁶ — впервые «возмыслил» он.

Сколько, якобы «очень культурное», — лопнуло в этом процессе с водопроводной трубою; цена нашей якобы самости, а по правде сказать, мельгунизма, теперь оказалась в культуре сознания нашего равноценным «*трубе*» (с ней — все лопнуло: лопнул досуг); в лютном холоде наших квартир очень многое в мысли из кресла теперь оказалось лишь паровым отоплением; личности наши в культурных процессах, текущих в них, оказались безличными трубами, проводящими пар чужой топки; да, нас отопляли журналы; и — не топили мы сами; что отопляли — прекрасно; что мы не топили — не важно. Водопроводы полопались; иссякала вода; водопровода же сами построить, увы, не смогли; не сумели и вырыть колодца; и Иваны же — рыли; «*субъекты*», впервые: хватились воды, своей собственной; или — культуры сознания.

²⁶ *Horribile dictu* — страшно сказать (лат.)

Она оказалась культурой культур; его движима нынешняя культура России; все прочее, что называли культурой мы, — водопроводные трубы: цивилизация. Цивилизация есть культурный продукт: процесс индивидуального осознания жизни.

Тут сколько лопнули!

А другие объединились в кооперацию, вырабатывающую эту самую культуру культур; по - читывающий, почитающий стал с писателем в уровень; многим писателям, быть может, тут впервые предстала возможность из *писывателя* стать *читателем* души, перед ним возникающих в исключительной обстановке.

Итог?

То, что выплыло в кризисе, стало впервые действительным, действительным «Я», а не «*я так сказать*», не «*субъектом*»; субъект этот, бывший доселе «объектом» статистики (потребителем перца и соли «по статистическим данным»), — «субъект» стал: Я — собственно, Имя Рек, Индивидуум.

В индивидууме человек — Чело Века.

12.

Самосознание личности родилось в России — в тяжелые годы; рождение — катастрофический акт; оно — гибель утробного мира; иные мертворожденными ведь выходили на свет, а иные впервые рождались для свободы не от человек (моя хата с краю), а для человек, для осознания, что человечество — не вереница полей единицы: сложение отношений между Иваном (таким то) с Петром; образование — неотвлечение в единицу статистики от образа вещи, а образ, который всегда есть сложение понятий в сомысле смысла, иль «*чувствий*» — в «*сочувствие*», действий — в со-действие; целое, организация коллектива — всегда индивидуум; *организация* есть рождение *организма* из мертвой механики; все ограниченное — индивидуально, конкретно; все механическое — всеобщемертво и абстрактно; мертвы — «*констатации*»; живо — ядреное, крепкое, притче-подобное слово.

«Образование» современной России — образование самосознания.

13.

И нет спора: в России писать тяжело (нет бумаги, чернил, типографий); и — все таки: разве не было научных открытий в России (Рождественского, академика Марра, других); и разве в *«российской»* России — не восходили таланты? Скажу откровенно: таланты и продолжались, и рождались лишь — там: там — творил Сологуб, рос Замятин, рождались Серапионовы братья, явились: Всеволод Иванов, Пильняк; Ходасевич сказался большущим поэтом, сказалась Марина Цветаева; творчески жили: и Гумилев, и Ахматова; достижения Клюева, Маяковского, Пастернака, Есенина, Шкапской и многих других — не Берлин: здесь явились «талантики»; там — созревали таланты: и — корифеи работали: Горький и Ремизов; расцвела фаланга рабочих поэтов: Александровский, В. Казин, Н. Т. Полетаев; и — прочие; русская стихотворная строчка достигла культуры высокой; писались изысканные работы о форме; не только не отставали мы в утончении художественной культуры: мы шли вперед, мимо *«лозунгов»* и *«прогнозов»*, насильственно опускающихся ко дну океанов.

Скажите: Вахтангов творил — из Берлина, из Праги? И Станиславский — «бежал за границу» для творчества? Что родила эмиграция? Несколько интересных потенций Дроздова, иль Г. Алексеева; два три имени, обещающих, глядь; и — обчелся.

Огромная *«констатация»* in abstracto и минимальная реализация in concreto — вот деятельность зарубежной России; реализация и никаких *«констатаций»* — Россия *«российская»*. Констатировать с *«вообще говоря»*, с *«так сказать»*, с *«всем известно»* и строить *«леса»* без внутри возводимого здания новой России — легко; очень трудно конкретно работать в России; и — вот же: работают.

Этим — все сказано.

14.

Останавливаю себя: обобщаю уже; пахнет выводом слово мое; обобщать — не хотел; но — хотел бы описывать факты.

Не знаю — их столько; хотя бы — факт жизни моей; в 19 году жил я в комнатке в два — три шага; заставляли пространство

постель, столик, комодик да этажерочка; рукописи, бумаги, наброски и схемы, и книги я сваливал на этажерочку горами (не было места их все разложить по порядку); переселился сюда я к печурке, которая награждала 3 раза в неделю ужасным утаром (я падал как за - мертво); и все таки — холодно было; замазал я форточку; и проветрял свою комнату, открывая дверь в смежные комнаты. Утром бежал в чужих валенках в мерзлый музей собирать материал по истории революционных коллекций: числился в это время «*эпизодически*» сотрудником Отдела Охраны Памятников; в Музее сидел в теплой шубе и в шапке (в перчатках); и согревая оледенелые до колен ноги, плясал я, выписывая из «Moniteur» разрушая глаза себе шрифтом (убийственно - мелким); когда уезжал в Петербург, груды выписок я оставил на этажерочке (запереть их не мог: ключа не было); вернулся, и — растащили часть выписок (вероятно, завертывали ими следки).

В то время читал я курс лекций о самосознании — в помещении частной квартиры.

Москва была вечером — темная, мертвая (грабили); увязали в сугробах, скользили в оледенелостях; после рабочего дня, из хвостов, через тьму и сугробы тащились во мраке усталые слушатели; в комнату с температурой ниже ноля, в освещенную тускло суровую комнату; в шубах сидели и потопатывали ногами (от холоду).

Жил я близ Пресни, в горбатеньком переулке, куда ветер гнал снег от Кудринской Площади; чтоб пробраться в «Москву», надо было войти в снежный пояс; и до колена провязнуть в снегах; я выпрашивал валенки у кухарки, у Вари (своих не имел); с ее теплой ноги надевал: шел на лекцию, спотыкаясь и падая.

Приходил: аудитория (человек 35) отдавала духовным теплом; я читал — 3 часа, позабыв все на свете: аудитория в ледяном помещении грелась духом; и — грела меня; отогревался от выписок, от Музея, утара и кашля: за всю неделю; и — все таки: курс прекратили мы; наступили морозы; на лекциях — мозг замерзал.

Аудиторию этих лекций запомнил: мы не случайно с ней встретились; чувствовалось: между нами возникло огромное дело: *культура* возникла; самосознание наше ковалось; со всеми

слушателями ныне связан я; лектор и слушатели стали: братьями, сестрами.

В это время господствовал тиф; очень многие — голодали, дрожали в нетопленных помещениях; днем — служили (советская служба), стояли в хвостах; и там, именно, вероятно, вынашивался конкретный вопрос о сознании, смысле; вопрос — гнал на лекции.

А в начале 20 года читал я свой курс «Культура мысли» (во «Дворце Искусств»): та же картина; вернувшись со службы остатками карандашей я раскрашивал схемы, а за стеной у меня громко бредил тифозный; пайка еще не было; мой паек — та духовная радость, которая продержала меня: солидарность с аудиторией. И заглавие курса «Культура мысли», конечно, же не случайно; в самосознании слушателей я подслушал ее: зашевелилась впервые, быть может, культура мысли в России: не *«так сказать»*, *«вообще говоря»* мельгуновская мысль: мысль имрека, Ивана, Петра — зарождалась впервые; мне выпало счастье — быть иногда акушеркой рождаемой мысли.

Что может сравниться с духовною радостью? Голод и холод, утары, бессмысленность службы — ничто.

Философствовал — каждый: над ядом... судьбы; каждый был, хоть на миг, философствующим Сократом: над ядом; и *«чаши с ядом»* — кончина Сократа для греков, его современников; и она же — восстание культуры Сократа в веках; вот такое рождение мысли над ядом в России — рождение России; и — возрождение в культуру грядущего; каждый, кто был эти годы немного живым, ощущал удивительное раздвоение сознания при ощущении распада былых материальных удобств; приходилось ему восклицать после стойки в хвостах, после бегства по скользким, не сколотым троттуарам: «Так жить не могу: лучше — смерть». А в другие моменты признание другое естественно вырывалось из сердца: «Да, жить — хорошо» — «Что хорошего?» — могли бы ответить — «Жить — в голоде, в холоде и под угрозой: повинностей, тифа и вшей».

Тем не менее: воспоминанием о моментах высокой моральной фантазии отдельных сознаний, о свете любви, бескорыстия, братства живут эти годы во мне; ведь вот:

— «Жить — не могу: хорошо!»

Парадокс этой фразы есть часто весьма парадокс современной России; я устанавливаю, не раз'ясняя его; он, опять таки, — факт восприятия.

15.

Члены совета одного философского общества (уважаемый критик, почтеннейший теоретик искусства, философ, писатель) устраивали в Петербурге собрания — для членов совета (еженедельно); неделя была переполнена: курсы, кружки, семинарии; по воскресеньям собрания в переполненном зале с упорными прениями, по понедельникам же — коллоквиум для себя; или — ставилась тема (культурная), или кто-нибудь из четырех избирался, как жертва; и на устои его мирозрения делались нападения; разгорался серьезнейший спор: так трепали друг друга, что пух летел; заседания публичные, очень живые, и длящиеся часами, казались скучными перед острейшими, напряженнейшими беседами этих четырех уж почтенных энтузиастов; один член совета являлся на эти собрания из Царского, а другой, истощенный докладами, заседаниями и стояньем в хвостах пересиливал одолевавшую слабость, он — молодел на беседах; здесь то именно высекались сознании темы еще не написанных книг.

16.

И вот — тоже факт.

Уже в 8 часов запираются двери в Берлине; и — ни к кому не пойдешь; после дня трудового естественно отдохнуть в разговоре; и отогреться в духовном общении, чтоб запастись электричеством мысли; ведь электричество это рождается между людьми; ведь из кончика пальца не высосешь многого; человеческое общение — лаборатория вопросов культуры.

Естественно, что идешь к представителям русской культуры, к писателям-братьям, к художникам, критикам, собирающимся в какойнибудь «Diele»; ходил в одно «Diele»; там просиживал ряд вечеров; и... и... и... — не припомню я ни одного разговора, которым бы можно мне отогреться; о чем говорилось?

О гонорах, о вкусе мороженого, о текущих малюсеньких дрязгах, о сплетнях; и более — ни о чем; да Сократа над чашей тут не было; обыватель над «шэрри-коблером» посиживал тут и скучал над собой и другими; тут действовал «*допельт-коньяк*»; и — обсуждалось: этот вот выпивает до 18 рюмок; тот столько-то трубок выкуривает. С отчаяния отдавался я пиву, чтобы почувствовать что-нибудь, чтоб не воскликнуть в отчаянии.

— «Господа! Да нельзя же: совместное чавканье для сокрытия совместной зевоты. Ну, разойдемся: ну, будем зевать в одиночку; и в одиночку отчавкаем... Человек — не «*субъект*» прагердильных продуктов. От хлеба я сыт и от пива я пьян, но я... голоден, голоден: дайте мне хлеба духовного! Холодно мне в этом «*тепленьком*» месте культуры «*берлинской России*».

Охваченный горестным пылом, вставал из-за русского стола я и бежал к своим *немцам*: к совсем незнакомым знакомцам из милой пивной, чтобы приветливо улыбнуться такой непосредственной Fräulein Mariechen мне здесь подающей, поговорить с постоянным сидельцем пивной о философии Шопенгауэра; право: у Fräulein Mariechen в пивной я себя ощущал не в прострации; и за столиком русско - берлинской богемы я ощущал — не одиночество даже, не «*ноль*»: *минус ноль*, отрицательную величину, иль — внедрение в душу каких то дряннейших субстанций, не только мне не дающих морального импульса к творчеству, но отнимающих у меня очень малые силы, какие в себе ощущаю еще; эти силы — Россия «*российская*», мне не дававшая перьев, бумаги, возможности тихо работать, но заряжавшая силами.

В «Diele» теперь не хожу: купил чайник, спиртовку; мне чайник, вскипая, бормочет невнятное что-то, но — милое что-то; и из мелодии чайника вынимаю я мысли; вот эти вот строки, воспоминания о российской России навеены: бормотанием чайника.

17.

Я приехал в Берлин, переполненный планами; за последние годы жизни в России привык к коллективной работе кружков, к углублению в проблемы культуры, сознания, смысла,

в проблемы литературного стиля и ритма; в Берлине, естественно, предполагал я, что — будет работа студийного рода; предупреждали меня: философия что-то не в моде здесь; все таки: я отважился — читать лекции.

Баловала Россия — не по заслугам: вниманием к темам моим; полупустая и неизвестная аудитория встретила: здесь, в Берлине. Обычно, в России через пятнадцать минут разбираешься совершенно конкретно в составе аудитории; по глазам, по малейшим немым, выразительным жестам я знал, кто — со мною, кто — против; кто следует за течением мысли и кто — отстаёт; приходилось порою на лекции обращаться к отдельным сознаниям, с ними работать, оспаривать; тема всегда преломлялась в составе пришедших; и тут - же, естественно, возвращалась обратно, покрытая примечаниями, недоумением, согласием; было всегда притечение к теме — из публики, видоизменяющее мгновенно план целого; лекции превращались в импровизацию; слушатель превращался в со-лектора, контрапункт проведения темы по душам — всегда возникал; иногда себя чувствовал вовсе не лектором я: дирижером сознаний пришедших, организатором хаоса звуков душевных в сложнейший оркестр; коллективное творчество здесь возникало, врываясь в голую схему доклада, цвета ее красками; и обычно, к концу моей лекции аудитория, передо мною сидящая, делалась мне персонально известна; передаю я конкретное восприятие индивидуальных сознаний, передававшихся порознь душе моей; точно меня осеняла мгновенная интуиция: этой вот девушке, тихо застывшей, сказать надо то - то, а этому красноармейцу — вот это: и ткани доклада естественно распестрялись этими (синими) нитями слов для товарища-красноармейца и этими (фиолетовыми) для внимающей девушки; лекция — разговором была (от души и к душе), организацией хаоса душ и Индивидуум коллектива. И вместе с тем: чувствовалось, что *сентенцией, популяризацией* публика оскорбилась бы; часто, отвлекшись, забыв всех и все, выговаривал для себя самого, одного, то заветное, что пережилось ночами в уже замерзающей комнате; может быть, что-то невнятное я бормотал; но *невнятное* именно делалось *внятным, понятным*: сердца — принимали, сердца переживших то именно,

что я выражал. Мои лекции были мне индивидуальной беседой; и *массы* не видел я: индивидуумов, собеседников молчаливых, перед собою — я видел.

Русские лекции — не популярный доклад, а работа, тяжелая, действие вместе: со - действие.

Эту работу в Берлине проделывать невозможно; ничто не течет к тебе; схема доклада не превращается в контрапункт проведения темы по душам; с чем шел, с тем ушел; и со - действия нет; потому что сидящие перед тобою сливаются в впечатление твоим в одну общую массу, не распадающуюся в индивидуум; «субъект» голоса — я; аудитория — «субъект» уха; не распадается этот субъект на Ивана, Петра; не к Ивану и не к Петру обращаешься, а к «милостивому государю»; и — «милостивый государь» невнимателен (он — спешит, может быть, в Prager Diele); и — ты невнимателен; зевот скуки под формою слова; и под формою уха — лишь ощущение перепонки, в которую сострясается воздух. Я лекции бросил.

18.

Посиживал, вероятно, на них образованный Мельгуновым: «О, догматов, догматов, лозунгов, выводов, больше прогнозов и *«вообще»*. Констатируйте, что *«из себя»* представляет — то, это... Но *«констатации»* — нет уже: есть описание факта, конкретного данного случая; есть — изучение материалов сознания; и первая статья изучения этого: зарисовка; зарисовать что -нибудь не легко; надо много учиться натуре; *«натурь»* же в выводах, лозунгах, *«констатациях»* о современной России и нет; нетерпелив *«констатант»*; перепрыгивая через факты, он обобщает, не признавая, что *«общее»* его — в частном случае; и — под углом частной схемы; нет *«общего общего»*, есть лишь *«общее частного»*, общее — ноль, приставляемый к единице: один — это десять, — два сто; единица же, частное общего, или все - общее (в схеме числа) — образ: Иван в данном случае.

Эту малую истину твердо, конкретно мы знаем теперь: мы ее пострадали; узнали, что мысль не есть *«изм»*, образование сознания — она; и сознания данного; и мы узнали, что *«милостивый государь»*, или *«субъект»* есть себя сознающее «я»; у пред-

дверия древнего знания встречали слова: «О, познай себя». Самопознание — отрез всех «измов» (определений словарных); самопознание — медленная зарисовка *«сырья»*, иль сознание и кропотливейшее обложение словами предмета познания, как глиною: здесь в Берлине не делают слепка с натуры; предмет заменен — геометрической схемой: *«прогнозом»* и *«выводом»*; зарубежные русские русского самопознания не имеют; под *«констатацией»*, под сплошным *«вообще»* не имеют они ничего — *«в данном случае»*; в *«данном случае»* — бурчание Бурцевых, подозревающих, — подозревающих что, иль кого? Я слышал не раз: «С той поры, как погибла Россия, со времен подлой измены союзникам! Кому? Пуанкарэ? Чепуха начинается: кубический шар, иль — квадратная точка.

Из под *«общего»* лозунга в *«данном случае»* выглядит — «квадратная точка». 

Дарья Маркова

Мир как миг

Алексей Макушинский. *Остановленный мир.*

Роман. Издательство «Э», 2018. ISBN: 978-5-04-091926-0

Проза, стихи, эссе — разные виды художественной речи, и хотя Алексей Макушинский не раз говорил в интервью¹, что эссе и стихи с прозой несовместимы — пишется или одно, или другое, — тем интереснее видеть единство этого большого текста. Новый роман тут работает как собирающая линза.

«Остановленный мир».

«Остановленные мгновения мысли».

«Остановка мира».

Первое — название романа.

Второе — авторская образная характеристика эссе из предуведомления к сборнику «У пирамиды». (В числе других в этом сборнике есть эссе о стихотворении Анненского «Чёрный силуэт». Местами оно читается как комментарий к роману.)

Третье — выражение, которое нередко используют, говоря о дзен-буддизме, занимающем такое большое место в истории героев Макушинского. Десять лет назад оно появилось в статье о сборнике его стихов «Свет за деревьями» и, видимо, попало в цель, потому что из всех критических высказываний именно оно выбрано для страницы «Биография» на сайте писателя: «Это — такое состояние созерцания, некой «остановки мира», когда спокойно, никуда не торопясь, можно рассмотреть каждую деталь, обдумать её и разные ассоциации, ею рождаемые»². Такое состояние, продлённое в прозаическом тексте, дало почти 800 страниц созерцания, обдумывания и ассоциаций.

Остановленный.

Остановка.

¹ Например, тут: <http://eclectic-magazine.ru/aleksej-makushinskij-roman-paraxod-v-argentinu-intervyu/>

² Егор Радов «Жажда света» // Зарубежные записки, 2008, 14 <http://magazines.russ.ru/zz/2008/14/ra16.html>

Остановись.

Мгновение.

Миг.

Мир.

Едва названный, *тот миф, тот миг* уходит в прошлое, прошлого становится всё больше, ассоциации ветвятся, предложения, раз начавшись, не заканчиваются почти сколь угодно долго. Сидя на подушке для медитаций, лёжа на неудобной постели гостиничного номера или на чёрном диване в гостях у старинной приятельницы, герой-рассказчик позволяет миру струиться вокруг, превращает чужой рассказ в свою историю, включая её в свою «вселенную воспоминаний» и фиксируя её в книге.

Этот роман — одновременно история его написания. В самом начале рассказчик сообщает, что предыдущая книга кончена: «Ещё я думал о том, что вот, увы, роман, всё последнее время меня занимавший — «Пароход в Аргентину» — ...роман этот, к моему счастью и несчастью, закончился, что он, в общем, дописан, доделан, и что ещё я езжу, по инерции, по Европе в поисках архитектурных впечатлений, источников вдохновения, но что уже нужно не выдумывать (выдумать их нельзя, как бы ни хотелось их выдумать) другую историю, других персонажей, — нужно просто ждать (и неизвестно ещё, как долго ждать), чтобы они сами во мне появились, склубились, обрели черты и ожили, и заговорили со мной и друг с другом».

«Остановленный мир» — зафиксированный процесс «сгущения» персонажей и нового текста (который мы, собственно, и читаем), обретения того и другого.

Поэтому в первой части книги в фокусе внимания — герой-нарратор, она так и называется: «Часть первая, где больше всего говорится обо мне самом». «Я» в центре — подтверждает эпиграф из Тютчева: «О, нашей мысли обольщенье, / Ты, человеческое Я...» Читателя подводят к любимой цитате рассказчика: «Потому что там, где пробуждается любовь, умирает я, тёмный деспот». Герой-автор много раз повторяет по-русски и по-немецки эти слова персидского поэта Руми, чтобы потом вернуться к ним в примечаниях. Там стихотворение приводится

уже полностью — в переводе Фридриха Рюккерт и с русским подстрочником.

«Я», персонаж-автор, неизменно фигурирует на страницах романов Алексея Макушинского. «Моё правдивое повествование», — иронизирует писатель, вечно подчёркивающий свою верность вымыслу. Не зря автор в словах, предпосланных роману, утверждает, что «все персонажи (включая автора) вымышлены». Задача читателя — остаться в вымышленном мире, не пытаясь жадно вычитать из него подробности биографии, воспринимать это «я» рассказчика, «я» лирического героя и разбросанные по текстам указания на подлинные произведения и события, приметы жизни автора как структуру, организующую истории и впечатления.

Вторая часть книги — рождение (и смерть) любви. История любви Тины и Виктора кажется основой сюжета. Кто они такие? Откуда взялись? Это те самые персонажи, которые клубятся, обретают черты, оживают, заговаривают — причём активно — не только друг с другом, но и с героем-рассказчиком. Это они обретают голос, приносят с собой новые вселенные историй. Тина — фотограф, Виктор — буддист, рассказчик — писатель. Каждый из них по-своему останавливает мир. Тина ловит его в объектив, в кадр. Виктор ищет дзенскую «остановку мира» — остановку ума, парадоксальным образом возвращающую подвижность миру (как в финале романа). Писатель выбирает свой способ фиксации мира в тексте.

Дзен, фотография, писательство — способы «справиться с жизнью»³. Попытки «поймать» этот мир, почти всегда связаны с пересозданием, переупорядочиванием и переустройством. В романе зафиксированы три пути, и два из них — фотография и писательство — оказываются родственными по своей природе.

Третья часть книги, казалось бы, рассказывает об исчезновении героя, а на самом деле она — о появлении. Текста. Мира. Мира художественного текста. «Тут говорится о разных вещах и людях, в том числе обо мне и о Тине, но больше всего говорится, пожалуй, о Викторе».

³ См., например, интервью с Алексеем Макушинским: http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=2618

Каждый придумывает за Виктора его путь, где он сам — неизвестно, да и не так важно. С осознания этого момента рассказчик начинает писать роман, который мы читаем теперь: «Достаточно Виктора исчезнувшего, сказал я себе. В жизни я бы мечтал найти его, для литературы он, найденный, уже мне не нужен». Виктор сгустился, склубился — появился как герой. Его появление уже структурирует, как всегда всё выстраивает взгляд назад, ретроспектива. В мире всё взаимосвязано, повторяет герой-рассказчик раз за разом, и этот герой — сам часть структуры, выстраивающей взаимосвязи между разными текстами Макушинского. Писатель Макушинский, его романы «Город в долину», «Пароход в Аргентину» и их герои — Павел Двигубский, Александр Воскобойников — *Alexandre Vasco*, — тоже входят в текст нового романа.

«Всё как-то связано в мире, но мы не знаем, конечно, как. Мы чувствуем, что всё как-то связано в мире, что всё со всем соотносится, одно отзывается в другом и перекликается с третьим — слова, и поступки, и события, и воспоминанья, и то, что было, и то, чего не было, — но эта связь ускользает от нас, манит нас, не даётся нам в руки». Так выстроен и роман, долго не дающийся в руки читателю, но простроенный автором, создающим эти связи.

В третьей части книги герои отчаянно засыпают (после двух бессонных ночей, соответствующих первым двум частям романа). Метафорическое послание: «Вы спите, вам надо проснуться» — сочетается с буквальным отсутствием сна: бессонными ночами, попытками не уснуть за рулём... Пробуждение состоится в финале, когда героям удастся на миг перестать гнаться за чем бы то ни было — новым текстом, новым кадром, просветлением, Виктором. В тот миг, когда всё это соприисутствует рядом с ними, когда они сами замирают в настоящем, остановленный мир оживает. «А ведь мы и живём, думал я, благодаря этим кратким, всякий раз неожиданным, преодолевающим жизнь пробуждениям», — осознаёт герой-рассказчик. Одно из них зафиксировано в финале романа: на миг, на мгновение (2,7 секунды, как указано в самом тексте) мир замер, ожидание наполнилось. Персонаж появился, прожил свою книгу и снова вышел вон. 

Мария Пекер

Одиночество в квадрате

Татьяна Дагович. Продолжая движение поездов.

Повесть и рассказы. Время, 2018. ISBN: 978-5-9691-1731-0

Неудивительно, что тема одиночества и поиска родственного существа в чуждом и отчуждающем протагониста мире всегда была лейтмотивом эмигрантской прозы. Третья книга Татьяны Дагович, заглавная повесть которой принесла ей первое место «Русской премии» 2016 года, не исключение. Несмотря на то, что кто только не писал о страданиях чужого среди своих и совсем не-своего среди чужих, писателю удалось найти свой особый подход. Для Дагович одиночество — это своего рода оксюморон; оно постоянно раздваивается, точнее, удваивается, возводится в квадрат, потому что у каждого героя (вернее, героини) повести и пяти рассказов есть двойники, продолжающие своё движение по параллельным рельсам.

Героиня центральной повести Сузанне, как и сама автор эмигрировавшая из Украины в Германию, живёт в отелях, а работает на компьютере в поездах. В одну из поездок она знакомится со случайным попутчиком, Патриком, который бежит от неудавшегося брака и пытается спастись от депрессии. У них завязываются отношения, которые, однако, быстро заканчиваются. Сузанне узнает, что бабушка, которая её воспитала, была неродной, а её младенцем нашли в лесу рядом с Чернобыльской зоной. Тут повесть плавно переходит в плоскость магического реализма — оказывается, что таких подкинутых (чуть ли не инопланетянами) младенцев, найденных в лесу, много. И Су пытается найти остальных подкидышей, чтобы создать для себя некий эрзац семьи.

Вообще, фантастических элементов много: работа Су тоже вполне себе из этой области — она пишет инструкции для применения лекарств, текст которых, в лучших быковских традициях, помогает от болезней лучше, чем сами лекарства. Но

Дагович, следуя заветам постмодернизма, постоянно уходит от определённости и оставляет читателю свободу интерпретации. Вполне возможно, что Керстин, сбежавшая из отделения психиатрии и рассказавшая Су про инопланетных младенцев, которая говорит метафорически про всех эмигрантов: «Трудно объяснить, откуда мы. Можно сказать «не отсюда»... Но я не уверена, что можно сказать «из другого места»» — и на самом деле сумасшедшая. Может, и сама героиня тоже постепенно опускается в мрак безумия. Как знать. В конце концов, Су и Патрик (который опять появился в её жизни) решают поехать в Украину. Символично, что родина для Дагович — это не ностальгические воспоминания о запахе свежесыпавшего снега, белых берёзках и салате оливье на Новый год. Совсем наоборот, место рождения, то есть место первой точки нашего соприкосновения с землёй — не столько географическая локация, а сконцентрированная и смертоносная энергия. Родина — токсична, потому что она навсегда сделала из нас чужих на всей остальной поверхности земного шара.

«Продолжая движение поездов» — это книга о бесконечном и бесплодном поиске своего места, о вечном движении, которое парадоксальным образом ничем не отличается от вечного стазиса. Деепричастие в названии подчёркивает отсутствие начала и конца, герои Дагович плывут по своим траекториям, не надеясь причалить в классическую тихую гавань. Недаром сквозной в книге мотив — вода, будь то море, река, дождь или душ.

Чем дальше читаешь, тем меньше важен сюжет, тем больше сюрреалистических элементов и свободы интерпретации. И самое интересное — это искать двойников протагониста, угадывать, где одиночество начинает «зеркалить» и, тем самым, давать надежду на утешение.

Две подруги, цепляющиеся друг за друга в по-картинному названном рассказе «Две тысячи первый, ноябрь, уикенд», пытаются спастись от безрадостной жизни. И хоть одна уехала в Москву, поступила в университет и, вроде как, устроила свою жизнь, ничем её тоска не отличается от той, которую испытывает оставшаяся в провинции суицидальная продавщица в киоске.

В «Жительнице» — замечательном оммаже каноническим «Жёлтым обоям» Шарлотты Гилман — эмпирировавшая в Германию Марта телепатически наблюдает за оставшейся в саратовской квартире «жительницей», её альтер эго. И опять: непонятно, где кончается одиночество и начинается безумие или, наоборот, освобождение героини.

Иногда двойников несколько, как в «Регенерации солнца», где главная героиня Нина находит в клинике для психически неуравновешенных богачей свою любовь, писателя Марко и одновременно исправляет судьбу другой Нины, его первой любви.

В «Ночь рождения» девочка Мария празднует свой одиннадцатый день рождения и видит сон, но вроде как и не сон, и понимает, что «вся жизнь представилась утекающей из крана водой с запахом крови. Водой, в которой сама она — молекула, и мама — такая же молекула, расположенная по течению ниже её».

Эффект отчуждённости усиливается языковыми особенностями текста. Правда, не всегда понятно, намеренно или нет автор использует кальки с немецкого («аутфит» — слово, которое, несмотря на обилие англицизмов в современном русском, всё же практически не используется; вопрос «моё присутствие тебе не помешает?»). Но если допустить, что это осознанное авторское решение, как и не-(только)-русские имена героинь (Сузанне, Марта, Нина, Мария), то язык усиливает ощущение оторванности, не-принадлежности героев.

Банальная, в общем-то, мысль об «извечной дали, пролегающей между человеком и человеком» приобретает у Дагович новый смысл. Каждый человек — пришелец, чужак в этом мире. Нет в нём и «своих половинок», но остаётся шанс найти своего двойника, отражение собственного одиночества. В зеркальности, параллельности движения наших поездов и заложена надежда для Дагович. Невозможно занять правильное место в мире; всё, что мы можем — двигаться по нему, надеясь в какой-то точке столкнуться со своим отражением и понять, что в своём одиночестве мы не одиноки. 

Ксения Сафронова

Собаки, летящие вниз

Wlada Kolosowa. *Fliegende Hunde. Roman*. Ullstein fünf, 2018. ISBN-13: 978-3-96101-006-6

Раз-два-три. Три кусочка хлеба на весь день. Можно и потерпеть. Ненависть к своему телу постепенно нарастает, как и зависть к лучшей подруге. Обо всём этом пиплет Влада Колосова в своём дебютном романе *Fliegende Hunde* («Летающие собаки»). Оксане — шестнадцать, ещё пару недель назад они с Леной проживали одну жизнь на двоих. В школе за одной партой, на улицах провинциального городка, в кровати во время долгих мечтательных ночей. Дружба только начала переходить в любовь, о которой говорить не принято.

Лена уезжает в Шанхай попробовать себя в модельном бизнесе, подальше от захолустья Крылатово в Ленинградской области. Оксана от тоски пытается найти новую любовь, например, к своему телу. Сбросить бы немного вес — и всё будет хорошо. Девушка выбирает весьма циничный способ: ленинградская диета, или меню блокадного города. Оксана азартно ищет новые рецепты и пытается приготовить бумажные фрикадельки и суп из кожаных ремешков. Лучшая напарница в этом деле — баба Поля, прабабушка её подруги, когда-то пережившая блокаду. Теперь у Оксаны есть подруги по форуму для худеющих и постоянные мысли о сорока килограммах.

Пока одна попадает в онлайн-секту и издевается над своим телом, другая пытается это тело продать. Голод Лене тоже знаком, не потому что моделям нельзя толстеть — просто она пытается выжить в Китае на смешные деньги от агентства. Раз в неделю девушки получают подарок, вылазку в ночной клуб, но и здесь нужно немного поработать. Кукольные лица и стройные ноги ценят не только в модельном бизнесе.

Скучая в тесной квартире в родном Крылатово, Оксана видит за окном летающих собак. Тех, о ком подруги раньше

фантазировали и мечтали. Собаки улетают вместе с детством, невинностью и спокойным сном до полудня. «Оксане постоянно говорили, что юность — самое счастливое время в жизни. Но так могут думать только те, кто уже давно не молод и забыл, как это было», — пишет Колосова.

За комичными сценами скрывается серьёзная проза: девочки становятся старше и неизбежно остаются наедине со своими комплексами, страхами, похотливыми мужчинами (неважно, это неповоротливый гопник или смазливый фотограф с американскими корнями) и уже по-настоящему взрослыми проблемами. Однажды Лена услышит: «Никто не заставляет тебя здесь оставаться. В любое время ты можешь поехать домой: есть картошку в двухкомнатной квартире, забеременеть от одноклассника». Действительно, выбор только за ней, но как принять правильное решение, когда это твой первый в жизни самостоятельный шаг?

В отличие от другой мигрантской литературы, «Летающие собаки» не пропитаны тоской по совестному прошлому, девяностым или началу нулевых. Все события в книге могли произойти вчера, сегодня или произойдут завтра. Если это не форум о ленинградской диете, то любая группа анорексичек в социальной сети «Вконтакте». Если модельная поездка, то не в Шанхай, а в Сеул. Да, эти девочки среди нас: потерянные, сбитые с толку, неуверенные и напуганные. Вот только непонятно, как к ним относиться. Колосова их не жалеет, пронизывает, бросает в неприятные ситуации. Это всё было с нами, и мы с этим справились. А значит, и девочки тоже справятся. 

Антивозрастные процедуры для немецкого кино

Предисловие редактора

Кино — ожившие картинки из твоей жизни, всё, что вообразал в голове, тебе показывают в реальности. Невероятно? Факт.

Кино плотно вошло в жизнь и уселось на первом ряду твоей жизни, и выгнать его оттуда не получится ещё ближайшие лет сто пятьдесят. Единственный процесс, которому оно подвержено — старение. Кино стареет очень быстро. Фильм стареет тем быстрее, чем он художественнее. Не стареет только документальная лента или та, которая находится на грани с документальной. А кино игровое дряхлеет катастрофическими темпами. Проходит три-пять лет, а то и меньше, и фильм уже не нужен. Прежние ленты уже не смотрит новое поколение: ткань замысла разрушилась и не представляет собой никакой энергетической ценности. Смыслы не считываются и не декодируются. В живописи или литературе это иначе. Там красивая старость. Хотя и язык стареет, но не так окончательно, как кинематографическая реальность. А живопись только вытесняется со временем.

У каждой страны есть своё кино. Есть оно и у Германии.

Немецкое кино — кто это и что это? Это ли Тиль Швайгер?

А фильмы? Только ли про войну или фильмы для взрослых?! Это первым приходит на ум. Но и эти смыслы устарели. Войн стало больше, и про них снимают все, а взрослые снимают про себя сами своё кино.

Возраст молодого немецкого кино измеряется интересом к нему зрителя и возможностью снимать для зрителя. Сегодня же современное немецкое кино незаслуженно замалчивается прокатом и редко находит место в сетке телевизионного эфира. Потому оно молодо. Смыслы Тома Тыквера (*Tom Tykwer*) уже не ясны восемнадцатилетним, так как их новое кино — это социальные сети, видеоблоги (влоги) и формат *stories*. Одновременно это новый стереотип и боязнь, что кино будет вытеснено

видеозаписями социальных сетей, где больше правды и больше жизни. А кино? Кино — это же постановка, «наигранная» жизнь, и в силу этого современный зритель не ожидает, что будет искренне доволен, придя в кинотеатр, тем более, немецкие имена актёров не на слуху. Однако заблуждение развеивается, как только начинаешь смотреть фильмы — самобытные, ненавязчивые, не пафосные. Кино реальное, деликатное, но в то же время «непричёсанное» и дерзкое. Где-то простоватое, как детективный сериал *Tatort* («Место преступления»), а где-то прямое и исторически любопытное, как сериал *Babylon Berlin* («Вавилон-Берлин»).

А современная Германия не сходит с новостных полос по миграционным вопросам, и рождает сотни новых смыслов и активно снимает про это. Так, на Берлинале 2011 года в конкурсной программе был представлен фильм *Almanya — Willkommen in Deutschland* («*Almanya* — Добро пожаловать в Германию»), который сняли сёстры Несрин и Ясемин Шамдерели (*Nesrin Şamdereli, Yasemin Şamdereli*), а годом ранее там же была премьера ленты *Shabada* («Шахада») Бурхана Курбани (*Burhan Qurbani*), немецкого молодого режиссёра с афганскими корнями.

Кинематограф не ленится освещать вопросы адаптации и интеграции мигрантов в европейское общество — в основном продукцией сериального плана. И если *Almanya* — это комедия, то фильм *Kriegerin* («Вонительница», 2011) Давида Внendt (*David Wnendt*) — уже драма с «несчастливым» концом.

Нераскрытые и непоказанные смыслы залегают и в немецком артхаусе, и в фестивальных фильмах, и это — место взросления и становления кино Германии. Его не много, но оно попадает в яблочко. Так было с фильмами *Oh boy* («О, бой!», 2012) Яна-Оле Герстера (*Jan-Ole Gerster*), *Im Juli* (в русском переводе «Солнце ацтеков», 2000) Фатиха Акина (*Fatih Akin*), *Das Leben der Anderen* («Жизнь других», 2006), Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (*Florian Henckel von Donnersmarck*) и некоторыми другими.

Как вы видите, «возраст» кинолент важен, но он и условен. Остановить старение кино нам не удастся, но антивозрастные процедуры есть. Основная — смотреть кино. Вместе это увлекательно.

Вера Колкутина

Кино Германии и о Германии

Обзор Веры Колкутиной

Все три фильма из первого обзора сняты на протяжении последних восьмидесяти лет — начиная с довоенных времен и заканчивая буквально «вчерашним» днём. Мы выбрали их намеренно, чтобы показать наглядно — время идёт, почти век за спиной, но для наших глаз это не имеет значения. Все фильмы связаны с Германией 1930–40-х годов. Крайне интересно то, что чем позже снят фильм, тем о более раннем времени он рассказывает.

«Олимпия» (*Olympia*, 1938). Лени Рифеншталь

Документально-исторический фильм

Один из самых известных примеров довоенной европейской документалистики — именно фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь (*Leni Riefenstahl*), великолепный образец политизированного искусства тоталитарной эпохи. По прошествии восьмидесяти лет кинолента остаётся источником вдохновения для пиарщиков, дизайнеров, ученых, социологов, политологов, культурологов и даже домохозяек.

Перед зрителем открывается срез целой эпохи, демонстрирующий идеализированный образ Третьего рейха, где господствует культ поклонения его вождям. Их демонстрация и есть лейтмотив произведения.

Фильм — образец эстетики визуального, и, начав просмотр, вы увлекаетесь образами так же, как шутками Камеди Клаб — мгновенно, и ждёте смены декораций.

Первые кадры, намекающие на возрождение античной традиции, обозначают господствовавшую в тот период в Германии идеологическую доктрину. Демонстрируется попытка возрождения идеала классической древности, перед зрителем будто восстаёт из руин полуразрушенный Акрополь в виде творения личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера

(*Albert Speer*), и знаменитый дискобол Мирона воплощается в молодых атлетов той эпохи — это квинтэссенция идеи всеобщего государства, Олимпа. В определённой степени это путь, пройденный европейской цивилизацией, великое наследие которой, как намекают нацисты, сохранили лишь они, что и позволяет сравнивать эллинский идеал с идеалом национал-социалистическим.

Да, вступительные кадры, несмотря на ощущаемую политизированность происходящего, производят сильное впечатление. Кинотекст наполнен разнообразными символами — огонь, колокол, монументальные сооружения, представленный в различных ипостасях идеализированный человек. В какой-то мере образ атлета, показанного в своего рода прологе, соединяется с образом фюрера немецкой нации, незримо удерживающего в своих руках все нити происходящего.

Авторы стремились продемонстрировать величие германского духа, впитавшего в себя уважение к классической античности, но и не забывшего об античном вожде германского племени херусков Арминии, которому, подобно божеству, чуть ли не поклонялся австрийский поэт и оккультист Гвидо фон Лист. Во всём этом и видится срез эпохи, тот, который хотели представить лидеры национал-социалистического движения — величие помыслов и идей, культ тела, культ силы, стремление к великому и непогрешимость вождей — это подкрепляет пролог второй части кинополотна, в котором идеальный человек новой эпохи возникает из «тумана прошлого», готовясь совершить «прыжок в будущее», ведущий к созерцанию нового эталона — храма света, созданного Шпеером, который символизирует новый порядок Третьего рейха.

Лента была хоть и затратная, но это были затраты технического порядка (массовка, камеры, плёнка). Сам сюжет был задуман просто: эмоции, эмоции и только эмоции. Фильм демонстрирует погружение в эпоху, останавливая внимание на эмоциях многочисленных зрителей на трибунах олимпийских стадионов. «Олимпия» — это своего рода энциклопедия целой эпохи, обеспечивающая погружение в прошлое. Ретроспектива, которую она дарит, может удовлетворить запросы исследователя — историка или же культуролога.

В то же время эта работа представляет собой настоящее учебное пособие по истории операторской и звукорежиссёрской работы, а также PR технологий в политике — перед нами один из лучших примеров использования техники репортажной панорамы, замедленных воспроизведения и движения, панорамирования, демонстрации крупных планов лиц и их фрагментов. Использование практики импрессионистского монтажа тела в движении, соотнесённой с реакцией зрителя, в чём видится некое «политическое» значение, вызывает большой интерес и сегодня. Да, кинолента задумывалась как массовый продукт, но в нынешних реалиях она попадает в категорию XXX, «кино не для всех».

«Гибель богов» (1969, ФРГ–Италия). Лукино Висконти
Историческая драма

«Гибель богов» — фильм противоречивый и оттого вечный. Где итальянский режиссёр, но немецкий актёрский состав и сюжет. Современная жизнь Германии не сепарирована от жизни континента, а её история — синтетична.

В центре — жизнь семейства промышленной аристократии барона Иохима фон Эссенбека (*Joachim von Essenbeck*). Он — глава металлургического концерна и 27 февраля 1933 года празднует день своего рождения в кругу родственников и приближённых.

С первых кадров возникает вопрос: где в фильме историзм? Кроме формы и аристократических нарядов сороковых, всё остальное — жизнь в любой момент времени. Хотя и наша с вами сегодня в Берлине.

Потому те диалоги, тайные и явные связи, влечения и увлечения, что вскрываются в процессе празднования рождения барона, — это не исторический фильм и также не документальный «текст», но яркое, острое, вызывающее философское размышление о природе человеческого бытия в исторических рамках — Веймарская республика тридцатых годов прошлого века.

Фактически перед нами предстаёт комбинация «Макбета», «Гамлета» и «Царя Эдипа» в особой эстетике. Поэтому на

примере семейства рисуется полотно истории алчности, трусости, предательства — вечных двигателей человеческой истории. Эту работу, часто именуемую «кинофреской», можно назвать философской притчей с вроде бы посредственным сюжетом (секс, насилие, кровосмешение), однако скрывающей универсальное философское содержание.

Лента вспарывает тупым ножом брюхо духовного кризиса, поразившего Европу в прошедшем столетии. Нож не заточен, и он застревает в «мягких тканях» брюха Европы: в её законах, взглядах и образах. В итоге всё то, что столь яростно уничтожалось ультранационалистами различных стран, стало частью современного культурного ландшафта. Режиссёр же ведёт нас путем иронии и гротеска к пониманию этого явления.

По сути, зритель видит на экране банальные вещи: мироощущение сына-изгоя, борющегося с роком, кровосмесительная связь сына и матери, ревность отца.

Тема нацизма уходит на второй план, демонстрируется проблема человеческого самосознания, порождающего ужасные мифы, фоном для которого и становятся предательства, убийства и разного рода извращения. Всё это к тому же для того, чтобы «оправдать» нацизм, показав, что основой социального бытия человечества является круговорот страстей, пожирающий каждого из нас. В порождённом «царстве ужаса» далеко не только нацисты виновны, но и те, кто созерцал эти события со стороны, подобно зрителям этой ленты.

В фильме переплетается целый комплекс исторических сюжетов, затрагивается проблема падения нравственности и борьба за лидерство в национал-социалистической партии с намёком на то, что между люмпенизированным главой штурмовиков Ремом и главой уважаемой семьи промышленников нет существенной разницы. Повествование акцентирует внимание, что каждый из персонажей «бытийного полотна» потакает собственным желаниям, предпочитая волюнтаризм бездумного потребления осознанию исторического выбора, который должен сделать человек. Основные герои — Софи, Мартин, Аспенбах или Брукман — не более чем тени в платоновской пещере, демонстрирующие банальную, но всё же трагическую историю,

где фоном становится горящий Рейхстаг — это пожар старого мира, который предстоит «тушить» зрителю, но сможет ли он, а главное, захочет ли?

Как видно, сюжет не существенен, он — лишь хрупкая оболочка, скрывающая гниющие корни мирового дерева. Режиссёр демонстрирует фатализм происходящего и ждёт завершения цикла, надеясь на перерождение, опять же, обращаясь к зрителю с вопросом: а возможно ли оно? Картина довольно пессимистична — она не расставляет акценты, не делая персонажей светлыми или же тёмными, лишь показывая тот мир, который увидел автор. При этом общая форма преподнесения сюжета не рассчитана на массового зрителя, однако тени, образы, силуэты могут заставить задуматься и его.

«Вавилон-Берлин» (2017/2018, 3 сезона). Том Тыквер, Ахим фон Боррис, Хендрик Хандлёттен

Сериал. Фильм-нуар, «чёрный детектив»

В основе сюжета — произведение почти неизвестного в русскоязычной среде немецкого писателя Фолькера Кутчера (*Volker Kutscher*), создавшего детектива Гереона Рата, главного героя «Вавилон-Берлин». Между тем, эта серия книг была удостоена швейцарской книжной премии *Burgdorfer Krimipreis*, присуждаемой за лучший детективный роман на немецком языке.

Отличительная особенность сериала Тыквера, Ахима фон Борриса (*Achim von Borries*) и Хендрика Хандлёттена (*Hendrik Handloegten*) в том, что к главным действующим лицам фильма причислен ещё и город. Да, Берлин как город в сериале — это герой, создающий свою, отдельную магию для зрителя.

Первым в англоязычном мире, кто заложил изначальный кирпич в фундамент берлинской легенды, стал Кристофер Ишервуд, автор романа «Прощай, Берлин» (*Goodbye to Berlin*), по мотивам которого гениальный Боб Фосс поставил фильм «Кабаре».

Двадцатые-тридцатые годы в жизни Германии и её Вавилона (в котором, кроме прочего, осело немало бывших граждан Российской империи, от Павла Скоропадского до Влади-

мира Набокова) — любопытное время, в котором преломился, как будто в кривом зеркале, весь будущий век с его сексуальной и психоделической революциями, бунтами подростков, поп-культурой, городской партизанщиной, полицейским насилием и чудовищными диктатурами.

Помимо немецких, в сериале снялись и русскоговорящие артисты: Северия Янушаускайте из Литвы, а также Олег Тихомиров, Денис Бургазлиев и Дмитрий Александров (Россия).

Часть 1 (2017)

Полицейский Гереон (артист Фолькер Брух, *Volker Bruch*) прибывает из Кёльна в столицу Веймарской республики в конце 1920-х, чтобы найти фотографию, компрометирующую важную провинциальную персону. Обстановка, которая царит в межвоенном Берлине (между Первой и Второй мировыми войнами), обыграна в названии — «Вавилон». Нравы в демократической Германии весьма вольные, что на фоне повсеместной нищеты и перманентного политического кризиса создаёт полное впечатление пира во время чумы.

Новая — коричневая — чума ещё не пришла, но её будущие крёстные родители уже готовят реванш и вовсю ведут «холодную войну» с коммунистами, властвующими над умами обедневшего населения, и с на глазах морально устаревающими безвольными либералами, стоящими у власти. Политики в сериале хватает, что выделяет «Вавилон-Берлин» на фоне таких телевизионных шедевров, снятых другими странами о том же времени, как британский «Острые козырьки» (*Peaky blinders*, 2013) и американский «Подпольная империя» (*Boardwalk Empire*, 2010-2014).

Огромными средствами, вложенными в проект, авторы воспользовались с немецкой практичностью: зритель увидит точнейшее воссоздание эпохи Интербеллума (между двумя войнами), а многочисленные анахронизмы, в том числе осознанные, только обостряют впечатление. Работает и эффект актёра: потрясающий перформанс-оммаж группы *Laibach* в исполнении обворожительной Северии Янушаускайте задаёт стиль выпешшим в эфир сезонам.

Янушаускайте играет русскую авантюристку Сорокину, и роль эта — одна из самых примечательных, несмотря на свою второстепенность. Русских в сериале вообще много. В основном это резиденты Советского Союза и члены группировки троцкистов-диверсантов. Стороны увлечены взаимной утилизацией, так что немецкая полиция быстро устаёт считать щедро разбросанные по берлинским улицам русские трупы. Без комичных промахов, конечно, не обходится, но на фоне попыток голливудской махины играть русских смотрятся они сущей мелочью. К тому же шпионская линия, закрученная вокруг поезда с российским золотом, — здесь, пожалуй, самая интригующая.

Часть 2 (2017)

Продолжение сериала компенсирует потерю динамики и стагнацию первой части, что в целом приведёт к третьему сезону. Недостаток внимания к «советской» части истории оказывается одним из главных изъянов первого сезона, в середине заметно провисшего, страдая от острой нехватки сюжетного прогресса. В сезоне втором, выпущенном почти сразу же после окончания первого, кое-что наверстать удалось.

Психоделический твист, украшающий концовку второго сезона, получился очень достойным, да и плюсы в данном случае всё же заметно перевешивают минусы.

Часть 3 (2018)

Третий сезон «Вавилон-Берлин» заряжен мистичностью. Есть в нём отголоски и мотивы сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Операторская работа третьего сезона на высоте.

Да и уже полюбились герои, уже стало народной забавой угадывать места съёмок в городе и затем зрителю самому там бывать, уже в каждом зрителе включился детектив Гереон, которому приходится выбирать между злом и «меньшим злом» и что-то из зол назначать «добром».

Третий сезон к показу приобрело более девяноста стран, и это для немецкого кинематографа значит только одно: большой успех. 

Сергей Руббе

Вечный СмердяковМонопьеса¹

Небольшая комнатуха с низкими потолками. На стенах изодранные и выцветшие от времени обои, в центре запертая дверь. В углу простой деревянный стол, покрытый грязной скатёркой. На столе самовар, поднос с двумя чашками, книга и пузырёк с чернилами. Тут же догорает свечка в чугунном подсвечнике. Пыль, затхлость, мерзость запустения.

На лавке у стола лежит НЕКТО эС. Долгое время он лежит неподвижно, но вот наконец очнулся, потянулся, сел, зевнул; разминает шею. Он помят и растрёпан: пёстрый ватный халат его распахнут, брюки распоясаны, обута только одна нога, вторая — в дырявом носке.

эС. Жизнь линейна, и с этим ничего не поделаешь. Звучит как афоризмь.

(С недоумением озирается.) Где я? Куда это меня занесло? На тюремную камеру не похоже, на палату больничную и того меньше. Горло, кажется, что-то... Ангины только мне не хватало. *(Обратил внимание, что сидит в одном ботинке.)* А это — что? Где... второй? *(Лезет под стол, под лавку.)* Чепуха какая-то: не мог же я сюда в одном ботинке... Как я вообще попал-то сюда?! Не помню, хоть убей. *(Прихрамывая, идёт к двери, пытается открыть.)* Заперто, что ли? Ничего не помню... *(Смотрит на ноги.)* Обидно будет, если потерял. Хорошие ботинки. Новые совсем. Вчера утром начистил их английскою ваксой — сверкали как зеркало. *(Опустился на лавку, окончательно разулся; теребит дырку в носке.)*

Что со мной происходит? Рванный носок заставляет вдруг задуматься о бренности всего сущего. Хотя само по себе задуматься об этом всегда полезно и никогда не поздно. Звучит как афоризмь. *(Бросается к двери, колотит в неё кулаками, кричит.)* Эй! Эй, кто-нибудь!.. *(Захлёбывается в кашле.)*

¹ В пьесе использован текст романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (прим. авт.)

Точно: ангина — горло болит... Шея болит... Всё болит. Простудился, что ли... Когда, спрашивается, успел? Или это припадок меня потрянул столь внезапно, что и память будто отшибло? Говорят, так бывает: если падучая ударит вдруг, безо всякого предчувствия, то и память навсегда потерять можно. У меня, хотя припадки и случаются регулярно, и даже очень часто, но так, чтобы память потерять, ещё не было. Натурально: припадочным жить не большое удовольствие. Куда только я уж не обращался! Каким только докторам не писал! Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь распишут тебе, а чтобы вылечить — накося... Только утешают. Если вы, говорят, и умрёте, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Расстроилась наша медицина. Теперь же у нас и докторов нет — одни специалисты. Помню, я насморком как-то заболел. Особенным каким-то насморком, московским. Это когда я в Москве, значит, жил. Когда меня хозяин на повара учиться отправил. Ну, вот: записался я к специалисту на приём — насморк-то особый, московский. Осмотрел он мой нос: я вам, говорит, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, не моя это специальность. Поезжайте после меня в Питер, там вам другой-де специалист левую ноздрю долечит. Я в Питер-то, конечно, не поехал, а уж как на родину сюда к нам вернулся, к народным средствам прибегнул. Один мужик посоветовал в бане на полке медом с солью натереться... *(Вдруг.)* А припадок меня вчера потрянул серьёзный. Потому как я имя города нашего, в котором жизнь прожил, вспомнить не могу. И не знаю опять же, где это я теперь, чёрт возьми, нахожусь? Непонятно ничего... Надо по порядку. Что было вчера? Вчера я пил. Но, видимо, только чай. И, видимо, не один...

Пауза.

Правильно. С Иваном мы вчера чай распивали. Иваном — это я его про себя только так называю. В мыслях могу и Ванькой обозначить. А в глаза, понятное дело, — не иначе как Иван Федорыч. Всё ж таки хозяйский сын. Да не абы как — родной, законный. Законный, н-да... И, значит, пили мы с ним вчера до

позднего вечера. Пили, пили, а потом — кончилось наше знакомство. И как же плохо кончилось! Катастрофически, можно сказать, и бесповоротно. Он, верно, и приходил только ради того, чтобы на место меня поставить. Указать, что не ровня я ни ему, ни двум братанам его, родным-законным. Поначалу-то и выпить со мной не хотел. Вошёл, усмехается так: как бы свысока, и презирает, вижу — презирает, чуть ли не кривится — до того ему противно на меня глядеть. Руку ему протянул — не берёт. «И пить, — говорит, — с тобой не стану. Мне, — говорит, — с такими, как ты, за одним столом сидеть всё равно что в дерьме испупаться».

Обидел он меня. Я даже растерялся в первый момент. Стоял как идиот, искал, что ответить. Не ожидал, конечно... Потом ещё поразила меня мысль, что обидны мне не слова его сами по себе — ну, чего в сердцах не скажешь, а всего обиднее то, что он шёл ко мне с такой целью: обидеть... Уфф, курить охота. (*Похлопал себя по карманам.*) Тьфу! Я-ить не курил никогда. Или курил?.. Не помню.

Задумался.

Так... Значит, был вчера Иван. И приходил он, допустим, чтобы ноги об меня вытереть. Но с чего это у него желание такое вдруг возникло? Прежде, случалось, заглянет, так мы и посидим по-хорошему, и простимся по-доброму. А вчера как-то всё комом и до того вперекос, что и до рукоприкладства дело у нас дошло. Мужик-то он горячий, в отца: стукнул меня по хлебалу. Не просто так, конечно, а — потому, что не мог не стукнуть. Растеребил я его. Нарочно растеребил, ибо сразу догадался, как только вошёл он, что хочется ему отмудохать меня до полусмерти. Сидел, кулаки чесал. Почешет, почешет да и говорит: «Жаль,- говорит, — что у нас мордасы законом запрещаются. А то я сделал бы, — говорит, — из твоей хари кашу». Разов пять повторил, пока я не ответил ему, что по мордасам бить у нас только в обыкновенных случаях запрещено по закону, а в исключительных случаях всё одно бьют, как при Адаме и Еве. А главное: именно те, кому за исполнением закона следить

надлежит, чаще всего и бьют. *(Усмехается.)* Тут он взъярился, закричал, затрясся весь. «Я, — кричит, — захочу, так и убить тебя могу! Я, — кричит, — если и не убил тебя до сих пор, так единственно потому, что ты мне завтра на суде нужен, помни это, не забывай!» Только я на суд идти отказался. Вот точно отрезал. Сказал ему: «Что ж, Иван Федорыч, хотите убить — убейте. Всё равно я на суде правды не открою. Убейте хоть теперь, если посмеете, пусть вас рядышком на одну скамью с братом посадят». Тут он меня кулачищем своим и двинул. *(Ощупывает лицо.)*

Странное дело: не болит! *(Смотрится в самовар, как в зеркало.)* Ни синяка, ни подтёка кровяного... Чудеса! Вдарил-то он меня дай Бог! От всего сердца вдарил. Не понравилось ему, что исход всего дела и судьба брата его родного-законного единственно от моей только воли зависят. Натурально: у них и сам по себе каждый фигура значительная, и вся семейка их в городе нашем не из последних, а я — прыщ, бульонщик, лакей вонючий. Как есть лакей, потому что поваром в их доме служу. И вот вышло так, что я, самое полное в их глазах ничтожество, вдруг оказываюсь надеждой и светом, без которого погибнет добрая репутация всей фамилии. Старший-то из братьев уж который месяц под судом и не просто под судом, не за пустяки, а за убийство! За то, что намеренно и с умыслом отца родного, хозяина моего, чтоб его там черти засчикотали, жизни лишил. Нет, сие прочувствовать надо: в долгах запутавшийся родной-законный сын не поделил с папашей бабу и пристукнул его ночкой тёмной, воробыиной. Каков сюжетец! Только не убивал он отца. Пусть улики все против него показывают, и сам он, будучи в нетрезвости, не однажды грозил на людях задушить пса-крохобора, а только не его это рук дело, нет. Настоящий убийца, Иван Федорыч про то знает, а не знает, так уж верно подозревает, что настоящий убийца — он мне только одному доподлинно известен. *(Достает платок, сморкается.)* Н-да...

Вот об этом был наш вчерашний разговор. Как ударил он меня, я заплакал, пристыдил его. «Стыдно, — говорю, — вам слабого человека бить!» И по-французски ещё добавил: «Се не, — говорю, — нобль, се не шарман»². Удивительно ему стало, что

² Не благородно это, не хорошо (здесь и далее франц.).

простой человек по-иностранному выражается. По его барскому представлению, простому человеку иностранный язык учить без надобности.

«А я, — говорю, — учу, чтобы тем образованию моему поспособствовать, ибо надеюсь ещё рано ли, поздно ли в тех счастливых местах Европы обосноваться». — «Вон ты каков, — он мне говорит. — Ты, выходит, из тех, кто родину свою на кусок пирога променять способен. Из тех, кто Россию нашу многострадальную пожалеть не умеет». А я, скрывать не стану, и правда родину не люблю. Больше того: я всю Россию ненавижу. Для меня Россия — это наш городишко, отданный на откуп ворах и подлецам, каким был хозяин мой покойный, пусть ему там вечно икается. Совершенно дрянной, закона не знающий город, название которого я теперь никак вспомнить не могу... Жизнь тут прожил, всё удивлялся, кто такие имена городам придумывает. Такое мерзкое, никудышное, неудобное для человеческого слуха название... И за что, спрашивается, я буду её любить, коли она в ответ обо мне не заботится? Я, напротив, в чувстве своём ненавистном жалею, что двести лет назад, когда на Россию нашествие Наполеона случилось, французы нас не покорили: умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Теперь совсем иные порядки были бы. При этом я вполне даже понимаю, что по разврату и по себялюбию и тамошние, и наши — все похожи. Все шельмы, но с тем, что тамошний в достатке благоухает, а наш подлец в своей нищете смердит и ничего в этом дурного не находит.

Короче, отказал я Ивану в суде показания давать. Пусть братец его родной-законный рудничков понюхает, пусть годков десять на лесоповале топориком помахает. Помню, скрежетнул Иван зубами на мой отказ: мол, сам не станешь, я тебя силой заставляю; а больше ничего не помню, и где теперь нахожусь — не знаю, и как сюда попал — объяснить не могу.

Пытается открыть дверь.

Похоже, с той стороны заперто. Ой, не нравится мне это моё положение. Весьма странное положеньице-то. Никак

не поверю, чтобы я добровольно тут оказался. Да и комнатуха странная: незнакомая, а будто знакомая. Будто я уже бывал тут когда-то, хотя, ей-ей, уверен: не бывал. Иногда провидение точно предлагает нам игру, только вот правила объяснить, увы, не удосуживается. Звучит как афоризимь. *(Подходит к столу, наливает в чашку воды из самовара, залпом выпивает.)*

Полегчало, кажись... В физическом смысле. И горло уже почти не болит. Душа вот болит. Фигурально выражаясь. Разобраться бы, что меня так тревожит... Уж не сболтнул ли я вчера чего лишнего? Иван и без того, хитер-зверь, меня подозревает. Там после убийства из тайника хозяина вся наличность взята была — огромная сумма. Вот Иван меня к родному-законному брату в подельники и записал: якобы тот, по запальчивости и буйному характеру, убить — убил, а украсть не мог. Не то, дескать, воспитание. Ну, а я — поскольку плебей, поваришко ничтожный, — мне, стало быть, чужое взять никак не зазорно. Обвиняемый, тот прямо на меня заявил: он-де убил, он же и украл. Бог с ним, себя спасая, чего не скажешь! Всё одно не поверили ему. Да и как поверить, когда у него — мотивы, а у меня — алиби. Ему пришла пора долг возвращать, деньги край как нужны были, а я в погреб полез, и на лестнице, на самых на ступеньках меня падучая ударила. Его в ночь убийства под окнами хозяйскими охрана взяла, да не удержала, а я после припадка в постели двое суток без сил и в неполном сознании пролежал, на что у меня врачебное подтверждение имеется. Братьям-то, родным-законным, смерть отца-миллионщика всегда желанна была: наследство! А в последнее время — как никогда желанна. Старик жениться надумал. Натурально: у супружницы по закону все претензии на капитал и недвижимое состояние завсегда оправданы. После венчания обделил бы отец сыновей, как пить дать бы обделил. Тем паче, что избранница его — девица не промах, своего бы не упустила. Ну, и пикантный момент в истории сей наличествует, как же без этого: старик бабу эту у старшего, родного-законного, сына отбил. Стало быть, ещё один мотивчик вырисовывается — ревность и месть.

(Тоном превосходства.) Смешно, ей-Богу! Чтобы из-за бабы такая кувырколлегия произошла. Как же не могут умные люди

не понимать, что не стоит никакая баба миллионов? Сколько их у меня было — ни одна полкопейки не стоила! А за эту вертихвостку два родных человека друг другу глотки готовы были порвать. Натурально: не принцесса, не королевна и не красавица совсем. Одно достоинство — что молоденькая пока. Правда, есть в ней что-то такое — в походке, в движениях, когда от простого наблюдения в мужике желание просыпается. Зато имя для слуха человеческого как есть неудобоваримое: Аграфена Александровна. Тьфу!.. Мне бабы с такими именами не глянутся. Я так полагаю, что баба, как она есть человек второго сорта, зваться должна просто, без выкрутасов: Марфа к примеру, Игнатьевна или Мария Кондратьевна. Чтобы я ей: Мариночка! А она мне: Шурик! Нет, не Шурик, а: Стасик!.. *(Пауза.)* Нет, такого со мной ещё не бывало... *(Напряжённо вспоминает, хлопает себя по лбу.)* Павлик! Я — Павлик. Пусть Мария Кондратьевна меня всё больше пока по имени-отчеству кличут: Павел Федорыч, ну да я уж верно знаю, что ей очень даже хочется меня Павликом называть. Я-ить и в доме у них в качестве жениха проживаю. Выгодно: за комнаты платить не нужно. *(Напевает.)*

Непобедимой силой
Привержен я к милой.
Господи, помилуй!

Положительно, у меня склонность к сочинительству. Если бы у нас поэтам деньги платили, то я бы не раздумывая в поэты подался. Мне стих придумать или, скажем, поэму сочинить — раз плюнуть. Ей-ей, уху сварить — больше времени требуется.

Сколько ни стараться
Стану удаляться,
Жизнью наслаждаться
И в столице жить!
Не буду тужить!

А впрочем, стихи — это вздор. Абсолютное излишество.

Никто на свете в рифму не говорит. А и стали бы все в рифму говорить, хотя бы даже и по указу сверху, то много ли бы мы насказали? Стихи не дело. И выходит, правильно у нас поэтам не платят. Не за что: не велика наука.

После непродолжительного молчания.

Если бы не жребий мой с самого моего сыздетства, неизвестно ещё, кто бы я теперь был. Пушкин почему Пушкин? Потому что он родился Пушкиным. Если бы я родился Пушкиным, и меня бы любили и учили, как Пушкина, и на французском бы со мной балакали с пеленок, то я, может быть, способностями своими Пушкина во сто крат превзошёл бы. А меня вместо того всю мою жизнь происхождением подлым попрекают. Будто моя в том вина, что мать меня без отца в чужой бане родила. Да я бы позволил убить себя ещё во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе. Иван Федорыч ещё во дни приятельства нашего не упускал возможности мне напомнить, что я мужик, а он — шевальё сан пёр и сан репрош³, и что мы, значит, не ровня. А я потому уже ему ровня, что у меня, как и у него, две руки, две ноги, и я — человек.

«Какой же ты человек? — он мне отвечает. — Ты не человек, ты из банной мокроты завёлся». А братец его, тот, что под судом теперь, и вовсе меня ни во что не ставил. А я платье своё по два раза в день щёткой чищу! Я жалованье чуть ли не в целости на духи да на крема употребляю! От меня — парфюм и амбра, а от них водкой за версту несёт! Да может ли простой мужик чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства иметь не может. А я имею! Простой мужик ботинок с ноги потеряет и рукой махнёт. А у меня сердце кровью обливается, потому как собственность!

Хозяин мой покойный сие понимал и доверял мне как себе самому. Никто не знал, где он в доме деньги хранил, а я — знал. Сыновья его, родные-законные, не знали, а я не только осведомлён был, но и лично имел возможность наблюдать, как хозяин деньги из тайника вынимал и при мне пересчитывал. Детям

³ Рыцарь без страха и упрёка.

родным-законным не доверяя, мне доверял единственно во всём человечестве. Я про тайничок-то одному из братьев рассказал. Тому, кто грозился отца убить. И как ещё умно рассказал! Будто невзначай, ненароком обмолвился, и так, будто и сам не понял, что важный секрет проболтал. Был у меня расчёт, что придёт сын деньги взять и на месте отцом захваченный, а о том уж я бы непременно позаботился, потому как уверенность имел, что, на месте захваченный, сын непременно бы отца родного удавил, а денег всё одно бы не нашёл. Он бы деньги в том месте искал, какое от меня узнал. А я ему неправду сказал в надежде, что после смерти хозяина сам этими деньгами воспользуюсь. Пусть я бульонщик, лакей вонючий, но с такими деньгами я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что в деле своём я мастер и готовлю специально, а в Москве ни один, кроме иностранцев, не может подать специально. Каков ход мысли! Се ду нуво, не се па?⁴ И всё по-моему вышло. Не прихлопнул родной-законный сын отца, а всё же на тот свет хозяин отбыл и пакет с деньгами, красной тесемочкой перевязанный, у меня в руках. Удалось бы мужику заурядному подобное предприятие? Нипочём бы не удалось. Русский мужик — наблюдатель. Живёт, в носу ковыряет, от участия в происходящем открепивается, ему впечатлений хватает. Единственно, на что он способен, это, накопив впечатлений за долгие годы, бросить всё и уйти в Иерусалим, скитаться и спастись. Ну разве что ещё село родное спалит перед тем как в путь-дорогу отправиться. Меня вот по злому жребию в мужики определили, а я — человек действующий и сидеть сложа руки не стану. Действующий сам себе судьбу выбирает, а ленивому её навязывают. Звучит как афоризм (*Решительно.*) Пора, однако же, выбираться отсюда. (*Дёргает дверь, стучит.*) Эй, кто-нибудь, выпустите меня! Эге-гей, люди! Ау! (*Пытается взломать дверь.*)

Или пошутил кто надо мной?.. Шутники-недоумки. Я бы таких шутников публично на угли сажал. Очень способствует для истребления дурости в человеке. (*Задумчиво.*) А если тут другое? Если прознал кто, что деньги из тайника мною взяты, и теперь, под замок меня определив, в комнате моей обыск

⁴ Это ново, не правда ли?

учиняет?.. Положим, не отыскать им ничего. Стал бы умный человек после преступления взятый пакет к себе домой нести, чтобы где-нибудь под тюфяком сохранить? Натурально: глупое рассуждение. Я деньги из пакета вынул, в тряпицу обернул и заткнул в дупло старой яблони в хозяйском саду. Незнающему век не сыскать. Конечно: с точки зрения закона на поступок мой взглянуть, оно выходит — преступник я. А ежели принять во внимание причины, так сказать, меня побудившие, так это ещё вопрос, можно ли случившееся преступлением называть.

На деньги-то эти, а, может, и на целое наследное состояние, у меня не меньше прав, чем у сынов-наследников. Между нами в том лишь разница, что они в законном браке рождены, а я, вахлак незаконнорожденный, на свет произведён как результат случайной похоти. И получается, что им, законным, по одному только факту рождения вся дальнейшая жизнь как подарок на блюдечке, а мне, за минутную вспышку чужого удовольствия, жизнь в наказание? Им — права и наследство, а мне до конца дней своих у плиты черпаком размахивать? Нет, шалишь, я мне причитающееся взять решил и — взял. Натурально: очевидных признаков моего родства к хозяину не наблюдается. Но вывожу я по здравому размышлению, что не случайно мать моя, по улицам скитавшаяся идиотка, именно в хозяйскую баню меня рожать пришла. И хозяин после смерти матери не по доброте душевной от меня не избавился — не выбросил и не сдал, куда полагается, а, напротив, принял на содержание и по отчеству Фёдоровичем записал, что на пристальный взгляд всякого постороннего называется: документально засвидетельствовал. Грех свой перед Богом искупить хотел. Пусть фамилия у меня от прозвища матери — С-с-с... Сым-м-м... См... Выговорить, право слово, стеснительно. Зато по отчеству я — как и три законных его сына — Фёдорович. Беда в том, что для суда приватные мои рассуждения не доказательства, и от наследства мне никто крошки сырной понюхать бы не позволил. Оттого я себе сам наследную часть определил, оттого и деньги взял. А что хозяина при этом убил... Пришлось убить. Иначе план мой не свершился бы. Оправдываться не хочу. Перед другими — всё одно не поймут, потому как жизни моей не знали, невзгод и унижений,

мною вынесенных, не испытали. А перед собой оправдываться — всё равно что в поддавки играть. Судят-то себя с позиций вечных, а если оправдывают, то по конкретной ситуации. Звучит как афоризмъ.

Разобраться — так вина моя вовсе не в том, что я сделал, а в том, что никогда в том раскаяния не приму, что сделал. Жить буду, а угрызениями совести мучиться не стану. Меня, может быть, за это деяние Бог накажет. Так это его право. (*Смотрит вверх.*) «Мне отмщение, и аз воздам», так?

Громовые раскаты. По ту сторону двери раздаются голоса:

«Взяли!» — «Тяжёлый, зараза! Куда его?» — «К стеночке давай.

И — рраз!...»

(Бросается к двери, стучит.) Я — тут! Эй! Помогите! Люди!

(В ответ — тишина.)

Вот пожалуйста: дикость. Не слышать меня они не могли, я-то их слышал. Выходит, им наплевать... На человека, взывающего о помощи, — наплевать! Прав был хозяин: русский народ надо пороть. Одичал он, очерствел и олицемерился. В Бога верует, а живёт не по Вере. А по мне, так гораздо проще жить, закон Божий соблюдая, нежели уверовать, что господь Бог создал свет в первый день, а солнце, луну и звезды — на четвёртый. Откуда же в первый день свет-то сиял? Не задумываются.

Натурально: верю — и никаких хлопот! А попробуй-ка, денёк-другой поживи по истинной Вере: не лги, да не кради, да не прелюбодействуй, даже и в мыслях!.. Решительно никто в наше время, начиная с самых даже высоких лиц и до распоследнего мужика, на сие не способен. А спроси, в чём причина, скажут — от легкомыслия, от слабоволия, от того, что, во-первых, дела одолели, а во-вторых, сам Бог виноват: времени мало дал, всего во дню определил двадцать четыре часа, выспаться некогда, не только покаяться... Всё-таки сволочное создание человек! Собственное недоразумение он завсегда оправдать способен, а от ближнего, дурное свершившего, ему непременно раскаяние подавай. Он и уличить его в совершенном не погнушается, да не просто уличит, а ещё и носом ткнет, как нашкодившего

щетка. Ивану вчера, когда сидели мы с ним, уж так хотелось из меня признание вынуть, так хотелось, чтобы я подозрения его самолично подтвердил!.. А я и подтвердил. «Убил, мол, я Фёдора Палыча, хозяина своего, батюшку вашего законного. Только ведь не один я его убивал. С вами мы его убили, Иван Фёдорович, вместе-с».

Побледнел он, бровки свёл к переносице и говорит: «Ты меня, шельма смердящая, сюда не путай. Я в эту пресловутую ночь по торговым делам в Москве пребывал. И уехал, — говорит, — ещё задолго до случившегося». — «Действительно, — отвечаю, — на месте происшествия вас не было, а всё ж таки ручку вы приложили-с». И чтобы он меня совсем за дурака не считал, напомнил ему, что в Москву он поехал, как только узнал от меня, что брат его непутёвый в означенную ночь к отцу за деньгами идти порешил. Уехал, стало быть, для того, чтобы в историю не ввязываться. А поглубже копнуть: себя устранив, родного родителя в жертву оставил. «Или не знали вы, Иван Фёдорыч, что братец ваш на убийство способен?! Не обещал ли он вам отца родного-законного придушить как собаку?! Не вы ли мне только что говорили, что брат ваш убить — убил, а денег не брал — не то, дескать, воспитание?!» Помрачнел Иван, почесал кулаки: жаль, мол, у нас мордасы запрещены по закону... *(Потирает челюсть.)* Не знаю, как на его отбытие в Москву другие посмотрят, а я в отъезде его для себя знак увидал: убей родителя, я не препятствую.

В тот же день, как уехал Иван Фёдорович, я в погреб упал. Понятно, что притворился. С лестницы спокойно сошёл в самый низ и спокойно лёг, а как лёг, тут и завопил, и бился пока не вынесли. Ночью тихо стонал, ожидал прихода старшего из братьев. Я ждал, что он отца порешит и, тайника не отыскав, уберётся восвояси, а я деньгами воспользуюсь. А его взяли под окнами, схватили-скрутили, и на счастье моё посчитали, что это он уже после злодеяния из дому через окно вылез, тогда как на самом деле он в дом проникнуть ещё не успел. Тут-то мне идея в голову и вскочила — покончить всё это внезапно, махом одним. И такая жажда меня всего захватила, аж дух занялся. Побежал к хозяину, постучал условным знаком и объявил, что пришла

Аграфена Александровна, и особенно она, дескать, волнуется за вас. Отворил он, я вошёл. Там, там, говорю, она — под окном, подите кликните сами. Он — к окну, а я чугунное пресс-папье схватил со стола, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. А я в другой раз, и в третий. На третий-то почувствовал, что проломил. Осмотрел себя: нет на мне крови, не брызнуло. Пресс-папье обтёр, деньги из тайника вынул и — в сад. В следующий миг в саду услышал, что нашли его... Ну, спрятал деньги в дупле, вернулся домой, в постель — трясусь. А под утро припадок ударил, настоящий, силы такой, что уже много лет не бывало.

*Падает как подкошенный, бьётся на полу.
Затихает, приходит в себя.*

Где это я? Куда меня занесло? На тюремную камеру не похоже, на палату больничную и того меньше. Горло опять болит... (*Озирается.*) Какое всё-таки странное место: незнакомое, а будто знакомое. Будто я уже бывал тут когда-то, хотя точно знаю: не бывал. Что удивительно: чем дольше я тут нахожусь, тем меньше мне хочется выбраться отсюда. И сдаётся мне, что оказался я здесь вовсе не случайно. Сколько же я тут сижу? И какое время суток теперь? Видимо, ночь: свеча догорает. (*Долго смотрит на свечу.*) Да может ли это быть?! Сколько я тут пребываю, сколько ещё на лавке лежал в бесспамятстве до того мгновения, как очнулся, она всё горела! О трёх вершках горела и по сей час о трёх вершках горит! Уж не сошёл ли я с ума?.. Чтобы за долгую ночь пламя свечу не растопило?!.. (*Держит руку над горящей свечой.*) Не греет. Огонь руку мою не греет... Не чувствую боли! Кель пенибль ситуасьён...⁵

Вероятно, со стороны я похож на сумасшедшего. Про меня врач Варвинский однажды так и сказал: кончит-де сумасшествием. Что ж, разум — это, пожалуй, последнее, что мне осталось потерять. Совесть у меня давно нет, веры никогда и не было. В этом я от многих других мало отличаюсь. Мечта была — рухнула. Деньги, что я в саду в дупле прятал, на которые мечтал

⁵ Здесь: Что за дела!..

новую жизнь начать — в Москве али, пуще того, за границей, я вчера все, до последнего рублика, Ивану отдал. Сам отдал, по доброй воле. Не принуждённый, не вынужденный, не изнудный, а только имея желанием превосходство своё ему показать. Он меня презирать пришёл, он меня кулаком в лицо ударил, а я по всякому выше его оказался. И в преступлении поэтому же ему признался: хотелось поступок свой как-нибудь в таком-этаком свете выставить, чтобы не только прощённым быть, но и восхищением насладиться. «Помните, — спрашиваю, — Иван Фёдорович, как учили вы меня, что нет добродетели и что не надобно её вовсе? Убеждения такие отстаивая, вы осуждать меня права не имеете, и в суд меня силой волочь я не дамся. На сём позвольте считать нашу беседу оконченной. Спокойной вам ночи!» Сказал так и сел книгу читать.

*Достает из кармана и надевает очки,
садится за стол, открывает книгу.*

И вот сижу я, читаю и всё жду, чтобы понял он, что решение моё твёрдо и что не уговорить ему меня, не запугать; чтобы проникся он, что я не меньше его человек... А он поглядел на меня и сказал только: «Этакая тварь, да ещё в очках!»

Пауза. Читает вслух.

«...Алёша, войдя, сообщил Ивану Фёдоровичу, что час назад с небольшим прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. На вопрос, заявила ли она кому следует, ответила, что никому не заявляла, а прямо бросилась сюда и всю дорогу бежала бегом. Когда Алёша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова всё ещё висевшим». *(Закрывает книгу.)*

Теперь я припоминаю. Теперь всё сошлось. Эта мысль овладела мною внезапно, в тот самый миг, когда Иван пригрозил силой выбить из меня показания на суде. Возникла она не от страха и не от спохватившейся совести. Совесть — это раскаяние. Раскаяния же у меня не могло быть, а было лишь отчаяние.

Злобное и непримиримое. Понял я, что не суждено мне начать новую жизнь, что не принесут мне избавления ни деньги, ни положение в обществе, что слишком долго завидовал я родным-законным братьям, — так долго, что зависть моя превратилась в ненависть, и что ненавижу я не только покойного хозяина и детей его, но — всё человечество. Другой бы при этом голову потерял, а я жизнью давно научен: не бывает безвыходных ситуаций. Ситуация кажется нам безвыходной, когда простой и очевидный выход из неё нас не устраивает. *(Усмехается.)* Звучит как афоризмь.

«Что ж, — подумал я, — лучшего способа не отыскать. Не раз ещё вспомните лакея смердящего, мужика-бульонщика. Уничтожу всю ненавистную мне семейку одним махом!» Натурально: без моего признания старшего из братьев в кандалах на рудники увезут, а другие два с пятном на фамилии жить останутся. Будут знать, что пострадали безвинно и что брат их, родной-законный, клеймо отцеубийцы носит безвинно, а ничего против предпринять не смогут, потому как от меня им никаких уже показаний не взять будет — ни силой, ни уговорами. И как только смирился я с мыслью, что самоустранение есть лучший для меня выход, то незамедлительно и безо всяких опасений Ивану в убийстве признался и деньги все вернул, и тем самым вечную загадку ему загадал. Се ту се, ке же ву ди ⁶.

В последний раз пытается открыть дверь.

Не понимаю. Не вижу в этом никакого смысла. *(Идёт к столу, садится на лавку.)* Есть такое расхожее выражение: дескать, каждый умирает в одиночку. Откровенно признаюсь, страшно мне показалось поначалу... Это самое... В одиночку. Очень даже неуютно себя чувствовал. Потом осенило вдруг: Господи, да это же счастье: умереть в одиночку! Ведь мы же всё-всё делаем в одиночку. Мы страдаем в одиночку. Мы сходим с ума в одиночку. Мы живём, по большому счёту, в одиночку!

Дальше — просто. Написал записку. *(Пишет, обмакивая перо в чернила.)* «Истребляю свою жизнь своею волей и охотой,

⁶ И это всё, что я могу вам сказать (франц.).

чтобы никого не винить». В комнате моей была на крючках верёвка протянута. Я ту верёвку взял, крючки осмотрел, чтобы крепко были в стену вбиты. Петлю связал, и тут решимость моя меня отпустила: трус я и духом слаб; боли всякой боюсь; насилия над собой в мыслях не допускаю. Но представил, какая жизнь меня ожидает в вечном неудовлетворении, а уж известно, что отнюдь не вера и не твёрдое неверие, а именно колебания, беспокойство, борьба веры с неверием — вот что есть самая мука для человека, мука такая, что, право слово, лучше повеситься. Тогда взгромоздился я, значит, на лавку, сунул голову в петлю, затянул как полагается... *(Кашляет.)* Надо же, до сих пор горло болит... Ну, шагнул в пустоту, повис. Судороги начались. Ногой так дёргал, что ботинок слетел. С одной ноги слетел, а на другой, стало быть, остался... Потом, время спустя, вошла Марья Кондратьевна — самовар прибрать, увидала меня, закричала и кинулась вон. Вернулась с людьми: санитары сняли мой труп, исправник смерть мою засвидетельствовал... *(Пишет под собственную диктовку.)* «...коня произошла в припадке болезненного ума иступления и помешательства». После чего погрузили меня, бездыханного, на подводу и увезли. Уж я не знаю куда... Должно быть, в мертвецкую. *(Снимает со стола скатерть.)*

Утверждают: человек в последние секунды видит перед глазами всю свою жизнь в скором беге. А я успел только увидеть, как по столу нанскось таракан побежал. И ещё, с каким-то жгучим чувством пожалел, что так и не узнал, кто нашему городу название придумал — Скотопригоньевск. До сих пор не знаю и спросить некого. Да собственно, будто и незачем. Натурально: мне это не важно теперь, после смерти-то. Уже не важно...

Ложится на лавку, накрывается с головой скатертью, оставляя на виду босые стопы своих ног. На большом пальце одной стопы повязана бирка с фамилией, выведенной печатными буквами, которых зрителям всё равно не разобрать. Медленно распаивается запертая до этого дверь, заливая сцену ярким, белым, неземным светом. 

Сведения об авторах

ЛИЛИЯ АНТИПОВА (1970, Новокузнецк). Доктор филологии. Историк, славист, переводчик, куратор кинопроектов. Окончила университет Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге. Занимается историей Восточной Европы, еврейской культуры и кино, а также вопросами международного права при сталинизме. Возглавляет библиотеку и отдел работы со СМИ в мюнхенском *Haus des Deutschen Ostens*. Автор двух монографий - о Всеволоде Мейерхольде и Александре Твардовском. Более ста немецкоязычных статей и рецензий по русской и советской литературе. В Германии с 1990 года. Живёт в Нюрнберге.

ГРИГОРИЙ АРОСЕВ (1979, Москва). Писатель, журналист, издатель. Окончил театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС). Автор четырёх книг. Около ста публикаций в газетах, журналах и сетевых изданиях России, Германии и других стран. Главный редактор журнала «Берлин.Берега». В Германии с 2013 года. Живёт в Берлине.

ЕВГЕНИЯ БАГМУЦКАЯ (1981, Санкт-Петербург). Журналист, писатель. Автор романа «Когда увижу тебя». Статьи в украинских и российских изданиях. Подборки стихов в коллективных сборниках поэзии «Ангелы и немного музыки» и «Ключи от твоих дверей». Ведущая каналов в *Telegram* «Мать драконов» и *Borschtsch Berlin*. Победитель *Russian Poetry Jam* во Франкфурте-на-Майне (2016). В Германии с 2015 года. Живёт в Берлине.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934). Прозаик, поэт, критик. Один из ведущих и наиболее известных представителей русских символизма и модернизма. Автор четырёх «симфоний» (экспериментальных синкретических текстов), романов «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва под ударом», «Маски» и других. Поэтические сборники: «Золото в лазури», «Пепел», поэмы «Христос воскрес», «Первое свидание», «Глоссолалия» и других. Написал ряд статей на литературоведческие и культурологические темы. С 1921 по 1923 годы жил в эмиграции в Берлине. Скончался в Москве,

похоронен на Новодевичьем кладбище. С 1978 года в России присуждается премия Андрея Белого.

НАТАЛЬЯ БУШ (1977, Новохопёрск). Переводчик, финансовый менеджер, руководитель проектов. Занимается обучением и консультированием предпринимателей. В Германии с 1999 года. Живёт в Берлине.

МИХАИЛ ГИГОЛАШВИЛИ (1954, Тбилиси). Прозаик, художник. Кандидат филологических наук. Преподаёт в университете земли Саар. Десятки литературных и литературоведческих публикаций в периодике и сборниках, включая серию статей «Иностранцы в русской литературе». Автор романов: «Голмач» (2003), «Чёртовое колесо» (2009), «Захват Москвы» (2012), «Тайный год» (2017), сборник повестей и рассказов «Тайнопись» (2007). Лауреат премии «Большая книга» (2010), лауреат Русской премии (2017). Финалист премии НОС (2013). Входил в короткие списки премий «Русский Букер» (2017) и «Большая книга» (2017). В Германии с 1991 года. Живёт в Саарбрюкене.

ЮЛИЯ ГРИНБЕРГ (1970, Казань). Поэт, переводчик. Публикации в «Полутонах», *Fixpoetry*, *Signatures Magazin*, журналах «Артикль», *Mosaik Zeitschrift für Literatur und Kultur*, *Seitenstechen*, *Ausser.dem*. Член арт-объединения *Salon Fluchtentier* (Франкфурт-на-Майне). В Германии с 2000 года. Живёт в Хоххайме-на-Майне.

ТАТЬЯНА ДУБИНЕЦКАЯ (1968, Краснодар). Окончила библиотечный факультет Краснодарского государственного института культуры. Работала в Краснодарской краевой детской библиотеке. Подборки стихов в газете «Рубеж», альманахах «Эмигрантская лира» и «Зарубежные задворки». В Германии с 2001 года. Живёт в Мюнхене.

КРИСТИНА ЖУКОВА (1983, Москва). Искусствовед, преподаватель йоги. Публикации по искусству викторианской эпохи и творческого объединения художников прерафаэлитов в журнале «Искусствознание» и сборнике «Европейский символизм». В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине.

АЛЕКСАНДР КАБАНОВ (1968, Херсон). Поэт. Автор двенадцати книг стихотворений. Подборки стихов в «Новом мире», «Знамени», «Октябре», «Континенте», «Дружбе народов»,

«Арионе», «Новой газете», «Литературной газете» и других газетах и журналах. Лауреат «Русской премии», премии Antologia, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и других. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма. Стихи Кабанова переведены на украинский, английский, немецкий, французский, нидерландский, финский, грузинский и другие языки. Живёт в Киеве.

ЕВГЕНИЙ КОРОБКОВА (1985, Карталы). Поэт, литературный критик, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Лауреат Международной Волошинской премии, премии Риммы Казаковой. Публикации в журналах «Арион», «Знамя», «Октябрь». Живёт в Москве.

ЕЛЕНА КОРОЛЕВА (1986, Дзержинск Нижегородской обл.). Биолог, кандидат биологических наук. Принимает участие в записи аудиокниг в рамках проекта «Чтец». Автор ряда научных статей в области биохимии. Литературная публикация в журнале «Берлин.Берега» стала первой. В Германии с 2014 года. Живёт в Берлине.

ВИКТОРИЯ КРАВЦОВА (1994, Смоленск). Студентка совместной программы трёх берлинских университетов, исследовательница, альпинистка. Занимается пост-идеологическими исследованиями по истории Российской, Османской империй и СССР. Публикация в журнале «Берлин.Берега» стала первой. В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине.

КАТЕРИНА КЮНЕ (1984, Магадан). Прозаик, поэт, научный журналист. Окончила Литературный институт имени Горького в Москве. Рассказ «Итальянская шерсть» удостоен премии журнала «Знамя» (2014). Публикации в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Эмигрантская лира», сетевом издании «Literratura». В Германии с 2018 года. Живёт в Берлине.

ДАРЬЯ МАРКОВА (1978, Москва). Филолог, кандидат филологических наук, литературный критик, преподаватель. Организатор конкурса литературного перевода для билингвальных детей и подростков «Культурный мост» в Германии. Публикации в журналах «Знамя», «Вопросы литературы»,

«Иерусалимский журнал», «Октябрь», «Культпоход», «Literratura», «Папмамбук». В Германии с 2015 года. Живёт в Бёблингене.

БОРИС МИЛЬШТЕЙН (1946, Забайкалье). Прозаик, эссеист. По профессии инженер. Вырос и жил в Москве. Автор трёх книг. Публикации в изданиях по всему миру, в том числе в газетах и журналах «Аргументы и факты», «Новый Крокодил», *Märkische Allgemeine*, *Potsdamer Neuste Nachrichten*, «Секрет» (Израиль), «Алеф» (США) и многих других. В Германии с 1996 года. Живёт в Потсдаме.

ИРИНА МУРГ (1981, Таганрог). Лингвист, переводчик, преподаватель, кандидат педагогических наук. Преподавала языки и лингвистические дисциплины в Южном федеральном университете. Выпускница литературной мастерской *Creative Writing School* Майи Кучерской (мастер-рецензент — Дмитрий Данилов). В Германии с 2015 года. Живёт в Мюнхене.

СЕРГЕЙ НЕВСКИЙ (1972, Москва). Композитор. Окончил училище при Московской консерватории по классу теории. Учился композиции в Дрездене и Берлине. Сотрудничает с ведущими театрами и фестивалями в Германии и России. Куратор проекта «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод» (2011-2012). Лауреат премии Штутгартского конкурса композиции (2006), премии «Золотая маска» (2014), *Kunstpreis Berlin* (2014). В Германии с 1991 года. Живёт в Берлине.

МАРИЯ ПЕКЕР (1981, Москва). Доктор филологии. Специалист по британской литературе. Работала преподавателем в университетах Касселя и Гамбурга. Автор монографии *Gendered Time: Woman with a Past in the Victorian Novel* (2015). Публикации, посвящённые литературе викторианского периода, в англоязычных изданиях. Выступает с лекциями. В Германии с 2001 года. Живёт в Аренсбурге.

ДИНАРА РАСУЛЕВА (1987, Казань). Поэт, перформанс-артистка. По профессии — лингвист-переводчик. С 2016 года выступает на поэтических чтениях и слэмах в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кёльне, Нюрнберге, Токио, Москве. Победительница двух русскоязычных поэтри-слэмов в Берлине. Пишет тексты на русском, татарском и английском языках. Рассказы публиковались в журнале «Берлин.Берега». Вместе с

Александром Дельфиновым ведет поэтический канал «Стихосдвоение». Жила в Нью-Йорке. В Германии с 2015 года. Живёт в Берлине.

СЕРГЕЙ РУББЕ (1976, Алмаатинская обл.). Драматург. По образованию историк. Лауреат драматургических конкурсов. Публикации в журнале «Современная драматургия», в сборнике «Действующие лица». Пьесы Руббе ставились в театрах Москвы, Омска, Минска, Харькова, Даугавпилса, Штутгарта и других. В Германии с 1998 года. Живёт в Хеннефе.

КСЕНИЯ САФРОНОВА (1992, Новосибирск). Журналист, автор рубрики «Культура и стиль жизни» русской редакции *Deutsche Welle*. Работала на радио. Ряд публикаций в российских региональных изданиях. В Германии с 2015 года. Живёт в Бонне.

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА (1966, Аккерман). Окончила филологический факультет Одесского университета. Автор поэтического сборника «Птичка Ноя» (2014). Публикации в журнале «Литературный европеец», а также в сетевых изданиях. В Германии с 2006 года. Живёт в Дортмунде.

ФРАНЦ ХЕССЕЛЬ (*Franz Hessel*, 1880–1941). См. вступительную статью Эдуарда Лурье к публикации на стр. 89.

БОРИС ШАПИРО (1944, Москва). Поэт, переводчик, прозаик. Переводит с немецкого на русский и с русского на немецкий. Окончил МГУ (физический факультет). Организатор поэтических объединений и чтений в Москве (1963-1965), Регенсбурге (1981-1986), а также ряда международных конференций, коллоквиумов и семинаров по русской литературе и переводу (Германия, Россия, Литва, Израиль). Член международного ПЭН-клуба. Автор более двадцати поэтических книг. Более ста публикаций стихов, переводов, рецензий и эссе. Лауреат ряда премий и стипендий, включая премию Фонда Конрада Аденауэра за книгу *Nikeische Löwin* (2000). В ФРГ и США проводит лекции по истории литературы и теории поэзии. В Германии с 1975 года. Живёт в Берлине.

ДАША ЭДЛЕР (1987, Баку). Пианистка, феминистка, музыкальный просветитель. Занимается социальными проектами. Проза публиковалась в журнале «Берлин.Берега». В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

Kurze Zusammenfassung

Das siebente Heft von «Berlin.Bereg» eröffnet mit zwei Gedichtsammlungen. Sie stammen von unserem Gastautor aus der Ukraine **Alexander Kabanov** (Kiew) und von der Dortmunderin **Tatiana Stepanova**. Die tragen die Titel „Haltbarkeitsfrist“ und „Wassernernte“.

Katerina Kuhne aus Berlin ist mit zwei kleinen Erzählungen vertreten. Die erste trägt den Titel „Nachbarn“. Es geht darin um ein Beil, das an einer Wand hängt. Der Protagonist versucht herauszufinden, was in seiner Wohnung passiert ist und welche Rolle das Beil und er selbst in der Geschichte spielen. Die zweite Erzählung heißt „Die Regel eines Interpreten“. Es ist eine Geschichte über eine Kindheit, das Studium an einer Musikschule und über das Vertrauen. Tanja wollte Musikerin werden, ihr Lehrer träumte jedoch von einer Karriere in der Hauptstadt ...

Die Erzählung „Gina“ stammt von der Moskauer Autorin **Eugenia Korobkova**. Wiederum eine Lehrerin, wiederum eine Schülerin. Das Leben in einer kleinen Stadt ist gar nicht leicht. Nach vielen Jahren sprechen die Protagonistinnen wieder miteinander, und jetzt erfährt die frühere Schülerin eine merkwürdige Wahrheit ...

Julia Grinberg aus Hochheim am Main und **Dinara Rasuleva** aus Berlin sind mit je einem Gedichtzyklus vertreten, nämlich „Kauft Spitzenschuhe!“ und „Antikörper“.

„Villa“ – so heißt die Kurzgeschichte von **Boris Milstein** (Potsdam). Der Autor erzählt mit Ironie vom Leben eines Emigranten mittleren Alters. Die Möglichkeiten eines klugen und intelligenten Menschen sind nicht so groß wie seine Wünsche. Allen Situationen kann er jedoch mit Humor begegnen. **Dascha Edler** (Berlin) schrieb die Erzählung „Norwegischer Akkord“. Es ist eine Romanze mit norwegischem Hintergrund: verstörtes Herz, Abenteuer, Drogen und unbedingt Musik.

Yevheniia Bahmutska (Berlin) und **Tatiana Dubinetskaya** (München) beschließen den poetischen Teil des Heftes. Die Sammlung von Bahmutska heißt „Bis hundert“, der Zyklus von Dubinetskaya ist „Ich spiele deine Schritte nach Noten“ betitelt.

Die letzten Texte in der Rubrik „Prosa“ stammen von von **Irina Murg** (München) und **Victoria Kravtsova** aus Berlin. Murgs Erzählung heißt „Schmetterling und Windel“. Olga ist eine Freelance-Übersetzerin. Sie fand einmal in bereits redigierten Texten persönliche Botschaften eines anderen Übersetzers. Sie empfindet Mitleid und beginnt, nach diesem zu suchen. Der Text von Kravtsova trägt den Titel „Ein Sommer in Petersburg“. Es geht um Elena, eine Buchhalterin aus Sankt Petersburg. Sie ist von verschiedenen Dingen abhängig und kann keine Ruhe finden. Schließlich findet die Ruhe sie – aber zusammen mit einem ungewöhnlichen Gast in ihrem Körper.

Die Rubrik „Übersetzungen“ bringt Gedichte von **Ralph Dutli**. Sämtliche Texte wurden von **Boris Schapiro** (Berlin) ins Russische übersetzt. Außerdem stellen wir die Übersetzungen zweier Erzählungen von **Franz Hessel** vor. Sie heißen „Die verliebte Lokomotive“ und „Wiedersehen“. Übersetzung: **Christina Zhukova** und **Natalia Busch** (beide Berlin).

Im Juli 2018 ist der russische Biograf und Schriftsteller **Vladimir Porudominski** (Köln) 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat er „Berlin.Berega“ ein ausführliches Interview gegeben in dem u.a. aus seinem Leben erzählt.

Dem Interview folgt ein weiterer Dialog, eine Art Essay: der Berliner Komponist **Sergej Newski** teilt in dialogischer Form seine Erfahrungen und Ansichten zu den Themen Aus- und Einwanderung, das einstige und jetzige Berlin, die Flucht vor sich selbst und das Verschwinden aller Grenzen mit.

Das vorliegende Heft von „Berlin.Berega“ enthält zwei weitere Essays. Der seit 1991 in Deutschland lebende Prosaist und Philologe **Michail Gigolaschwili** (Saarbrücken) publiziert den Text „Toscana“ – die Geschichte der Region sowie deren Verbindungen zur heutigen Zeit. **Elena Koroleva** (Berlin) widmet sich dem Thema „Tod“. Sie betrachtet u. a. den Tod von einer neuen Seite: wie man nämlich mit den Profilen in sozialen Netzwerken der verstorbenen FreundInnen umgehen sollte.

Lilia Antipow (Nürnberg) befasst sich in ihrem ausführlichen Beitrag mit dem jüdischen Dichter **Perez Markisch**, der in Sowjetunion lebte. Die Autorin analysiert die lyrische Vitalität von Markisch und vergleicht seinen poetischen Protagonisten mit dem Übermenschen von **Friedrich Nietzsche**.

Von 1923 bis 1925 erschien in Berlin die literarisch-wissenschaftliche Zeitschrift „Beseda“ („Das Gespräch“). Sie wurde von **Maxim Gorki** geleitet. Die Zeitschrift hatte sich zum Ziel gesetzt, die sowjetischen LeserInnen vom Ausland aus zu erreichen, womit Gorki jedoch scheiterte. Der Chefredakteur von „Berlin.Berega“ **Grigori Arosev** beschreibt in seinem Text die Geschichte von „Beseda“.

Das erste Heft des obengenannten Magazins veröffentlichte einen längeren Essay des prominenten russischen Literaten **Andrei Bely**. Sein Titel lautete „Über Russland in Russland und über Russland in Berlin“. Darin vergleicht Bely seine Erfahrungen, die er in Berlin und Moskau gemacht hat. Dieser Text ist seitdem nirgendwo mehr erschienen. „Berlin.Berega“ macht ihn seinen Lesern jetzt wieder zugänglich.

Die Unterrubrik „Rezensionen“ enthält diesmal drei Texte: **Daria Markova** (Böblingen) bespricht das russischsprachige Buch „Die angehaltene Welt“ von **Alexei Makushinsky** (Wiesbaden). Eine Erzählung von Makushinsky wurde bereits früher in „Berlin. Berega“ veröffentlicht. **Maria Peker** (Ahrensburg) rezensiert das Buch von **Tetyana Dagovych** (Unna) „Aufrechterhaltung der Zugbewegungen“. Der Autorin Dagovych wurde 2017 der wichtige Literaturpreis „Russkaja premija“ zuerkannt. **Kseniya Safronova** (Bonn) schreibt über das deutschsprachige Buch „Fliegende Hunde“ von **Wlada Kolosowa**.

Sergej Rubbe, Dramatiker aus Hennef, ist mit dem kleinen Spiel „Der ewige Smerdjakow“ vertreten. Als Quidam S. in einem geschlossenen Raum erwachte, musste er feststellen, dass sich er nicht erinnern kann, wo er sich befindet, wie er hierher geriet und wie er heißt. Er muss sich aber an alles erinnern...

Информация о подписке

на литературный журнал «Берлин.Берега»

Печатная версия

Актуальный номер: **14,- €** (пересылка **включена**)

Подписка на **2019** год: **25,- €** (пересылка **включена**)

Каждый ранее вышедший номер (просьба уточнять наличие): **10,- €**.

Все цены указаны **для Германии**. При заказе из других стран просьба уточнять стоимость пересылки в редакции.

Электронная версия

Европейский Союз, Россия

Актуальный номер: **3,5 € / 100 руб.**

Подписка на **2019** год: **6,- € / 150 руб.**

Каждый ранее вышедший номер: **2,5 € / 70 руб.**

Украина, Беларусь, Казахстан,

Актуальный номер: **20 гривен / 1,5 рублей / 200 тенге**

Подписка на **2018** год: **35 гр. / 2,5 руб. / 300 тенге**

Каждый ранее вышедший номер: **15 гр. / 1 руб. / 150 тенге**

Израиль, США

Актуальный номер: **10 шекелей / 3,5 \$**

Подписка на **2018** год: **15 шекелей / 6,- \$**

Каждый ранее вышедший номер: **8 шекелей / 2,5 \$**

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров просьба отправить запрос на электронный адрес **berlin.berega@gmail.com**